



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

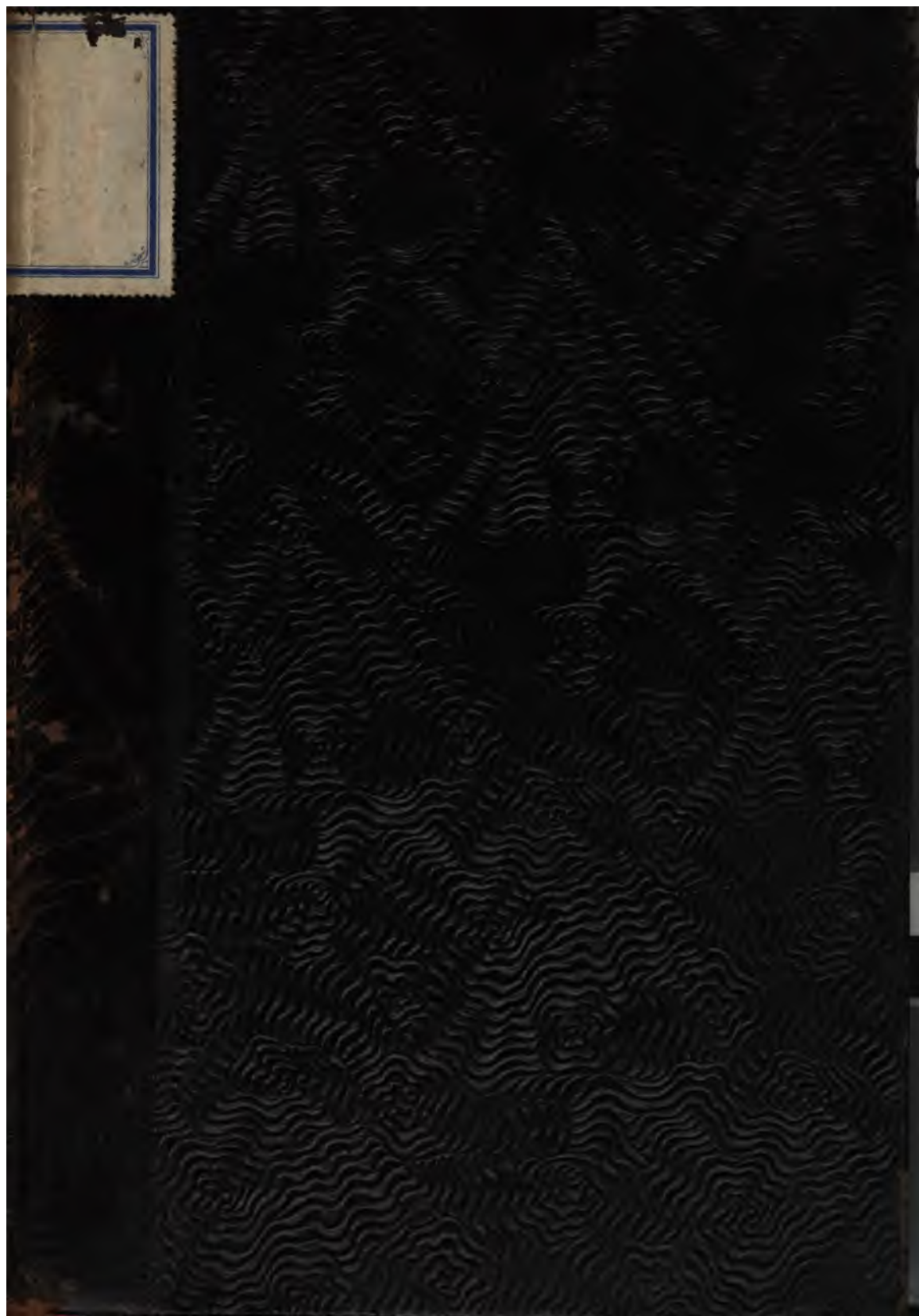
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

---





СОЧИНЕНІЯ

В. Д. СПАСОВИЧА.





*Spasowicz, W.*  
"

## СОЧИНЕНІЯ

# В. Д. СПАСОВИЧА

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

### Томъ I.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ.

Предисловіе. — Владиславъ Сырокомля. — Шекспировскій Гамлетъ. — Мартинъ Матушевичъ и его мемуары. — Нѣсколько словъ о Кавелинѣ. — Рѣчь о Пушкинѣ. — Винцентій Поль и его поэзія.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Книжный Магазинъ Бр. Рымовичъ.

Казанская, 26.

1889.

PG 7158  
S64  
v.1

---

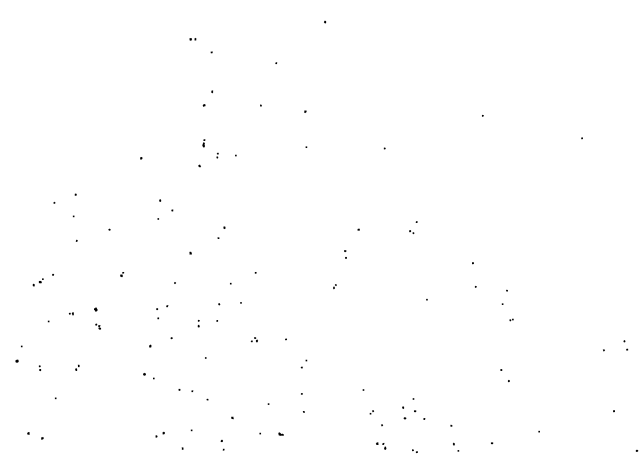
Книга печатана въ типографіи Ф. Сущинскаго. С.-Петербургъ,  
Екатерининскій каналъ, 168, а портретъ въ типографіи Э. Голпе.  
С.-Петербургъ, Вознесенскій проспектъ, 53.





*B Jacobson*





Въ жизни моей я противъ воли долженъ былъ нѣсколько разъ мѣнять профессіи; оставивъ любимыя мною профессорскія занятія, взялся за перо журнальнаго критика, а потомъ посвятилъ себя адвокатурѣ. Меня интересовали вопросы искусства; въ свободное время, я изучалъ великихъ писателей, въ особенности поэтовъ. Два первые томы начинаемаго мною изданія моихъ сочиненій состоятъ исключительно изъ такихъ литературныхъ очерковъ и портретовъ. Большую часть ихъ я прочелъ публично въ Варшавѣ или С.-Петербурѣ, прежде чѣмъ они были напечатаны. Всѣ эти опыты литературной критики относятся къ послѣднимъ тридцати годамъ (1876—1889). Вторая часть начатаго изданія будетъ заключать въ себѣ критическія и полемическія статьи, воспоминанія путешествій, лекціи и доклады юридическіе. Третья часть будетъ посвящена немногимъ избраннымъ судебнымъ рѣчамъ, заслуживающимъ на мой взглядъ вниманія или по своему дѣлу или по важности общественныхъ или юридическихъ вопросовъ, которыхъ они касались. Не будутъ включены въ изданіе слѣдующіе труды мои болѣе обширнаго объема: Учебникъ уголовного права (1863), исторія

польской литературы составляющая мой вкладъ въ томъ второй (1881) коллективнаго сочиненія А. Н. Пыпина и моего: «Исторія славянскихъ литературъ», наконецъ изданная мною въ 1882 г. книга «Жизнь и политика маркиза Вьлёпольскаго». Изъ изданнаго мною въ 1872 г. сборника моихъ статей и рѣчей «За много лѣтъ» я позаимствую для слѣдующихъ томовъ изданія меньше половины. Самые ранніе изъ печатаемыхъ нынѣ опытовъ литературной критики (Сырокомля, Матушевичъ, Поль) не были извѣстны русской публикѣ и впервые являются теперь въ переводахъ. Предпринятое мною изданіе моихъ сочиненій предполагается въ шести томахъ по два на каждую серію. Я не держался правила собственнаго писателямъ по профессіи: каждый день хотя бы по строчкѣ, но не проходилъ годъ, въ которомъ не было бы мною что нибудь написано, а такъ какъ этихъ лѣтъ довольно много, то и цѣлое будетъ довольно объемистое и по содержанію своему разнообразное. Не мнѣ судить удалось ли мнѣ сохранить въ теченіи этого длиннаго ряда лѣтъ послѣдовательность въ мысляхъ, искренность въ чувствахъ и постоянство въ убѣжденіяхъ, могу лишь по совѣсти сказать, что объ исполненіи этихъ требованій я по мѣрѣ силъ моихъ старался.

В. С.

1 Юня 1889 г.  
С.-Петербургъ.

---



Владиславъ Сирокомля

(КОНДРАТОВИЧЪ).



# Владиславъ Сырокомля.

## I.

Изъ всѣхъ родныхъ земель нашихъ наиболѣе богатъ не только минеральными источниками, но и кастальскими ключами самородной поэзіи—край принѣманскій. Намъ извѣстно по сказаніямъ лѣтописцевъ, что тамъ нѣкогда цвѣла пѣснь вайделотовъ, при дворахъ мелкихъ кунинговъ или князей. Но время совершенно засыпало тотъ источникъ и прикрыло его крестомъ, такъ, что раскрыть нынѣ старую ложбину еще труднѣе, чѣмъ найти въ Пуняхъ слѣды замка Пулленъ, въ которомъ Кондратовичъ помѣстилъ своего Маргера. Изъ креста, прикрывшаго прошлое, и изъ польско-дворянскаго духа произросло новое растеніе, котораго расцвѣтъ, озаренный блескомъ и славой, наступилъ лишь въ такое время, когда и самый крестъ былъ уже нѣсколько распатанъ, а шляхетность, переставъ быть учрежденіемъ, уже переходила изъ жизни въ пѣснь, то есть, когда предстояло пѣвцамъ балзамировать останки могучаго нѣкогда сословнаго организма.

Поэзія похожа, по законамъ своего роста, на ту американскую агаву, изъ породы кактусовъ, которая выпускаетъ цвѣтъ только разъ въ цѣлое тридцатилѣтіе и всего на нѣсколько часовъ. Различіе — въ томъ, что поэзія цвѣтетъ еще рѣже, съ неопредѣленными, иногда многовѣковыми даже, перерывами. Новѣйшую поэтическую эпоху у насъ открылъ Мицкевичъ. При извѣстіи

о его смерти другой поэтъ — Сигизмундъ Красинскій написалъ многозначительныя слова: «для людей моего поколѣнія онъ былъ медомъ и молокомъ, желчью и кровью духовною; всѣ мы—отъ него; онъ поднималъ насъ волной своего вдохновенія и бросилъ на свѣтъ, онъ величайшій поэтъ всѣхъ племенъ славянскихъ <sup>1)</sup>».

Умственные силы цѣлаго народа обратились къ этому поэтическому творчеству, въ немъ приняла участіе и Литва; прошелъ по слѣдамъ Мицкевича почти необозримый рядъ его товарищей, его подражателей, польскихъ поэтовъ литовской школы. Послѣднимъ по времени, въ числѣ наиболѣе способныхъ изъ ихъ числа и наиболѣе самостоятельныхъ, былъ Людовикъ Кондратовичъ, извѣстный сперва подъ псевдонимомъ Владислава Сырокомли <sup>2)</sup>. Въ прекрасномъ трудѣ, посвященномъ его жизни и произведеніямъ, извѣстный критикъ Тышинскій сравниваетъ Кондратовича съ заходящимъ надъ Нѣманомъ солнцемъ поэзіи, яркимъ еще и полнымъ, но не жгучимъ, бросающимъ уже смягченные лучи. Самъ Кондратовичъ, вмѣстѣ съ раздражительностью и жаждой славы, соединялъ нѣкую боязливую скромность, никогда не пробовалъ высокихъ полетовъ, не вѣщалъ съ треножника, и пѣсни свои приравнивалъ лишь къ пѣнію принѣманскаго соловья, къ игрѣ доморощеннаго музыканта среди сельскихъ бѣдняковъ <sup>3)</sup>. Онъ называлъ себя еще деревенскимъ пѣвцомъ, который не ищетъ родственныхъ себѣ душъ на пиру богача, гдѣ показался бы послѣднимъ изъ послѣднихъ долженъ былъ бы стоять у порога:

На пирѣ богатыхъ привѣтствіемъ дружнымъ  
Не будешь ты встрѣченъ и гостемъ ненужнымъ  
Въ дверяхъ постыши, какъ лакей..  
Печальную пѣсню-ли, гимнъ-ли священный,  
Все слушаютъ тупо они съ неизмѣнной  
Холодной насмѣшкой своей»...

<sup>1)</sup> Kronika Rodzinna 1875 г. стр. 168. Письмо по извѣстіи о смерти Мицкевича.

<sup>2)</sup> Syrokomla—название герба.

<sup>3)</sup> Т. VI. Изданіе стихотвор. Л. К. стр. 313.

(Т. VI. 313); такимъ пѣвцомъ, который избѣгаетъ вельможныхъ господъ, что платять деньги и судять купленный товаръ; («только тебѣ, толпѣ сермяжной, дарю напѣвы подѣ жниво, пою въ тактѣ звяканью косъ» VII, 248).

Кондратовичъ безпрестанно возвращается къ этой любимой темѣ и варьируетъ ее на-ново <sup>4)</sup>. Самая красивая изъ этихъ варьяцій, можно даже сказать—одинъ изъ лучшихъ алмазовъ польской поэзіи, это—стихотвореніе: «Деревенскій пѣвецъ». (VII, 242), идиллія написанная въ Залучы, въ 1852 г. Тамъ есть обращеніе къ поющей лирѣ «изъ волшебнаго дерева»:

«Отъ тебя нѣтъ отбою, не натѣшусь тобою,  
Подѣ твой звонъ оживая,  
Сердце птичкой трепещетъ, а въ лицо такъ и хлещетъ  
Кровь моя огневая.  
Пусть рука наболѣла, въ сердце горе наярѣло,  
Но играть буду съ жаромъ...  
Вѣдь, ты, лира—даръ Божій... я гусларь переходжій  
И умру я гусларомъ.  
Ты, пѣвучая лира, чародѣйка для міра,  
Но какъ ножъ ты опасна»...

которая и самому пѣвцу даетъ ощущеніе счастья, когда закипитъ въ немъ кровь и окраситъ блѣдное его лицо: «пусть больно рукѣ, пусть и сердцу больно». Лира бываетъ и карой божьею: «какъ острый ножъ порою пѣсня».

Пѣвецъ—человѣкъ простой, но берегущій свою независимость и честь своихъ пѣсенъ:

«Пѣть, бряцаая струнами, передъ Богомъ во храмѣ,  
Предъ народомъ въ харчевнѣ...  
.....  
Чародѣйная лира! Пусть не знаю я міра  
И живу слезъ отравой,

---

<sup>4)</sup> VI. 247. Посвященіе побасенокъ; 154. «Не я пою»; 186. Пѣсенка; 236. Подѣ флейту; VII, 5. Похоронное шествіе; 206. Что такое поэтъ; 299. Молчаніе поэта.

Но въ тебѣ чту я силу, и сойду я въ могилу—  
Ты моей будешь славой.  
Поплывутъ твои звуки, будутъ знать ихъ и внуки  
И—чужда ей преграда —  
Моя пѣсня иная, долетитъ до Дуная  
И до Кіева—града».

Каждый поэтъ испытываетъ желаніе начертить на память для потомства свой силуэтъ; по большей части эти нравственные портреты выходятъ польщенными, бываютъ красивѣе оригиналовъ. О Кондратовичѣ этого сказать нельзя: подлинникъ остался до конца вѣренъ изображенію, въ бѣдѣ и нуждѣ; пѣвецъ дѣйствительно умеръ съ рукой еще на струнахъ своей лиры, и не склонивъ ни передъ кѣмъ головы, не унизивъ пѣсни, съ неодолимой гордостью, прибавимъ—гордостью не личной, но—профессиональной, истекавшей изъ взгляда на искусство, какъ на нѣкоторую святыню, изъ опасенія «презрѣнне къ пѣсни возбудить».

Высказывая свой образецъ въ «Деревенскомъ пѣвцѣ», Кондратовичъ ставилъ своей цѣлью и задачей—быть не только національнымъ, но, и въ особенности — народнымъ; писать не для салоновъ, сдѣлаться любимцомъ людей неразборчивыхъ и простыхъ. Въ этомъ занятіи имъ положеніи, онъ былъ близокъ по духу Тарасу Шевченкѣ, «Кобзаря» котораго онъ и перевелъ, въ значительной части, на польскій языкъ. При такомъ сходствѣ слѣдуетъ, конечно, зачесть различіе происхожденія, первоначальнаго воспитанія и національности. Кондратовичъ былъ дворянинъ, который хотѣлъ «опроститься» — изъ любви къ народу, снизить и приспособиться къ его понятіямъ; Шевченко же былъ настоящій крестьянинъ, проникнутый преданіями казачества, выросшій однако высоко надъ средою, какъ дубъ на украинской степи. Но у обоихъ таже простота и свѣжесть впечатлѣній, оба почти одинаково любятъ довольно скудную природою своего края, у того и другаго равный реализмъ въ описаніи простыхъ предметовъ, взятыхъ пре-

имущественно изъ сельской жизни, равная глубина чувства, съ отгѣнкомъ однако: у Сырокомли—большей трогательности вмѣстѣ съ нѣсколько — шутливымъ тономъ, у Шевченки — большей страстности, смѣшанной съ мрачной дикостью. У обоихъ ихъ одинаковая неспособность къ олицетворенію темъ историческихъ, мыслей болѣе глубокихъ и сложныхъ; а наконецъ оба были осуждены на бездѣтность, не нашли вокругъ себя людей, которымъ бы могли завѣщать или отдать свои деревянные лиры, предназначенныя къ истлѣнію.

Тарасъ Шевченко, какъ былъ одинокъ при жизни, такъ остался и доселѣ, сравненіе съ дубомъ въ степи вѣрно и здѣсь. Долгаго времени и особенно—благопріятныхъ обстоятельствъ требовалось-бы на то, чтобы степь эту облѣсить посаженными и старательно взрощенными деревьями; а еще раньше, чѣмъ они выростутъ, промышленность и желѣзныя дороги могутъ измѣнить и бытовые условія того края. Кто можетъ знать—не утонетъ-ли украинщина въ великомъ теченіи русской культуры, не пойдетъ-ли на пищу и въ ростъ этому исполинскому тѣлу, утрачивая свою отдѣльность и самостоятельность литературную. Инымъ было положеніе Кондратовича, выросшаго и воспитавшагося въ великой, исполненной выработанныхъ традицій поэтической школѣ. Въ тотъ моментъ когда Кондратовичъ умиралъ, школа эта въ своемъ обще-польскомъ составѣ, включая и литовскую ея отрасль, сама уже приближалась къ концу, вполне уже исчерпавъ свою задачу, выразивъ уже въ пѣсни всѣ свои идеалы. Каждое общество тѣмъ склоннѣе бываетъ любоваться идеалами, чѣмъ менѣе имѣетъ возможности дѣйствовать, заниматься реальнымъ общественнымъ дѣломъ. Польское общество было страстно влюблено въ свои полусонныя мечтанія, потому что втеченіи полувѣка ему не оставалось ничего болѣе дѣлать, какъ только мечтать. Ему не осталось ничего, о чемъ бы надо было совѣтоваться, что оно могло бы рѣшать, не было ничего такого, что соединяло-бы руки въ какой-

нибудь, хотя бы мелкой, но самостоятельной и гласной работѣ.

Наступило однако такое время, когда не стало болѣе матеріала—даже и на созиданіе той или другой мечты, когда не прибывало уже и новыхъ впечатлѣній, которыя бы толкали воображеніе все въ ту-же сторону. Притомъ время это принесло съ собой и новыя, давно ожидаанныя перемѣны, коренное измѣненіе въ самомъ общественномъ бытѣ—освобожденіе крестьянъ.

Если жизнь общества сравнить съ игрою, то можно сказать, что наступилъ моментъ, когда карты были вдругъ перетасованы. Произошла суматоха, замѣшательство, полное диссонансовъ, какъ бываетъ обыкновенно, когда вступаютъ въ борьбу взаимно-противные элементы и матеріальныя интересы, когда появляется въ новомъ, еще не урегулированномъ рутиною видѣ, борьба за существованіе, за «твое и мое». Можно съ увѣренностью сказать, что еслибы даже не произошло ошибочное и гибельное по послѣдствіямъ дѣло 1863 года, то жизнь все-таки потекла бы инымъ русломъ и совершился бы поворотъ къ критикѣ, къ позитивизму, распространились бы теоріи преимущественно матеріалистическія, въ которыхъ была прямая потребность, хотя бы какъ въ силѣ для оплодотворенія вновь—истощенной столь долгимъ временемъ почвы.

Во многихъ отношеніяхъ Кондратовичъ стоялъ выше своей эпохи; онъ какъ мы постараемся доказать—былъ по тенденціямъ своимъ усерднымъ и дѣятельнымъ новаторомъ. На немъ поэзія прежней школы уже заканчивала свою эволюцію и возвращалась назадъ, къ источнику, изъ котораго первоначально вышла—къ народу. Съ вершинъ она ниспадала на землю, какъ зрѣлый жолудь, она зарывалась въ почву, чтобы дать начало новому растенію. Но новой школы она вдругъ вызвать не могла. Надо замѣтить, что лично Кондратовичу трудно было найти подражателей; прелесть его поэзіи заключается не въ высотѣ полета, не въ богатствѣ и разнообразіи сюжетовъ, *даже не въ манерѣ и методѣ пѣсни*, но въ той личной осо-



бенности, какую мы наблюдаемъ въ гортани соловья и которую найдемъ въ беззавѣтномъ увлеченіи поэта, — въ томъ что его личная натура дѣлала изъ него какъ бы самый совершенный музыкальный инструментъ, отзывавшійся стройно и громко на каждое прикосновеніе, притомъ невольно, такъ что онъ звучалъ до самой той минуты, когда порвались струны.

Поразительное и любопытное для психолога явленіе представляло это восторженное увлеченіе пѣснью — до самозабвенія, это «пѣніе на-смерть», съ сохраненіемъ полного блеска таланта до послѣдняго вздоха груди, въ тѣ моменты, когда уже перо не держалось въ рукѣ и въ мозгѣ мысли уже смѣшивались, переплетались. Остановимся надъ этимъ послѣднимъ періодомъ жизни поэта, обнимающимъ 1861 и 1862 годы, по день смерти, 15 сентября. Это—періодъ быстро шедшаго разложенія организма, но вмѣстѣ и тотъ, въ которомъ были написаны: «Поэзія послѣдняго часа» и «Мелодіи изъ дома умалишенныхъ». Изъ Борейковщины, имѣнія Тышкевичей, Кондратовичъ переѣхалъ въ Вильно, перенесся въ уличный грохотъ и шумъ. Посѣщаютъ его безпрестанно люди знакомые и незнакомые, которыхъ онъ любитъ, но предпочелъ бы имѣть подальше, потому что они утомляютъ его и надоедаютъ ему, отнимаютъ у него время и выкуриваютъ сигары, которыя для поэта были роскошью (письмо къ Хенцинскому въ соч. Крашевскаго «В. Сырокомля» стр. 188). Во всю свою жизнь поэтъ нуждался: «рапем сагео», писалъ онъ еще въ 1854 г. Крашевскому, обремененный содержаніемъ семьи въ полтора десятка душъ. Отсюда—необходимость писать и писать, продавать еще на корню будущую умственную жатву, непріятная зависимость втеченіе всей жизни отъ евреевъ за квартиру, за полученные задатки. Славный на всю Литву поэтъ часто нуждался въ дровахъ, писалъ при сальной свѣчѣ. Къ лишеніямъ и непріятностямъ присоединились физическія страданія; артритизмъ лишилъ его движенія ногъ; не принесло пользы лѣченіе въ Друскеникахъ и Вирштанкахъ;

Осуждать его за то, что онъ не устроился практичнѣе со своими ресурсами нельзя, по той простой причинѣ, что получалъ онъ отъ издателей такую плату, которой высшимъ размѣромъ были два злотыхъ за стихъ, а число тѣхъ, кого онъ долженъ былъ кормить доходило до 19-ти. Но были и иные поводы къ обвиненіямъ. Кондратовичъ бросилъ жену, велъ въ Вильнѣ жизнь гулящую въ кружкѣ актеровъ и литераторовъ, подогрѣвалъ вдохновеніе напитками, вдавался въ романъ съ замужней женщиной, пробовалъ даже оправдать эту связь въ единственной изъ своихъ поэмъ, гдѣ главную роль играетъ любовь, въ «Стеллѣ Форнаринѣ». Нѣсколько намековъ въ этомъ смыслѣ примѣшались даже къ слову проповѣдника во время отпѣванія. Едва ли однакоже возможно допустить, чтобы, даже среди общества наиболѣе щепетильнаго насчетъ нравственности, вины такого рода могли помѣшать оказанію помощи страждущему, имѣющему большія заслуги передъ обществомъ,—еслибы только этимъ серьезно занялись. Худшія вины прощались, очень многое игнорировалось порой, *tacito consensu*, изъ жизни людей, несравненно менѣе заслуженныхъ, но снискавшихъ расположеніе общества, не собирались и не выставлялись на-показъ ихъ человѣческія слабости общества частнаго, если самъ писатель и человѣкъ общественный былъ чистъ и безупреченъ. Сведеніе надъ кѣмъ-либо слишкомъ подробныхъ счетовъ по прегрѣшеніямъ частнымъ, часто только отражаетъ въ себѣ недовольство имъ, истекающее изъ иного источника, и по меньшей мѣрѣ служить признакомъ, что привязанность къ поэту не была всеобщая, единодушная.

Въ данномъ случаѣ не могло быть иначе. Кондратовичъ самъ никогда не скрывалъ, въ какую сторону клонились всѣ его сочувствія: множество разъ онъ твердилъ, что пишетъ для самой простой толпы, ненавидѣлъ фракъ и бѣлый галстухъ, самъ говорилъ въ такомъ родѣ — «когда я пробовалъ очертить барскія хоромы, то карандашъ ломался», а когда онъ проводилъ случайные

пштрихи, то выходили все—то литовская хата, то дворъ шляхтича, то деревенская церковь («Что умѣю набрасывать». VII. 220). Общепризнанное господство, безспорная дань бывають чаще удѣломъ вовсе не самыхъ способныхъ, не самыхъ чистыхъ дѣятелей, а скорѣе тѣхъ, кто ловче правилъ своей ладѣй, съ оглядкой, чтобы ни на кого не натолкнуться, кто не бросался съ лирой, какъ съ оружіемъ—въ борьбу противоположныхъ интересовъ. Міромъ управляетъ законъ обмѣна услугъ, и люди держатся правила — какъ ты мнѣ, такъ и я тебѣ; можно получить въ обладаніе всѣ сокровища міра, но не иначе, какъ исполнивъ условіе искуителя (Ев. св. Луки. IV. 7): «аще поклонишься, будутъ твоя вся».

Между тѣмъ Кондратовичъ, который продавалъ жидамъ еще ненаписанныя, а только задуманныя произведенія, который съ благодарностью бралъ пособія отъ тѣхъ, о комъ былъ убѣжденъ, что они давали отъ души, не унижая приѣмлющаго, этотъ самый Кондратовичъ только и думалъ, какъ бы не согнуть шеи и не уронить своей гѣсны. Отсюда и произошло, что люди, стоявшіе на высшей общественной ступени по происхожденію и богатству, тѣ люди, о которыхъ онъ прямо говорилъ, что пишетъ не для нихъ, они и не взяли на себя почина въ устройствѣ національной подписки въ пользу бѣдствовавшаго поэта, единственной формы пожертвованія, какую Кондратовичъ могъ принять безъ чувства униженія. А что подобная складчина была вполнѣ возможна при условіяхъ 1862 года, о томъ свидѣтельствуетъ фактъ, что состоялась же она въ пользу семьи поэта, когда извѣстіе о его смерти наэлектризовало общественное настроеніе. Посыпались на могилу цвѣты, раскрылись карманы, возникъ и литературный надгробный памятникъ.

Прекраснымъ фундаментомъ для него послужило варшавское изданіе «Стихотвореній» Кондратовича, вышедшее въ 10 томахъ въ 1872 году, весьма старательно собранныхъ и размѣщенныхъ въ хронологическомъ по-

рядкѣ В. Коротынскимъ. Нѣтъ недостатка въ матеріалахъ и для составленія хорошей біографіи поэта; немало еще людей, которые могли бы изъ личныхъ воспоминаній добавить многое и къ жизнеописанію и къ характеристикѣ покойнаго (назовемъ гг. Коротынскаго, Петкевича, Тиціуса, Пашковскаго, Гораина, Валицкаго, Круповича). Покамѣстъ, имѣются въ видѣ временныхъ памятниковъ два значительныхъ очерка: Крашевскаго («Владиславъ Сырокомля», Варшава 1862) и А. Тышинскаго («Библіотека Варшавская», августъ и сентябрь 1872: «Людовикъ Кондратовичъ и его поэзія»). Въ обоихъ этихъ превосходныхъ этюдахъ, — изъ которыхъ первый есть — некрологъ, выросшій до размѣровъ книги, а другой представляетъ опытъ критической оцѣнки Кондратовича по совокупности его сочиненій — поэтъ является предъ нами живымъ въ своихъ стихотвореніяхъ, въ домашней жизни и интимной перепискѣ. Указаны тамъ подробно источники его вдохновеній, опредѣлены періоды развитія его таланта, и пройдены молчаніемъ лишь тѣ подробности, о которыхъ неудобно говорить по обстоятельствамъ времени или по отношенію къ живымъ еще лицамъ. Оба эти портрета похожи на не вставленные въ рамки этюды, на эскизы, выдающіеся посреди пустаго пространства, не обрамленные опредѣленіемъ среды, характеристикой времени, что и не входило въ задачу авторовъ. Фигура поэта можетъ только выиграть, если ее представить на современномъ ей фонѣ, попытавшись намѣтити самый характеръ той эпохи, такъ еще недавней, но уже отодвинувшейся въ прошедшемъ, уже удобной къ разграниченію съ настоящимъ временемъ. Задача при этомъ можетъ быть поставлена въ формѣ слѣдующаго вопроса: чѣмъ обязанъ былъ Кондратовичъ своимъ предшественникамъ, своему вѣку, и какъ онъ дѣйствовалъ на свое общество, какое вліяніе сохранилъ нынѣ и сохранить въ будущемъ для потомковъ? Задача эта весьма обширна, но способствовать ея рѣшенію возможно и небольшимъ вѣсомъ, позволительно и послѣ мастеровъ.

Взявшись за такой отвѣтъ, мы отсылаемъ читателя, въ томъ что касается подробностей біографическихъ — къ очеркамъ Крашевскаго и Тышинскаго, предполагая, что факты эти ему извѣстны и станемъ приводить изъ нихъ только тѣ, которые на нашъ взглядъ имѣли дѣйствительное значеніе въ самомъ развитіи его таланта.

## II.

Въ домѣ мелкаго дворянина, бывшаго сперва земле-мѣромъ, а потомъ арендаторомъ небольшого фольварка въ радзивилловскихъ имѣніяхъ въ минской губерніи, Александра Кондратовича, по гербу Сырокомли (Крашевскій, 214) родился 17 сентября 1823 года, сынъ Людовикъ-Владиславъ. Средства были самыя скромныя, домашняя обстановка простая. Когда мальчику минуло 10 лѣтъ, отецъ отдалъ его въ школу къ доминиканамъ въ Несвижѣ. Систематическое ученіе Людовика какъ началось съ этой школы, такъ на ней почти и окончилось. Образованіе она давала крайне недостаточное, притомъ чисто — конфессіональное, полу-духовное, такое, о которомъ можно себѣ составить понятіе только по преданіямъ, такъ какъ школы эти въ нашихъ мѣстахъ давно уже не существуютъ. Много можно бы о немъ сказать и хорошаго и дурнаго. Во всякомъ случаѣ, оно уже было не похоже на прежнее, іезуитское, основывавшееся на средневѣковомъ Альварѣ и на розгѣ, удалилось и отъ того, какое давали въ своихъ школахъ соперники и преемники іезуитовъ — піяры (*fratres scholarum piarum*). У отцовъ доминикановъ преподаваніе было уже наполовину свѣтское, умѣренное благотворнымъ вліяніемъ виленскаго университета, которому были подчинены и духовныя школы. Нѣтъ сомнѣнія, что въ монастыряхъ учительскіе приемы несоотвѣтствовали требованіямъ нынѣшней педагогики, имѣющей главной цѣлью — изощреніе ума, развитіе въ умѣ учащагося критической способности, само-

стоятельности сужденія, вмѣстѣ съ усвоеніемъ научнаго матерьяла. Духовные отцы смотрѣли на вещи нѣсколько иначе; у нихъ, преподаваніе основывалось на авторитетѣ, исходную точку имѣло богословскую; цѣлью его было прежде всего—сдѣлать изъ учениковъ людей богобоязненныхъ, не позволяющихъ себѣ судить о догматѣ, но принимающихъ на-вѣру, сердцемъ, какъ этотъ, законченный въ себѣ догматъ, такъ и готовые, простые, на подобіе прямыхъ линій, правила нравственности.

Обученіе было и моральное и физическое, обнимало науку и вѣру («Школьные годы Демборога» Кондратовича, 312 и слѣд.), и преимущественно послѣднюю, дабы человѣкъ «не возлеталъ никогда на крыльяхъ Икѣра и, увѣренный въ своей истинѣ, не предавался суетной заботѣ, постился бы себѣ въ субботу и святилъ день воскресный». Нельзя не признавать, что всякое нравственное ученіе, хотя бы основанное исключительно на авторитетѣ, заслуживаетъ полнаго уваженія и, для совокупности людей, не можетъ быть замѣнено ничѣмъ, предполагая, конечно, что предписываемыя имъ правила дѣйствій не состоятъ въ открытой борьбѣ съ потребностями времени. И надо прибавить, что острый кризисъ въ этомъ послѣднемъ смыслѣ происходитъ рѣдко, а пока онъ не наступилъ, вѣра и знаніе умѣютъ взаимно согласоваться, вступая въ многочисленные взаимные компромиссы, легко осуществимые въ самой жизни—до тѣхъ поръ, покамѣстъ нравственное правило само въ себѣ не оказывается отжившимъ, то-есть во всё то время, когда подъ него еще возможно подводить не только теологическое, но и раціональное основаніе. Выходили же изъ школъ при-монастырскихъ люди просвѣщенные, передовые; самъ Мицкевичъ учился первоначально у оо. доминикановъ въ Новогрудѣ, и преподавателямъ тѣхъ школъ надо вмѣнить въ большое достоинство фактъ, что несмотря на суровую дисциплину съ примѣненіемъ розги, воспитанники монашескихъ школъ Игнатій Ходзько, Л.

Кондратовичъ сохраняли для нихъ чувства самыя сердечныя, почти сыновнія.

Въ «Школьныхъ годахъ Демборога» Кондратовичъ самъ далъ, положимъ, нѣсколько идеализированный отчетъ—какъ и чему онъ учился. Воспитаніе, впрочемъ, вовсе не было аскетическое. Ученики жили въ достаточномъ городѣ, на вольныхъ квартирахъ, а въ монастырь приходили только на уроки. Городецъ былъ въ высокой степени проникнутъ духомъ католичества, много въ немъ было костѣловъ и монастырей, воздвигнутыхъ на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ еще не такъ давно передъ тѣмъ дѣйствовали кальвинистскія кирки и аріанскія типографіи. Надъ всѣми костелами господствовала, однако, огромная развалина съ тремя башнями, окруженная прудами въ окопахъ и валомъ; это былъ замокъ Радзивилловъ, носившій слѣды погрома 1792 года, а затѣмъ, еще болѣе онутошенный въ 1812 году. Правда, развалина эта, запечатлѣнная едва не королевскимъ величіемъ, вмѣщавшая въ склепахъ кости своихъ владѣльцевъ, а на галлереяхъ—ихъ портреты, стояла пустою, какъ разрытая могила, не посѣщаемая никѣмъ, кромѣ привидѣній. Но зато монастырь со школою представлялся какъ бы остаткомъ прежней Польши, остаткомъ перенесеннымъ заживо въ XIX вѣкъ, и несмотря на такое перенесеніе, приросшимъ еще вполне къ цѣлому прошлому, не только къ тому, какое сохранилось въ церкви, но и къ прошедшему во всемъ его составѣ, со всѣми традиціями самоуправленія, строгой домашней дисциплины и тѣхъ добродѣтелей, какія создаетъ гласная, дѣятельная, общественная жизнь. Мелкія дворянскія усадьбы находились въ самыхъ тѣсныхъ и дружественныхъ связяхъ съ монастыремъ, въ непрерывномъ съ нимъ общеніи на церковныхъ праздникахъ, училищныхъ открытыхъ экзаменахъ, ученическихъ прогулкахъ за-городъ, съ префектомъ во-главѣ, на торжествахъ въ дни св. Петра и Тѣла Господня, когда подъ открытымъ небомъ, передъ алтарями, стоявшими въ цвѣтахъ, среди безчис-

ленного множества горѣвшихъ свѣтъ и сотенъ хоругвей, въ дыму кадилъ, гремѣло изъ тысячъ грудей—«отъ мора, войны, огня и наводненія спаси насъ Господи!»

Ничто не сравнится, по силѣ и неизгладимости, съ тѣми первоначальными впечатлѣніями юности; ихъ свѣтлые образы, согрѣтые всей полнотою чувства, западаютъ въ самую глубь души, собираются тамъ, какъ въ сокровищницѣ и хранятся на всю дальнѣйшую жизнь, становятся главнымъ запасомъ, чуть-ли не единственнымъ матеріаломъ, откуда въ воображеніи художника исходить та нить, изъ которой будетъ ткаться основа его представленій. Наростаніе такого запаса основныхъ впечатлѣній продолжается только до извѣстнаго возраста; въ послѣдствіи впечатлительность притупляется и человѣкъ перестаетъ дополняться и обновляться, онъ уже только сопоставляетъ и сортируетъ то, чтò въ молодые годы прошло сквозь его сознаніе и улеглось въ памяти. Многому можно научиться въ позднѣйшемъ возрастѣ, можно не разъ даже измѣнить свои убѣжденія, утратить свою вѣру, разобрать ее какъ стѣну—камень за камнемъ, сдѣлаться совершеннымъ скептикомъ—и однакоже не быть увѣреннымъ въ себѣ, не быть обезпеченнымъ отъ насильственнаго возврата тѣхъ впечатлѣній, которыя казались уже пережитыми и забытыми. Въ силу закона объ ассоціаціи представленій, иногда пустое какое-нибудь и равнодушное съ виду обстоятельство, можетъ прикоснуться къ вещамъ минувшимъ, вызвать и обновить тотъ или другой образъ, а вмѣстѣ съ нимъ выступаетъ, какъ стертый текстъ на палимпсестѣ, и чувство, которое тотъ образъ когда-то проникало и оживляло. Бываетъ и такъ, что чувство это оказывается затѣмъ сильнѣе разума и тогда оправдывается, въ тысячу — первый разъ, басня Красицкаго о томъ мудрецѣ, чтò мѣрилъ сводъ небесъ, а подъ конецъ не только въ Бога увѣровалъ, но и въ привидѣнія.

Возвратимся отъ этихъ общихъ замѣчаній—къ Кондратовичу. Въ немъ сѣмя релігіозное пало на доброе



поле, что запечатлѣлось въ его душѣ въ то время, такъ и осталось нестертымъ и даже ничѣмъ не заслоненнымъ. У него была и осталась вѣра, простая, прямо по катехизису, но это была вѣра художника, онъ въ ней былъ какъ въ своей стихіи, впрядалъ ее въ свои пѣсни и безъ нея не умѣлъ бы ничего произвести. Пришелъ и для него опытъ, наслушался и онъ всяческихъ сомнѣній и отрицаній, но у него они въ одно ухо влетали, а въ другое вылетали вонъ; къ аналитическому розыскиванію истины онъ не чувствовалъ ни малѣйшаго призванія, а поэтизировать самыя сомнѣнія онъ не пытался, находя ихъ негармоничными и некрасивыми; почему онъ просто—инстинктивно сторонился отъ нихъ.

Послѣ первоначальнаго курса, пройденнаго въ Несвижѣ, а затѣмъ еще въ 5-мъ классѣ Новогрудскаго уѣзднаго училища, и не смотря на то, что затѣмъ онъ тотчасъ закопался въ Мархачевѣ, а потомъ въ Залучьи, Кондратовичъ однако вовсе не былъ лишенъ—какъ бы то казалось вѣроятнымъ—возможности познакомиться съ умственнымъ движеніемъ вѣка, съ религіозными и философскими теоріями, какія въ то время находились въ оборотѣ. Почти періодически, ежегодно, лѣтомъ появлялись въ его уединеніи перелетныя птицы — студенты университетовъ петербургскаго, московскаго, дерптскаго, и кievскаго. Содрогались стѣны отъ страстныхъ диспутовъ, въ которыхъ боролись самыя крайніе оттѣнки мысли, представлявшіеся въ самыхъ необузданныхъ борцахъ, начиная съ мистиковъ и обскурантовъ до бѣшеныхъ матеріалистовъ. Кондратовичъ слушалъ ихъ всѣхъ со вниманіемъ, но будучи, по своему темпераменту болѣе чѣмъ кто-либо склоннымъ къ терпимости, не могъ примириться только со страстной исключительностью и фанатизмомъ диспутантовъ. Въ 1851 году, тотчасъ послѣ общеевропейской бури, которой отголоски залетали и на Литву, Кондратовичъ писалъ Крашевскому (стр. 45): «у меня голова болитъ отъ прогрессистскихъ криковъ, мысль расходится въ стороны, не могу еще сосредоточиться».

Въ первый разъ посѣтивъ въ этомъ году Вильно, онъ описывалъ пребываніе тамъ мрачными красками (стр. 42, 43): «не зналъ я, какая жалкая рознь въ понятіяхъ господствуетъ среди насъ. *Obstupui*. Одни, съ крестомъ въ рукахъ, отгоняють въ адъ всякій раціонализмъ, всѣ научные розыски называютъ дѣломъ сатанинской гордости. Другіе, произнося слова прогресса и братства, плюють на вѣру, на преданія, на все что дорого и свято... Христово имя у всѣхъ на устахъ, но христовой любви къ людямъ, ей-богу, я не примѣтилъ. Люди сами по себѣ прекрасные взаимно чернять и облыгаютъ себя. Благодаря моей молчаливой фигурѣ, я могъ выслушивать все и съ іезуитской улыбкой какъ будто поддакивалъ всему, но возвращаясь вечеромъ домой, я иногда плакалъ. Я имѣлъ намѣреніе поселиться въ Вильнѣ; но теперь вижу, что если бы умственно я при этомъ и выигралъ, то сердце высохло бы какъ прахъ. Я не гожусь въ діалектики»... Однако необходимость заставила его переѣхать въ Вильно, поселиться среди тѣхъ спорщиковъ и крикуновъ, между враждовавшими партіями, въ атмосферѣ насыщенной сплетнями (стр. 62, 67). Здѣсь, находясь на самой аренѣ борьбы между враждующими понятіями, а вдобавокъ сломленный и разстроенный болѣзнь, Кондратовичъ не въ силахъ былъ отогнать сомнѣній, вкрадывавшихся въ его душу. Въ 1859 г. онъ писалъ Хенцинскому (Крашевскій 172): «я пришелъ къ полному равновѣсію между сердцемъ и разумомъ, а это значитъ, что у меня не осталось ни того, ни другого». Но тутъ же онъ признается, что не можетъ освоиться съ состояніемъ «разсудочнаго безвѣрія», которое для него было равнозначуще съ оцѣпененіемъ и утратой всякаго стимула къ творчеству. Передъ лицомъ смерти вѣра возвращается и поэтъ, снова одушевленный ею, пишетъ въ 1861 г., въ Бореяковщизнѣ, одно изъ тѣхъ произведеній, которыя относятся къ періоду его болѣзни и агоніи — «*Cupio dissolvi*»; въ этомъ стихотвореніи раскрывается душа поэта и Сыро-

комля является предъ нами такимъ, какимъ онъ собственно былъ во всю свою жизнь: идеалистомъ, деистомъ, стоящимъ внѣ опредѣленнаго вѣроисповѣданія, но въ высшей степени религіознымъ, въ общемъ духѣ христіанства, человѣкомъ. Эта вещица припоминаетъ предсмертные стихи Эдмунда Василевскаго: «чтожъ мнѣ, не все-ль равно, сегодня или завтра», но еще бѣльшее и даже поразительное сходство имѣетъ съ послѣднимъ стихотвореніемъ Рылѣева, написаннымъ въ заключеніи, въ 1825 году, но остававшимся совершенно неизвѣстнымъ до 1872 года, когда оно впервые явилось въ печати («Девятнадцатый вѣкъ», изд. Бартенева, Москва, I. 327). Сходство тутъ — въ одинаковой по содержанію вѣрѣ и отчасти аналогичномъ положеніи, а стало быть и общимъ обоимъ поэтамъ настроеніи. Но въ данномъ произведеніи русскій поэтъ значительно превосходитъ литовскаго, судьба перваго трагичнѣе, вопль его души электрически потрясаетъ читателя, какъ послѣдняя исповѣдь и молитва. Приводимъ эти стихи:

Мнѣ тошно здѣсь какъ на чужбинѣ.  
Когда-жъ покину плоть мою?  
Ктожъ дастъ крылѣ мнѣ голубинѣ  
Да полечу и почию?  
Міръ цѣлый смраденъ какъ могила,  
Душа изъ тѣла рвется вонъ  
Ты мнѣ, Творецъ, прибѣжище и сила —  
Вонми мой вопль, услышь мой стонъ,  
Приникни на мое моленье  
Внемли смиренію души  
Пошли друзьямъ моимъ спасенье,  
А мнѣ грѣховъ дай отпущенье,  
И духъ отъ плоти разрѣши!

Кондратовичъ же, въ своихъ стихахъ, не молится, но скорѣе философствуетъ: «на что мнѣ, о Боже, эта тѣлесная одежда, сковывающая духъ? Зачѣмъ, будучи духомъ, я осужденъ ходить въ образѣ животнаго? Развѣ слово способно выразить хотя бы тѣнь мысли? Каждое изъ чувствъ моихъ убого и лживо въ самой основѣ. Въ

каждомъ изъ нихъ лежитъ одинъ обманъ, одна помѣха душѣ для совершеннаго познанія вещей. Земныя условія плоти и костей только лишаютъ меня вѣнца независимости. Голодъ и жажда, холодъ и жаръ даютъ только мѣрку нищеты человѣческой. Жадность пригнетаетъ душу къ землѣ, тщеславіе воздымаетъ грудь суетой, ненависть даетъ ножъ въ руки, любовь дѣлаетъ звѣринымъ то, что было божескимъ», и т. д. Изъ такого сознанія, у Кондратовича, какъ и у Рылѣва, истекаетъ горячее желаніе, чтобы раздѣлились двѣ, какъ они думаютъ, составныя части человѣка, чтобы разорвалась завѣса, преграждающая полетъ въ таинственный міръ— за предѣломъ міра, туда, гдѣ сіяетъ неизрѣченный и земному взгляду недоступный Богъ теологическій, освобожденный однако—у Кондратовича, какъ и Рылѣва—отъ всякихъ вѣроисповѣдныхъ особенностей, такъ какъ оба поэта восприняли посвященіе въ тѣ идеи вѣротерпимости, которыя составляютъ лучшее наслѣдіе XVIII столѣтія.

Приведенные выше образчики достаточно объясняютъ, какую огромную роль въ поэзіи Кондратовича играетъ элементъ религіозный; но слѣдуетъ нѣсколько подробнѣе опредѣлить сущность и свойства этой религіозности.

И такъ, прежде всего бросается въ глаза полное отсутствіе въ ней всякаго мистицизма. Умъ Кондратовича отличался замѣчательной трезвостью; это была — голова разсудочная, а сердце, чувствовавшее сильно, но—только вещи ясно понятыя. Натура его была такъ мало расположена къ восторженнымъ видѣніямъ, до такой степени не склонна къ обращенію въ міръ сверхъестественномъ, къ розысканію въ фактахъ жизни—таинственныхъ символовъ и къ вниманію въ заключенное въ такихъ символахъ откровеніе, что на немъ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда того польскаго мессіанизма, который представлялъ направленіе положительно господствующее, именно въ то время, когда Кондратовичъ наиболѣе учился и развивался. Мессіанизмъ, который опуталъ

крылья гораздо болѣе могущественныхъ талантовъ, не оказалъ никакого вліянія на Кондратовича, не ставившаго себѣ никогда иныхъ задачъ, кромѣ чисто-художественныхъ. Онъ, какъ художникъ, и бралъ чудесность, но бралъ ее готовою, именно такую, какую находилъ въ св. писаніи, или прочелъ въ старой хроникѣ, или услыхалъ въ разсказѣ.

Въ этомъ родѣ—первое его, почти ребяческое произведеніе, съ котораго и начинается собраніе его стихотвореній—«Св. Садохъ» (I ч. 1845 г.); таковы далѣе «Видѣніе пустынника» (1858, IV, 53), довольно большой разсказъ «Мартинъ Студзенскій» (IV, 81, 139., 1859 г.) и множество другихъ. Кондратовичъ не всегда помнилъ, что самъ сказалъ въ «Студзенскомъ» (138), а именно, что «отчизна чудесъ, вѣра встрѣчавшая насъ на паперти, нынѣ отлетѣла изъ христіанскихъ сердецъ». Иногда онъ нарушалъ то обязательство, которое какъ бы заключалось въ этихъ словахъ. Напримѣръ: «Возможно-ль чудо или нѣтъ, я въ это не вхожу, но свой разсказъ веду о временахъ, когда всякъ вѣрилъ въ чудо». Если-же Кондратовичъ пытался сочинить чудесность и придумать вещи сверхестественныя, то всѣ подобныя опыты оканчивались полнымъ неуспѣхомъ, то есть выходили вещи просто плохія. Къ числу такихъ слабыхъ произведеній принадлежитъ и ненапечатанное стихотвореніе, написанное на смерть Мицкевича: «Надъ Босфоромъ, тамъ, далеко, печально стоятъ люди чужіе. Вотъ крышка гроба опустилась надъ героемъ славянской пѣсни и т. д.»—въ которомъ авторъ дѣлаетъ видимыя и принужденныя усилія, чтобы подняться выше, стать какъ бы на высотѣ предмета. Въ этомъ стихотвореніи душа Мицкевича восходитъ на Олимпъ христіанскій, представляется Христу и Богоматери, а затѣмъ лучи тойже души рассылаются по вышнему велѣнію во всѣ тѣ мѣста, которыя великій поэтъ любилъ при жизни и которыя обезсмертилъ. Отъ всего этого вѣетъ холодомъ и дѣланностью, средства не соотвѣтствуютъ цѣли. Средства, дѣйствительно, были малы и не позволяли поэту создавать

своеобразныхъ воплощеній того или другого религіознаго понятія, были достаточны единственно для передачи тѣхъ впечатлѣній и чувствъ, какія, въ души простой и вѣрующей, вызываетъ самый обрядъ церковный, притомъ— обрядъ, совершаемый при самой скромной и бѣдной обстановкѣ, въ неказистой деревянной сельской церкви, гдѣ простой людъ, стоя на колѣняхъ, съ покаяніемъ вкушаетъ единый доступный ему хлѣбъ умственной жизни. Правда, и у Мицкевича есть подобное мѣсто, въ IV части «Дѣдовъ»: «ты помнишь-ли, когда тебѣ было лѣтъ десятокъ, и въ первый разъ ты въ увлеченіи духа, склонился набожно на колѣни передъ рѣшеткой алтаря. И вдругъ надъ образомъ раздвинулась занавѣска, блеснула чаша, зазвенѣлъ звонокъ. Со мной въ такую минуту душа какъ будто разставалась»—Но то чтó у Мицкевича явилось разъ только, да и то въ неизданномъ при жизни поэта варьянтѣ, то чтó онъ отложилъ, какъ ненарушимо святое, но уже пережитое воспоминаніе изъ дѣтства,— у Кондратовича было любимой темою, которую онъ разрисовывалъ сто разъ, на разные лады, не потворяясь притомъ въ самомъ описаніи. Ксендзъ читаетъ по миссалу, органистъ фальшивить на клавиатурѣ, школьники на хорахъ перевираютъ латынь, вокругъ—закопченные стѣны, и нагорѣвшія свѣтильни на желтыхъ свѣчахъ, вмѣсто хоругвей какія-то лохмотья, угодники въ черныхъ рамахъ по стѣнамъ, и съ креста склоняется окровавленный Спаситель, нисходящій въ посвященномъ хлѣбѣ къ алчущимъ устами вѣрныхъ («Великій четвертокъ», II. 278. «Школьные годы Демборога» III. 336).

И самъ Кондратовичъ въ поэзіи своей принимаетъ какъ бы личное участіе въ обрядѣ, замѣняетъ органиста, не считаетъ ниже себя «играть въ церкви, Богу во славу, и людямъ на пользу», на томъ же хрипломъ инструментѣ. Онъ переводитъ литургическіе гимны (VI. 293), сочиняетъ даже набожныя легенды къ святцамъ (VII. 65), размышленія на опредѣленные дни года (VII. 68), посвященные праздникамъ; мало того—молитвы къ святымъ

для образковъ, продаваемыхъ на мѣстныхъ праздникахъ (pardons), снабженныхъ особыми разрѣшеніями (7, 13, 21, 117, 122, 161). А между тѣмъ и въ такихъ крошкахъ, сброшенныхъ со стола поэзіи — почти уже за предѣлы литературы изящной, есть одна черта, не позволяющая имъ утонуть въ массѣ предназначенныхъ для той же цѣли церковныхъ виршей, возвышающая ихъ высоко надъ уровнемъ простого ремесла. Черта эта — вдохновеніе, правда — не религиозное, но чисто артистическое, огонь, который Кондратовичъ самъ приносилъ съ собой въ церковь, а не бралъ съ церковныхъ свѣчекъ (Къ Зенькевичу. VII. 192).

Да, это былъ поэтъ религиозный, но вовсе не правовѣрный; для него было важно, какъ вѣрнуть массы, но онъ самъ не принималъ всего буквально, былъ даже равнодушенъ къ тому, во что именно онѣ вѣруютъ, что бываетъ всегда сомнительнымъ и неудобопонятнымъ, а во всякомъ случаѣ не можетъ быть строго доказано и защищено. Несмотря на дѣтскую почти набожность своего сердца, поэтъ нашъ пользовался однакоже всѣми привилегіями человѣка свободномыслящаго. А въ минуты легкомысленной веселости, онъ даже позволялъ себѣ, особенно въ пріятельской бесѣдѣ, остроумныя шутки надъ разными предметами изъ среды церковной, надъ кардиналами «что съѣхались въ Парижѣ на постѣй чтобы избранника (Наполеона III) мастить помадою святой (стихи къ Румбовичу VI. 275)»; или надъ прелатомъ, который «учено морщить лобъ, чтобы доказать непогрѣшимость папы (VII. 182)». Точно такъ, поэтъ крайне фамиліарно обходится съ св. Софіею (VII. 280), Іоанномъ-Крестителемъ (VII. 286), или съ св. Евстахіемъ, по поводу именина ученаго гр. Тышкевича (VI. 306): «сегодня вѣдь дежурнымъ состоитъ при Богѣ — святой Евстахій. Охотно онъ съ докладомъ благосклоннымъ войдетъ о дорогомъ кліентѣ, его поддержитъ самъ своимъ авторитетомъ — святой Евстахій. И на пути твоёмъ прекрасномъ

разсѣтъ онъ щиты и щелы, и чаны полные медовъ вѣ-  
ковыхъ—святый Евстахій».

Такая вольность въ обращеніи съ вещами свойства  
духовнаго, положимъ, не оскорбляетъ религіи, такъ какъ  
не выходитъ за предѣлы того, надъ чѣмъ, по убѣжде-  
нію поэта, позволительно подсмѣяться (къ Круповичу,  
VII. 60) и не ведетъ къ колебанію вѣры въ Бога. Но она  
все-таки дѣлаетъ религіозныя произведенія Сырокомли  
насквозь-свѣтскими. Въ нихъ нѣтъ ничего приторнаго,  
подслащеннаго, ничего что бы припоминало сакристію и  
ризы, онъ не пытается разжалобить орудіями страстей и  
украшать терновый вѣнецъ фольгою и разноцвѣтными  
бумажками. Повсюду у него чувствуется возвышенный  
идеализмъ, возносящійся горѣ въ безконечныхъ обраще-  
ніяхъ къ Богу, идеализмъ безъ котораго однако необхо-  
дится ни одна изъ сколько-нибудь значительныхъ его  
поэмъ, начиная отъ эпическихъ и кончая хотя бы пре-  
лестною кантатой «Францискъ Ассизскій» (1857. Вильно  
V. 81—86). Кромѣ вещей религіозныхъ по самому содер-  
жанію, у Кондратовича есть еще одинъ родъ произведеній,  
который даетъ намъ послѣднюю черту для характеристики  
религіознаго элемента въ его поэзіи вообще. Онѣ носятъ  
названіе «бесѣдъ» и представляютъ собой—драматизиро-  
ванныя народныя поученія, заключающія въ себѣ прак-  
тическую мораль. Въ нихъ иногда самое содержаніе и  
не относится къ Богу и представленіямъ церковнымъ,  
но тѣмъ не менѣе онѣ запечатлѣны свойственнымъ на-  
роду, истекающимъ изъ религіи, глубокимъ вѣрованіемъ  
въ непосредственное дѣйствіе божескаго правосудія—еще  
въ семь мірѣ, а также въ такія вещи, какъ носящія на  
себѣ проклятіе клады, чортовы сокровища, и наконецъ,—  
въ то, что чѣмъ кто согрѣшилъ, тѣмъ и наказанъ будетъ.

Что Кондратовичъ не принималъ и такихъ преданій  
въ смыслѣ буквальному, а понималъ ихъ глубже, чѣмъ  
простой народъ, это доказывается хорошенькой сказкой  
«Краденое (1849. Залучье, I. 53)», въ которой отецъ,  
желая проучить сына, предлагавшаго ему кражу, пред-



ставляется будто укралъ вола, и съѣдая его съ сыномъ постепенно толстѣетъ, между тѣмъ, какъ сынъ, одержимый страхомъ соучастника въ преступленіи, исхудалъ какъ щепка: «тотъ волъ былъ купленъ мной, и вотъ мнѣ шло во здравье, а ты, считая себя воромъ, исхудалъ какъ собака». И такъ, одно и тоже мясо одному идетъ на здоровье, а другому становится поперекъ горла, въ зависимости отъ представленія о самомъ способѣ приобрѣтенія; словомъ совѣсть является тутъ судьей, исполнителемъ кары и самымъ воздаяніемъ за вину. Въ другомъ превосходномъ стихотвореніи того же рода, пасѣчникъ Ходыка, гонимый такими же Евменидами, самъ отдаетъ себя подъ мечъ палача въ случкомъ замкѣ (1847. I. 31 — 52); въ третьемъ панъ Корсакъ проходитъ чрезъ тягчайшее, по его дворянскимъ понятіямъ, покаяніе, отбывая службу работника у своего же крестьянина, зато, что убилъ его сына (1852 г. I. 300 — 331). Народъ связываетъ эти понятія болѣе вещественнымъ образомъ: палецъ Божій поражаетъ нераскаяннаго преступника чрезъ внѣшнія, будто-бы случайныя приключенія. Такъ, у Польнаго Гетмана, который допустилъ насилие солдатъ надъ крестьянами, татары сжигаютъ замокъ и уводятъ въ неволю жену съ дѣтьми (1851. I. 193); подъ клятвой знаменитаго проповѣдника Скарги, старыя ворота упадаютъ на карету, въ которой ѣдетъ измѣнникъ, сынъ почтеннаго Шелиги, и падая, «они исполнили долгъ свой» (1856. III. 1—71).

Конечно, уже самое введеніе въ дѣло своего рода механики (*deus ex machina*), для разрѣшенія нравственныхъ задачъ, свидѣтельствуетъ о нѣкоторой дѣтскости мысли, слишкомъ неглубокой, какъ и о нѣкоторомъ недостаткѣ вкуса въ самомъ выборѣ сюжетовъ. Но это еще не все. Разъ взявъ себѣ задачею какое-нибудь народно-нравственное сказаніе, Кондратовичъ исчерпываетъ его до самой мути, находящейся на днѣ, до предразсудка, до преувеличеннаго вѣрованія въ такія напр. вещи, что преступленіе пятнаетъ и заражаетъ собой предметы не-

одушевленные, такъ что и тотъ, кто ихъ коснется невиннымъ образомъ, самъ заражается падшимъ на нихъ проклятіемъ. Такъ, когда нѣкій графъ отнялъ землю у чиншевииковъ шляхетскаго имѣнія (застѣнка), то застѣнокъ Подкова обратился въ заколдованное урочище: «Бѣда скоту, что тамъ травы сорветъ, и горе человѣку, если тамъ зачерпнетъ воды. Тотъ, кто ошибкой забредетъ въ глушь эту, заплатитъ жизнью или здоровьемъ свою неосторожность (1850. I. 143—167)». Авторъ объясняетъ въ предисловіи, что содержаніе «Застѣнка Подковы» онъ заимствовалъ изъ слышаннаго имъ мѣстнаго преданія (I. 143). Но самое это понятіе о вещи, носящей на себѣ проклятіе, должно быть, сильно срослось съ его воображеніемъ, такъ какъ поэтъ возвратился къ нему, передѣлалъ его и воспроизвелъ въ другой поэмѣ, «Кусокъ хлѣба» (1854. Вильно. II. 115—152), принадлежащей къ числу наиболѣе душевно написанныхъ и признаваемой Крашевскимъ за образецъ мастерства (94). «Когда въ Литвѣ зайдешь ты въ первую деревню, людъ Божій покажетъ тебѣ такой хлѣбъ, что спорится, и такой, что не спорится. Въ одномъ изъ нихъ навѣрное есть плевелы или людская обида, или слезы сиротскія. Такого хлѣба, когда его признаешь самъ въ городѣ, не покупай и не давай сосѣдамъ, не ѣшь его ни въ праздникъ, ни въ будній день: то—хлѣбъ съ проклятьемъ, адомъ вѣтъ отъ него, въ томъ хлѣбѣ гнѣзятся духи нечистые..... Горсть этого зерна брось на плоть и плоть навѣрное поидетъ подъ воду.....» Въ другомъ мѣстѣ мы отдадимъ справедливость тѣмъ красивымъ узорамъ, какіе поэтъ вышивалъ на такой канвѣ, но не можемъ не признать, что самая канва грубовата. Онъ бралъ ее непосредственно отъ народа, а у народа она составляетъ практическую сторону религіознаго вѣрованія.

Весьма вѣроятно, что еслибы Кондратовичъ ограничился воспѣваніемъ церковныхъ обрядовъ, то имя его не сдѣлалось бы столь извѣстно и вліяніе его не имѣло бы значенія. Наше время никто не назоветъ религіознымъ,

религія принадлежитъ уже къ тѣмъ элементамъ, которые заняты самообороною, мѣсто ея занимаемое въ жизни, какъ единичныхъ людей, такъ и общества, скорѣе уменьшается, нежели идетъ въ ширину, а участіе ея въ прогрессирующемъ воспитаніи общества все болѣе слабѣетъ. Но во время Сырокомли, среди цѣлей, какія себѣ ставила польская литература, быть можетъ главною было—стремленіе къ созданію великаго народнаго эпоса. Въ эту-то сторону обращались преимущественно и усилія Кондратовича. Онъ мечталъ о лаврѣ историческаго поэта Литвы и Польши, и въ произведеніяхъ своихъ, относящихся къ этому роду, онъ полагалъ главные свои заслуги. Лишь позднѣйшее время показало ошибку, какъ самого поэта, такъ и его современниковъ. Ни апотеоза прошедшаго не могла принести тѣхъ плодовъ, какіе отъ нея ожидались, ни историческія произведенія Кондратовича не могли считаться лучшими, наиболѣе удавшимися. Его почти исключительное пристрастіе къ нимъ втеченіи извѣстнаго періода было скорѣе ошибкою въ призваніи. Дабы оцѣнить причины такихъ неуспѣховъ, мы должны возвратиться къ прерванному разсказу о его молодости и ходѣ его умственнаго развитія.

### III.

Въ обществѣ культурномъ и жившемъ жизнью историческою, всегда накапливается немалое количество матеріала эпическаго, но лежитъ онъ въ скрытомъ состояніи. Онъ выдѣляется, какъ и пары въ атмосферѣ сгущаются и обращаются въ дождь или снѣгъ—при особыхъ условіяхъ. Подобное выдѣленіе оказывается обильнымъ преимущественно вслѣдъ за великими катастрофами, послѣ большихъ перемѣнъ, а особенно—политическихъ разгромовъ, когда внезапно становятся лицомъ къ лицу двѣ взаимно-враждебныя цивилизаціи, какъ будто два воз-

душныхъ теченія разной температуры, и когда вдругъ происходитъ смѣна всего, что окружало человѣка...

Послѣ такой метаморфозы, всѣ упавшія и погребенныя особенности прежняго быта еще сохраняются въ памяти и обращаются въ пищу жадно ухватывающей ихъ поэзіи, которая и занимается преимущественно раздумьемъ надъ мельчайшими чертами прежняго историческаго строя и быта. Она съ любовью останавливается надъ воспоминаніемъ о томъ, какъ люди сеймиковали и упивались, какіе вели процессы и затѣвали драки, о томъ даже— какъ они одѣвались нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ или еще давнѣе. Современники юности Сырокомли находились именно въ подобномъ плачевномъ положеніи, по распаденіи польской республики, какъ рыбы выброшенныя на берегъ, но съ той разницею, что внесенныя въ несвойственную себѣ стихію животныя умираютъ, а люди живутъ и плодятся—и въ чуждой имъ общественной средѣ, пока не приспособятся, въ третьемъ или четвертомъ поколѣніи, къ новымъ внѣшнимъ условіямъ жизни. Между моментомъ паденія прежняго порядка и той порой, когда общество успѣваетъ освоиться съ новыми, окружающими его условіями, тянется періодъ переходный, болѣе или менѣе продолжительный. Продолжительность же его зависитъ въ весьма значительной степени отъ того, какимъ образомъ къ тому же обществу относится самая та среда, съ которою его связали событія, именно, требуетъ ли она отъ людей, чтобы прежде всего, они забыли свое прошедшее и затѣмъ старались приспособиться къ новому порядку вещей, или же, наоборотъ, старается облегчить имъ сперва такое приспособленіе, приче́мъ не исключается надежда, что они, вслѣдствіе того, сами забудутъ о временахъ минувшихъ.

У Сырокомли есть одно прекрасное мѣсто («Сеймъ Люблинскій». III. 301. 1857 г.), въ которомъ рельефно указано на трудности, представляющіяся при сліянніи: «Племя, народъ-ли, всякъ языкъ особые нравы ведетъ отъ отцовъ, иные законы сборной жизни имѣетъ, по сво-

ему бьется въ немъ сердце. Многого-многого нужно при сліяніи двухъ отдѣльныхъ племенъ, чтобы сравнялся обычай, чтобы сердца стали бить однимъ тактомъ! Лишь потомъ, когда, встрѣтаясь съ собой, воды текуція изъ двухъ руслъ ударятся вмѣстѣ о камни, и сольются въ борьбѣ и побѣдѣ, лишь тогда двѣ рѣки соберутся въ союзномъ теченіи. Только прожитая вмѣстѣ доля и недоля соединяють два разныхъ племени».

Переходный періодъ имѣетъ свои особенныя черты. Тѣ люди, которые его на себѣ не испытали, живутъ болѣе въ настоящемъ и въ ближайшемъ будущемъ, мысль ихъ занята цѣлями практическими и безъ особаго умственнаго напряженія эти люди не могутъ даже сознавать, какъ прочно въ нихъ самихъ еще сидитъ человѣкъ прежній, мало, да и то скорѣе по внѣшности, отличный отъ современнаго. Наоборотъ, для человѣка, находящагося въ періодѣ переходномъ, все окружающее представляется чужимъ, а потому онъ и не забываетъ ни на минуту своего сходства съ прежнимъ первообразомъ, видя всю разницу съ нимъ лишь въ отсутствіи благоприятной среды, въ неимѣніи соотвѣтственнаго поля для дѣйствія и для примѣненія своихъ способностей. Конечно, со временемъ, приобрѣтаются новыя навыки и свойства, заступающіе мѣсто прежнихъ. Но прежде, чѣмъ такая перемѣна совершится, новыя привычки еще незамѣтны, и самый переходъ отъ стараго къ новому представляется сознанію какъ постепенный отплывъ силы, какъ вырожденіе и измельчаніе—откуда истекаетъ чувство скорбное, а съ нимъ вмѣстѣ—и особливая привязанность къ воспоминаніямъ и остаткамъ старины.

Пѣсня, какъ вѣюнокъ, оплетаетъ руины, воображеніе приростаётъ къ старымъ развалинамъ и пепелищамъ, отыскивая въ нихъ укрытыхъ сокровищъ. Это общее настроеніе, которое у насъ, въ польской литературѣ, произвело «Пана Тадеуша», рапсоды и бесѣды Поля, рассказы и повѣсти Г. Ржевускаго, романы Качковскаго и безконечное число литературныхъ вещей меньшаго

значенія, само, у источника своего, сливалось съ господствовавшимъ въ западно европейскихъ литературахъ теченіемъ, съ романтизмомъ, съ возвратомъ къ среднимъ вѣкамъ, съ вальтер-скотизмомъ. Выразилось же оно во множествѣ различныхъ оттѣнковъ, начиная отъ титанической борьбы съ судьбой, за какую брались духи великіе и пламенные, сродные Байрону, и отъ мистическаго порыва крыльевъ къ Богу—въ надеждѣ чуда,—и кончая такими поэтическими опытами, которые имѣли цѣли исключительно-художественныя, не заботясь о дальнѣйшихъ, практическихъ результатахъ.

Внѣшнія обстоятельства продляли непомѣрно дѣйствіе этого мечтательства, обращеннаго назадъ, продляли тѣмъ, что воздвигали неодолимыя преграды наступленію времени лучшаго. Жизнь общественная была слаба, возможности коллективной работы не было почти вовсе—даже хотя бы на полѣ промышленности; хозяйство-же было главнымъ образомъ сельское и велось оно, притомъ, посредствомъ барщины. Дворянинъ — помѣщикъ, при такихъ условіяхъ, и при возраставшей конкуренціи, измѣнялся и превращался въ вооруженнаго бичемъ плантатора. При отсутствіи дѣятельности сборной, оставалась только единичная; прежнюю общественную службу, къ какой вѣками привыкло цѣлое сословіе, можно было продолжать лишь въ одиночку, да и то — развѣ на полѣ литературномъ, Кондратовичъ уже вступилъ на это поле и вотъ какъ онъ выражаетъ эту мысль въ заключеніи «Застѣнка Подковы» (1850 г.), откуда мелкая шляхта, привыкшая прежде къ бою и сеймикованію, пошла по-міру, утративъ землю. Проѣзжіи говорятъ шляхтичу, обратившемуся въ нищаго: «не кручинься, старичокъ; вы еще потребуетесь на свѣтѣ, правда, уже не на сеймикъ, съ саблей у бока, но—съ головой на плечахъ, съ перомъ въ рукѣ. Свѣтъ это—поле широкое, и хлѣба на немъ на всѣхъ хватить; только учиться надо и надо—работать».

Такъ, и самъ Кондратовичъ вступилъ на поле ли-

тературное. Среди стѣсненныхъ условій, литература представляла собой линію наименьшаго сопротивленія, и онъ пошелъ по этой линіи. Его несла впередъ волна общественнаго настроенія, главной чертой котораго была именно влюбленность въ идеализируемое прошедшее. Согласно съ духомъ своей эпохи, Кондратовичъ представлялъ себѣ людей этого прошлаго въ видѣ великановъ ростомъ въ нѣсколько саженой, которые, если бы ожили, то смотрѣли бы на насъ съ сожалѣніемъ и презрѣніемъ (VI. 138), а сами представлялись бы величаво, какъ рыцарская могила среди деревушки бѣдняковъ (III. 136). Посредствомъ разныхъ пріемовъ пытался онъ объяснить это восторженное отношеніе къ давнимъ временамъ, но всѣ основанія, какія онъ приводилъ были слабыя, ребяческія.

«Что ни шагъ—въ Литвѣ событій можно слѣдъ найти:  
Холмъ-ли, гряда-ли развалинъ, крестъ-ли на пути,  
Столбъ, часовня или даже постоянный дворъ,—  
Все здѣсь памятникъ старинный и съ давнишнихъ поръ  
Любопытнаго такъ много о Литвѣ даетъ....»

Поэтъ ставитъ наивный вопросъ—отчего это у насъ не было запорожскихъ бандуристовъ, шотландскихъ бардовъ или греческихъ рапсодовъ? («Демборогъ» I. 67—68).

. . . . . А для струнъ пѣвца  
Что за творческое поле, поле безъ конца—  
Пять кресты, курганы наши и гробы князей  
Отъ Мендоговой эпохи и до нашихъ дней.  
Отъ старинной Кревской башни, гдѣ Кейстутовъ прахъ,  
И до Припети и Щары, гдѣ на берегахъ  
Рядъ крестовъ поутонувшихъ въ глубинѣ рѣчной  
Чудныхъ розсказней по селамъ вызываетъ рой.  
Сколько сладости волшебной есть въ сказаньяхъ тѣхъ!  
Въ нихъ порою скорбь и слезы, а порою смѣхъ.....  
Оживи послушной пѣснью рай минувшихъ дней  
И тайникъ души литовской развернется въ ней!

Само собою разумѣется, что не только крестъ надъ утопленникомъ, но даже кухонные остатки и сваи над-

водныхъ жилищъ — чрезвычайно любопытны, а каменные стрѣлы или черепки отъ горшковъ—изъ того же первобытнаго періода—драгоценнѣе, пожалуй, чѣмъ кирпичи отъ королевскаго замка. Самая мелкая частность получаетъ огромное значеніе, если она повторялась миллионами людей, втеченіи сотенъ лѣтъ и выросла затѣмъ въ фактъ историческій, который относится къ быту общества и представляетъ иногда большій интересъ, чѣмъ смерть героя или перемѣна династіи. Но Кондратовичъ нисколько не заботится объ извлеченіи такихъ бытовыхъ основъ изъ памятниковъ исторіи. Для него всякій памятникъ—только знакъ, вызывающій воспоминаніе объ умершихъ, которые жили и страдали, а все, что люди перечувствовали можетъ быть предметомъ пѣсни. Такимъ образомъ, каждый черепокъ, камушекъ или щепка могутъ быть перекристаллизованы въ алмазъ, и если это не дѣлается, то виной тому—неохота и неспособность пѣвцовъ, которые, еслибы они явились, имѣли бы изъ чего создать у насъ эпосъ, неуступающій эллинскому, или вальтер-скоттовскія баллады и поэмы. Да, собственно говоря, даже и таланта тутъ не требуется, лишь бы именно была охота. «Положите—говорить поэта—подъ микроскопъ души головку бабочки или людское сердце, слезинку что стекла изъ скорбныхъ глазъ, или сорванный съ литовскаго поля цвѣтокъ—и расскажите вы правдиво и точно блескъ каждой краски, каждое содроганіе сердца, движеніе каждое мельчайшаго атома, и пѣсня ладно сложится сама собою («Кусокъ хлѣба» II. 117)».

Но если это такъ, если, помощью приѣма, котораго тайну чародѣй унесъ съ собою въ могилу, возможно извлечь пѣснь изъ каждой травки, изъ глаза мухи и изъ всего, чѣмъ играетъ великая космическая жизнь, то затѣмъ казалось бы, что пепелища и могилы должны уже занимать въ творчествѣ лишь второстепенное мѣсто; что едва ли стоитъ изъ самыхъ лѣтописей вычитывать о всемъ, что перенесли люди умершіе, когда гораздо легче



производить наблюденіе надъ всѣмъ живымъ. Однакоже поэтъ держится иного мнѣнія. Приведемъ мѣсто изъ Маргера (II в.): «Гдѣ ты, святое прошлое земли родной, съ героями твоими и богами, и съ арфами пѣвцовъ, сыновъ твоихъ? Какъ сновидѣніе ты пронеслась надъ свѣтомъ и нынѣ кто сумѣетъ прочитать тебя по старосвѣтской книжкѣ или на древнемъ кирпичѣ? Кто истолкуетъ жизнь ту, замкнутую въ знакѣ, кто правду извлечетъ изъ пересказа басенъ?» Здѣсь задача для поэзіи опредѣлена уже совершенно иначе: прошлое поставлено какъ таинственный сфинексъ на пьедесталѣ, и цѣлью поэта оказывается уже не воскрешеніе дѣлъ единичныхъ людей, пріемомъ анекдотическомъ, но—раскрытіе общаго смысла, замкнутаго въ совокупности народной исторіи, однакоже доступнаго научному, методическому изслѣдованію всей этой совокупности. Между тѣмъ, такая нетвердость, измѣнчивость во взглядахъ Кондратовича на цѣли поэзіи и въ его предпочтеніяхъ, хотя и обнаруживаетъ слабость въ разсужденіи, объясняется весьма просто. Дѣло въ томъ, что пристрастіе къ прошедшему, влюбленность въ это прошедшее являлись у Кондратовича лишь частицей того сильнаго и горячаго чувства, которое охватывало его со всѣхъ сторонъ, господствовало въ душѣ его безраздѣльно, проникало его до мозга костей. Этимъ безграничнымъ чувствомъ была у него любовь къ родному краю, какъ къ необходимой ему стихіи, внѣ которой ему казалось невозможнымъ дышать и существовать.

Въ этой то привязанности для него дѣйствительно, и соединялось все—и травка, и вѣтеръ, и воспоминанія, и обычай. Въ «Ночлегѣ Гетмана» (III. 13 в.) старый Дершнякъ спрашиваетъ Григорья Сулиму: знаешь ли, что такое родина?

... Частью жизни, крови  
Родину святую старики зовутъ,  
За нее дерутся и на смерть идутъ  
Весело... Отчизна! Это—домъ твой, хата,  
Крыша, подъ которой росъ ты, жилъ когда-то.

Пашня—хлѣбъ насущный твой въ голодный годъ,  
Рѣчка, гдѣ ты лѣтомъ плавалъ безъ заботъ,  
Это—очи милой, это другъ сердечный,  
Это наше небо съ долью безконечной,  
Тѣнь родного сада, старый дубъ и кленъ,  
И взовущій въ церковь колокольный звонъ.  
Это—долгъ твой, воля, сила молодая  
И отца родного борода сѣдая....  
Вотъ чтó значить это слово—край родной,  
И въ частицахъ мелкихъ, и въ семьѣ одной!

Еслибы пришлось разложить это многостороннее чувство, то на днѣ его оказались бы первобытныя впечатлѣнія, навѣянные принѣманской природой. «Я тѣ дуга по аромату знаю и воду ту отгадаю по вкусу, не обманетъ меня пѣніе птицъ иныхъ, по шуму я узнаю лѣсъ принѣманскій, и легкими своими различу я вѣтеръ съ мѣстъ родныхъ («Кусокъ хлѣба» II 130)». Авторъ самъ открываетъ намъ способъ зарожденія своихъ представлений и первоначальное ихъ сцѣпленіе, оставшееся затѣмъ навсегда: «по вкусу хлѣба этого и запаху, я чувствую вдаль, надъ Нѣманомъ полянку боровую, даже каплицу вижу тамъ на ней, соломой крытую и колокольчикъ слышу, чтó звенить вверху (II 130)».

Къ впечатлѣніямъ семейства физическаго, прибываютъ, какъ новыя колѣнца на стеблѣ, представленія деревни, праздника, корчмы, школы, крестьянскаго скуднаго добра и шляхетскаго стѣсненнаго быта; наконецъ,росло и третье колѣнцо, выше памяти о полѣ и деревнѣ—сказки, народныя преданія и повѣрья, анекдоты, воспоминанія связанныя съ крестомъ на дорогѣ, съ развалинами старой башни, съ такимъ-то домомъ или костеломъ, и представленія, сросшіяся съ этими предметами. А такъ какъ самую эпоху отличало общее стремленіе къ собиранію возбуждающихъ воспоминанія вещей и къ сложенію изъ нихъ народнаго эпоса, то Кондратовичъ и принялся съ увлеченіемъ за это народное дѣло. Но, чтобы быть въ состояніи совершить его, кромѣ врожденнаго таланта, необходимо еще и знаніе, а его-то Сырокомля

и не имѣлъ, такъ какъ былъ самоучкой, образовалъ себя самъ, способомъ оригинальнымъ и страннымъ, какъ нынѣ никто не учится.

#### IV.

Когда состоявшія при монастыряхъ школы были закрыты, Кондратовича отдали въ уѣздное училище въ Новогрудкѣ; отсюда, окончивъ пятый и послѣдній классъ, 15-ти лѣтній мальчикъ былъ обращенъ отцомъ къ хозяйственнымъ занятіямъ, къ которымъ оказался совершенно неспособенъ; природа влекла его къ книжкѣ, какъ волка въ лѣсъ. Тогда отецъ, мелкій радзивилловскій арендаторъ, отдалъ Людовика, осенью 1847 г., въ главную контору радзивилловскихъ имѣній, помѣщавшуюся въ развалинахъ несвижскаго замка. Кондратовичу было уже 19 лѣтъ; робкій и неловкій, пришелъ онъ съ отцемъ, старосвѣтскимъ шляхтичемъ, въ княжеское управленіе и, глядя на отца, повторялъ его поклоны и жесты. Съ канцелярской работой юноша вскорѣ освоился. Веселаго нрава, способный, остроумный, сыпавшій стихами, Кондратовичъ понравился товарищамъ, старшіе изъ нихъ: Добровольскій, Рихтеръ, Контковскій, открывъ въ молодомъ человѣкѣ большія дарованія, старались склонить его къ болѣе серьезнымъ занятіямъ. Легко дававшіеся стишки не имѣли цѣнности, такъ же, какъ и пародіи, переложенія и подражанія сонетамъ крымскимъ Мицкевича въ «сонетахъ несвижскихъ» (VI 135—159). Вскорѣ пришла и любовь, къ которой поэтъ былъ склоненъ еще съ первыхъ юношескихъ годовъ. Глазки 16-ти лѣтней Паулины Митрашевской покорили сердце немногимъ старше ея Кондратовича. Недолго думая, молодые люди повѣнчались, не имѣя ничего за душой, а такъ какъ надо было подумать о ихъ будущемъ, то отецъ уступилъ имъ аренду подъ Миромъ, въ Залучьи надъ Нѣманомъ. Впрочемъ, женитьба не оправдала мечтаній поэта; жена

его была женщина добрая, но простая и прозаичная, не подходившая къ идеалу; дѣтей же родилось пятеро.

Казалось бы, что женившись и похороня себя въ глуши, Кондратовичъ закрылъ предъ собой всякую будущность. Между тѣмъ, вышло иначе: въ этомъ уединеніи, работая надъ своимъ образованіемъ, поэтъ втеченіи девятилѣтія (1844—1853) значительно развился; уединеніе «учительница великихъ людей (Мицкевичъ)» послужило ему въ пользу. Войдемъ въ тотъ старый домъ, съ кривыми, влѣзшими въ землю стѣнами, съ крышей, покрытой цвѣтущимъ мхомъ («О старомъ моемъ домѣ» VI 177—182. Въ Залучѣ. 1847 г.): двѣ горницы—одна для семьи, другая, кирпичнаго цвѣта, составляла для поэта цѣлый университетъ; тутъ находились столъ съ бумагами—«тронъ силы» и шкафъ съ книгами («гибель моя и мое счастье»). Здѣсь-то, вглядываясь въ каминъ или въ нитки паутины, сноваль Кондратовичъ и свои мысленныя нити, также «легкія и слабыя, какъ паутина». Тѣ книжки, изъ коихъ онъ добывалъ свою умственную пищу были старыя, заброшенныя, никѣмъ въ то время уже не читавшіяся; ключъ къ нимъ дало ему пріобрѣтенное у доминикановъ основательное знаніе латинскаго языка. Въ ряду этихъ «покойныхъ» книгъ, первое мѣсто занимали польскіе и польско-латинскіе поэты XVI и XVII вѣковъ. Усидчивымъ трудомъ—перевода великихъ мастеровъ золотаго вѣка Сигизмундовъ, Ягеллоновъ: Кохановскаго, Клѣновича, Сарбѣвскаго—Кондратовичъ какъ бы воспринялъ крещеніе въ духъ европейскаго Возрожденія, изошрилъ на немъ и на нѣкоторомъ знакомствѣ съ классической древностью свой вкусъ и выработалъ языкъ, которымъ впослѣдствіи владѣлъ мастерски, хотя до самаго конца не могъ отдѣлаться отъ нѣкоторыхъ провинціализмовъ и даже руссизмовъ. Переводилъ онъ не только поэтовъ, но и сухихъ историковъ; разбиралъ старыхъ, просматривалъ и новыхъ, затверживалъ, подаренную ему при свадьбѣ, исторію литературы Вишневскаго, которую цѣнилъ какъ величайшее сокровище (Крашевскій 15); собиралъ кое-

какія археологіческія свѣдѣнія, изъ которыхъ въ послѣдствіи произошли его «Поѣздки» и собирався самъ написать исторію польской литературы. Само собою разумѣется, что при такихъ условіяхъ, въ какихъ онъ работалъ эта исторія могла быть только компиляціею, украшенною немногими самостоятельными чертами, какія можетъ прибавить каждое изученіе наново извѣстныхъ и приведенныхъ уже въ систему подлинниковъ.

Недостаточность такого образованія очевидна. Будучи совершенно неметодичнымъ, оно шло навыворотъ: не отъ общихъ, принятыхъ въ даніе время началъ—къ частностямъ, но отъ мельчайшихъ подробностей—къ общимъ началамъ, которыя Кондратовичъ долженъ былъ угадывать и порою дополнять. Въ сороковыхъ годахъ господствовала въ преподаваніи нѣмецкая метафизика, перенесенная на нашу почву Трентовскимъ, Кремеромъ, Либельтомъ. Каждому изъ насъ вкладывали въ ротъ разжеванную, готовую исторіософическую систему, въ которой исторія начиналась не такъ какъ теперь—отъ праотцовъ каменнаго вѣка, но всетаки издалека—отъ Индіи и Китая, и выражала собой рядъ эволюцій въ три темпа — «абсолютнаго духа», оканчивавшійся на культурѣ германской—вѣнцѣ мірозданія. Намъ хотѣлось немногаго: только прибавить къ разыграннымъ эволюціямъ еще одну, новую, которая бы представлялась въ будущемъ—народами славянскими. Хорошо теперь смѣяться надъ «абсолютнымъ духомъ», надъ фатализмомъ *des Werden's*, надъ искусственной группировкой фактовъ исторіи, надъ соединеніемъ ихъ въ тройки тезъ, антитезъ и синтезъ. Польза однако отъ этой исторіософіи была въ свое время большая, такъ какъ система эта соединяла огромный запасъ свѣдѣній, сгруппированныхъ съ такой точностью, что отсюда явствовало основное единство всемірной исторіи, и теченіе жизни каждаго народа представлялось ясно отъ начала до конца, какъ ходъ развитія сборнаго организма, который принадлежалъ къ еще большому цѣлому.

Исторіософія давала возможность сразу оріентироваться въ громадной совокупности фактовъ, она открывала въ этомъ лѣсу далекія просѣки, ставила путевые столбы, а историческому поэту давала готовый фонъ для его картинъ. Такъ какъ надо было предполагать, что духъ народа и вѣка, однажды опредѣленный этою исторіософіею, извѣстенъ всѣмъ, то поэту было позволительно прямо вводить дѣйствующія лица, ограничась немногими вступительными чертами. Но Кондратовичъ не проходилъ этой школы, а усердное собираніе по крупинамъ мелкихъ историческихъ подробностей въ ближайшей окружности могло дать ему развѣ значеніе уѣзднаго археолога—какимъ онъ представляется въ своихъ «Поѣздкахъ»—или компилятора—какимъ онъ является въ своей «Исторіи литературы». Взявшись за историческую поэму, Кондратовичъ признавалъ необходимымъ сперва загрузнтовать фонъ картины, описать подробно эпоху; но такъ какъ историческія его свѣденія были среднія, такъ какъ онъ зналъ только то, что вычиталъ въ трудахъ позднѣйшихъ, или то, что во всякомъ случаѣ, уже послужило матеріаломъ для такихъ работъ, а стало быть было уже извѣстно, то и его описанія эпохъ, занимающія иногда цѣлыя страницы, представляютъ, по большей части, только реторику, то есть украшенное изложеніе истинъ весьма извѣстныхъ, являются картинной и остроумной, но совѣмъ излишней ихъ перифразой.

Приводимъ нѣсколько примѣровъ въ доказательство предшествоващаго положенія. Въ «Янеѣ Могильникѣ» — поэмѣ написанной въ 1856 г., т. е. въ лучшую эпоху, Кондратовичу пришлось дать характеристику близкаго, хорошо извѣстнаго Наполеоновскаго времени. Спрашивается, развѣ не чистѣйшая реторика—все то мѣсто, гдѣ «диктаторъ галловъ» представляется какъ творящій самъ великую историческую поэму: «отдѣлы войскъ — его слова, вооруженные ряды — огненные его фразы. Тактъ сердца его — громъ орудій, а хартіей ему — полсвѣта. И слово каждое, и каждый оборотъ кипѣли

такъ, какъ мысль художника, горѣли огнемъ человѣческой мысли (III 87)»... И между тѣмъ, «то былъ обычный путь, которымъ идетъ титанъ, чтобы стать полубогомъ». Если бы здѣсь не была вставлена фраза «диктаторъ галловъ» и нѣсколько географическихъ терминовъ какъ-то о переходѣ Альповъ и Пиренеевъ, о пирамидахъ и т. д. то можно было бы теряться въ догадкахъ, котораго собственно изъ завоевателей новыхъ временъ (такъ какъ упоминается артиллерія) должно изображать это описаніе, оканчивающееся моралью во вкусѣ пропо-вѣдей: «и пѣснь великая огня, крови и дѣлъ, мыслью не вышла за предѣлы толпы» — потому что была внушена гордостью, а гордость не можетъ создать вещей, отмѣченныхъ божественной искрою, все равно «беретъ-ли словесныя болѣе блѣдныя краски, или картечью разрываетъ воздухъ».

Можно проклинать геній за то, что дѣла его были не — благотворныя, не — божескія, но произносить такое сужденіе, что мысль генія не вышла за предѣлы толпы, значитъ — противорѣчить собственному признанію за тѣмъ же лицомъ характера геніальности и титаничности.

Обратимся къ прошедшему болѣе отдаленному, къ XVI вѣку, который Кондратовичу такъ нравился и былъ ему лучше другихъ извѣстенъ. Въ «Стеллѣ Форнаринѣ» есть длинное описаніе, которое должно служить характеристикой эпохи Возрожденія (IV 4—9), но состоятъ изъ общихъ мѣстъ или изъ понятій ошибочныхъ, ни мало несоотвѣтствующихъ тому преклоненію предъ нагимъ человѣческимъ тѣломъ, тому языческому взгляду на природу, наконецъ тому какъ-бы захвату религіи искусствомъ, противъ котораго, какъ противъ кощунства, заявила свой горячій и мрачный протестъ Реформація. У Кондратовича же, послѣ рутиннаго изображенія сперва господства римскихъ цезарей, затѣмъ — рыбака ладьи Петровой, оказывается, что чудеса и отлученія, перо философовъ и талантъ художниковъ были провиденціальными ору-

діями господства церкви: «свѣтъ засіялъ надъ камнемъ Петровымъ и народились міру геніи искусства».

При такомъ фальшивомъ усвоеніи всему искусству эпохи Возрожденія—характера церковнаго, между тѣмъ, какъ искусство это весьма мало религіозно, даже въ самомъ Рафаэлѣ, и самые предметы изъ сферы церковной изображаетъ не въ религіозномъ духѣ, — всѣ великіе мастера должны оказаться похожими другъ на друга. Леонардо и Рафаэль, Луини и Буонаротти, точно такъ, какъ Фра-Анжелико, становятся воплощеніями божескаго духа, въ предѣлахъ ученія Церкви, и во славу ея. «Изрекъ духъ божій—и въ міръ явился Рафаэль Урбинскій». Но такимъ образомъ изъ характеристики улетучивается духъ Возрожденія, и остаются въ ней одни риторическія фразы безъ внутренняго значенія.

Если Кондратовичу не удалась картина Возрожденія, то оцѣнка Реформации у него вышла крайне поверхностная («Перемышльскій каноникъ». 1851 г. I. 211, 238). Реформация у него объясняется своеволіемъ дворянства — ставъ наравнѣ съ королевской властью, дворянство не церемонится и съ властью божеской—и съ фанатизмомъ женеvскихъ и виттембергскихъ проповѣдниковъ, гласящихъ, что они восприняли всю премудрость Божію. Отъ Лютера и великихъ отступниковъ поэтъ отдѣляется слишкомъ легкимъ способомъ, какъ патеры въ проповѣди: «черту любви святой они стерли въ себѣ, и не ея бальзамъ, но жолчь имѣютъ въ сердцѣ, и на устахъ ихъ брань, и гордость на челѣ». Общими мѣстами въ этомъ родѣ исполнены всѣ произведенія Кондратовича, имѣющія претензію на значеніе историческихъ. Есть въ числѣ ихъ и такія, которымъ нельзя сдѣлать иного упрека, кромѣ того, что они—совершенно излишни. Это—тѣ, въ которыхъ преподается, на нѣсколькихъ страницахъ, просто риетованная лекція изъ исторіи, съ одной стороны вовсе не нужная по ходу разсказа, а съ другой недающая ровно ничего болѣе, чѣмъ любой учебникъ («Селеніе Любранецъ». I. 202; въ этомъ стихотвореніи,



строфа XI о Болеславѣ Кривоустомѣ, какъ будто прямо взята изъ «Историческихъ пѣсенъ» Нѣмцевича). Картины Польши при Пястахъ въ «Послѣднемъ изъ Топорчиковъ (III 125)» и Запорожье—въ эпилогѣ «Ночлега Гетмана (III. 180)» неприятно дѣйствуютъ своей банальностью. Скарга, время Яна—Казимира въ «Старыхъ Воротахъ (III 57, 59)», соперничество Лещинскаго и Августа III—въ «Старостѣ Копаницкомъ (III, 47)» представлены растянута, скучно, безвкусно. Въ самомъ «Маргерѣ», несмотря на старательную обработку стиля, собственно историческій фонъ сдѣланъ сѣро, потому что неоставало живости самымъ идеямъ. Положимъ, Янъ изъ Мельштина, посолъ Казимира Великаго; дѣйствительно былъ отпущенъ ни съ чѣмъ изъ Мариенбурга, это—знаменательный фактъ въ исторіи Длугоша и въ событіяхъ польской дипломатіи. Но когда поэтъ посвящаетъ цѣлую пѣснь на описаніе одного церемоньяла при отпускѣ этого посла, то въ читателѣ, при наилучшихъ намѣреніяхъ, она не возбуждаетъ интереса, какъ его не заняло бы переложеніе въ стихи вѣнскаго трактата, лайбахскаго или парижскаго конгресса.

Возьмемъ изъ этой пѣсни двѣнадцать плавныхъ и гладкихъ стиховъ: «Покинувъ стражу предъ Господнимъ гробомъ, разсѣлся инокъ на княжѣй столицѣ, и мечъ испробовавъ въ благочестивой службѣ, сталъ нынѣ хищникомъ чужихъ владѣній. Онъ надъ сосѣднею Литвой, надъ Прусомъ и надъ Ляхомъ, съ угрозой держитъ мечъ, увѣнчанный крестомъ. Всѣ силы алчности, гордыни непреклонной гнѣзятся въ сердцѣ богача—монаха. Тотъ, кто принялъ покорности обѣтъ—теперь могуществомъ царей превыситъ хочетъ; чудовищную грудь вздымаетъ высоко лишь жажда власти, золота и наслажденья».... Стихи Кондратовича звучны и легки, но если этотъ образъ разложить на единичныя черты, то не получится ни одной, которая бы не была зауряднымъ «общимъ мѣстомъ», такъ что въ сравненіи съ этой тканью изъ позаимствованныхъ нитей, красивѣе представляется про-

заическая иллюстрація Шайнохи, гораздо лучше даже рассказъ Длугоша, а нечего уже и упоминать о «Валленродѣ», изъ котораго Кондратовичъ позаимствовалъ всѣ краски, нужныя ему для «Маргера».

Вообще рассказы и описанія у Кондратовича приторны, но еще приторнѣе тѣ правоученія, какими они сопровождаются. Онъ считалъ обязанностью не только очерчивать фізіономію вѣка, но еще истолковывать историческія событія, и не только истолковывать, но какъ бы раскусывать ихъ и подавать читателю заключающійся внутри ихъ нравственный смыслъ въ родѣ поученія для потомства. Конечно, такая задача, если она исполняется надлежащимъ образомъ, можетъ имѣть высокое значеніе. Но для этого, самая точка зрѣнія на событія должна быть взята гораздо выше; сверхъ того, здѣсь необходимо обширное знаніе, знакомство съ законами роста и упадка общества, съ тѣмъ, что на языкѣ нынѣшняго позитивизма называется статическими условіями быта, отъ которыхъ зависитъ дѣятельность всѣхъ членовъ организма и самая его прочность. Если смотрѣть съ высоты научной, то въ событіяхъ наиболѣе рельефно выступаютъ самыя массы, а не единичныя личности; вліяніе этихъ единицъ, съ ихъ добрыми и злыми намѣреніями, представляется тогда мелкимъ, незначительнымъ; въ усиліяхъ, совершаемыхъ массами проглядываютъ иныя, неизмѣнныя причины дѣйствія, всегда производящія сходные результаты, причины, кроющіяся въ самыхъ организмахъ и болѣе глубокія, чѣмъ свободная воля отдѣльныхъ личностей или сословій, и хотя бы даже самыхъ племенъ и народовъ.

Когда тѣ условія, которыя произвели извѣстное зло выказаны, то роль какъ науки, такъ и поэзіи, которая пользуется наукою, уже окончена. Остальное дополнить читатель, и самъ же извлечетъ нравственный смыслъ изъ того, что случилось, самъ сознаетъ этотъ смыслъ такъ ясно, что можетъ даже пожертвовать жизнью на защиту коренныхъ условій быта своего народа или при-

ложить всё усилія къ тому, чтобы ослабить дѣйствіе тѣхъ причинъ, которыя угрожаютъ разложеніемъ организма. Когда задача историческаго изслѣдованія поставлена такимъ образомъ, то анализъ личной вины того или другаго дѣятеля является уже дѣломъ второстепеннымъ, нужнымъ только въ смыслѣ представленія иллюстрированныхъ примѣровъ въ подтвержденіе основныхъ тезъ изслѣдованія. Кондратовичъ смотрѣлъ на дѣло совершенно иначе; онъ даже не догадывался, что рядомъ съ вопросами общественной динамики, представляются и прежде всего требуютъ разрѣшенія вопросы статистики, что главные недостатки заключались не въ тѣхъ или другихъ функціяхъ общественныхъ органовъ, но въ самомъ составѣ общества. Онъ не сознавалъ, что іезуиты не могли не преслѣдовать Ацерна (II. 234), что лехитъ не могъ, при данныхъ условіяхъ быта, не остаться самовольнымъ, магнаты не могли не спекулировать староствами, а нисшее дворянство не предаваться разгулу и колебать имъ все (Г. 54); что польскій сеймъ въ половинѣ XVIII вѣка не могъ быть инымъ, какъ именно бурнымъ и слѣпымъ; самымъ естественнымъ и роковымъ образомъ происходило, что «сенаторъ деньги копилъ въ сундукѣ, монахъ сталъ гордъ, разбогатѣвъ безъ мѣры, а шляхтичъ на подати гроша не давалъ».

Въ простотѣ своей души, Кондратовичъ вѣритъ, какъ, впрочемъ вѣрили и его предшественники, начиная отъ Кохановскаго, что главной бѣдой было размягченіе нравовъ: «сарматъ сошелъ съ пути предковъ (I. 54). Въ чистой любви и въ вѣрѣ горячей скрывалась тайна дѣлъ могучихъ; не по плечу мы тѣмъ людямъ великимъ, что Богу давали всю вѣру, а родинѣ всю любовь (III. 188)». Согласно съ такой душевной простотой, Кондратовичъ все содержаніе исторіи видитъ въ ошибкахъ и винахъ единичныхъ сословій, вѣковъ и поколѣній, заключая по-богословски отъ ихъ прегрѣшеній къ объясненію бича Божьяго, казнящаго народы (I. 53). Гораздо яснѣе однако, чѣмъ въ своихъ историческихъ

поэмахъ, Кондратовичъ выразилъ свое пониманіе польской исторіи въ одномъ изъ красивыхъ по формѣ, произведеній, носящемъ заглавіе «Старопольскія рораты» (1858 г. Вильно <sup>1)</sup>). На алтарѣ стоитъ семираменный свѣтильникъ; представитель каждаго звена польскаго государства или республики: король, примасъ, сенаторъ, землевладѣлецъ, воинъ, мѣщанинъ и крестьянинъ, по очереди, зажигаетъ на томъ свѣтильникѣ свѣчу, представляющую основную добродѣтель соотвѣтствующаго положенія или сословія (status) <sup>2)</sup>. Когда нравы въ республикѣ испортились, свѣтильникъ покрылся ржавчиной и положеніе всѣхъ сословій измѣнилось: «на руки королей крѣпкія вложены узы, угасло въ пастыряхъ усердіе святое, сенаторы «братъевъ» поятъ, а дворянство думаетъ только о конфедераціяхъ. Воинъ сталъ притѣснять тѣхъ, кого защищалъ, купца разорила лихва, крестьянинъ захудалъ, ставъ рабомъ господскаго двора; и вотъ труба ангела позвала всѣхъ на судъ Божій». По отдѣлкѣ «Старопольскія рораты» похожи на отшлифованный камень, хотя—камень не особенной цѣнности.

Приведемъ еще мѣсто въ томъ же родѣ изъ «Старыхъ воротъ» (Борейковщина, 1856 г., III. 47), гдѣ говорится, что тягчайшимъ грѣхомъ прошедшаго была «свобода», но свобода дурная, а не та, законная, какая дана Богомъ «и мысли человѣка, и небесной птицѣ». Эта, здравая свобода хорошо сознаетъ, что «если она путь начертанный хоть на атомъ нарушить, то вмѣсто счастья, которое утверждено на ней, она несетъ конецъ ужасный міру». Возраженіе наше противъ этого мѣста вызывается не основной его мыслью, которая заключаетъ лишь обыденную мораль, что злоупотребленіе свободой

---

<sup>1)</sup> «Roratae» — спеціальныя мессы въ декабрѣ предъ Рождествомъ (Adventus), начинающіяся псалмомъ «Rorate».

<sup>2)</sup> Какъ латинское слово status обозначаетъ и то, и другое, такъ и польское слово «stan». Поэтому при перечисленіи государственныхъ сословій (stanów), включались король и примасъ.

вредно, но странной путаницей во первыхъ въ сдѣланномъ сравненіи понятій о свободѣ человѣческой мысли, которая можетъ и должна быть неограниченна, и о свободѣ пташки небесной. Приводить такое сравненіе въ назиданіе человѣку совсѣмъ неумѣстно. Во вторыхъ, если сравненіе относится къ свободѣ человѣческихъ дѣйствій, которая становится вредна, когда выходитъ за опредѣленный кругъ, то сравненіе невѣрно, потому что люди, нарушая, такимъ образомъ, справедливость или вреда общей пользѣ, обыкновенно не сознаютъ при этомъ, что переступаютъ границу естественныхъ своихъ правъ, такъ что нарушеніе чаще является логической ошибкой, чѣмъ нарушеніемъ нравственнаго начала.

Высказавъ наше мнѣніе, что Кондратовичъ, вслѣдствіе недостатка высшаго образованія, былъ неспособенъ исполнять призваніе историческаго поэта, что историческая поэзія его не возносится высоко и часто падаетъ, въ своихъ усиліяхъ справляться съ великими вопросами исторіи, отдадимъ однако справедливость поэту, признаемъ его заслуги и на этомъ полѣ. Однимъ изъ главныхъ достоинствъ его представляется то обстоятельство, что онъ смотрѣлъ на факты трезво, никогда не поддавался господствовавшему въ то время въ польской поэзіи «мессіанизму», не старался выставить святымъ то, что было несомнѣнно—грѣховно. Напротивъ, онъ прямо высказалъ, что: «только орудіемъ Бога служатъ хищные вороны, стаяй слетаясь на мертвое тѣло. Не они повинны въ смерти твоей, не чужая рука гибель царствамъ приносить, но лишь вины народовъ» («Старыя ворота III. 58»). Правда, авторъ, какъ бы убоясь смѣлости своей мысли, считаетъ обязанностью объясниться и извиниться: «о прошлая жизнь, ты наставница наша!... Пусть то не будетъ святотатствомъ предъ тобой, если взирая издали на мать нашу, мы на лицѣ ея усмотримъ недостатки». Разсмотрѣніе сатирической стороны въ талантѣ поэта ниже докажетъ, что подобныя оговорки вставлялись имъ только, какъ говорится «для приличія».

Одинъ тотъ фактъ, что въ историческихъ картинахъ Кондратовичу не удавался «фонъ», что очертаніе и колоритъ самой эпохи у него часто невѣрно или, по меньшей мѣрѣ, не отвѣчаетъ нынѣшнимъ требованіямъ отъ искусства, этотъ фактъ, взятый отдѣльно, былъ бы еще недостаточенъ, чтобы на немъ одномъ основать сужденіе о достоинствѣ цѣлыхъ произведеній. Никому въ мысль не приходитъ осуждать картины славной школы Леонардо Перуджина и самого Рафаэля за несовершенство пейзажа, за недостатокъ на картинахъ «воздуха», перспективы, за плоскость отдаленныхъ горъ и лѣсовъ, какъ бы прилѣпленныхъ полосами на заднемъ планѣ. Эти техническіе промахи въ вырисовкѣ фона у тѣхъ художниковъ исчезаютъ, мы забываемъ о такихъ недостаткахъ — въ виду первостепенныхъ красотъ въ изображеніи дѣйствующихъ фигуръ, богатства жизни и выраженія въ ихъ лицахъ. Великимъ мастерамъ удавалось, даже при относительно маломъ запасѣ положительныхъ свѣдѣній о той или другой исторической личности, всего по нѣсколькимъ чертамъ, создавать такіе типы, что только позднѣйшія изслѣдованія исторической науки приносили точное подтвержденіе геніальной догадкѣ художника. Но къ Кондратовичу нельзя этого примѣнить и относительно изображенія главныхъ лицъ; онъ не владѣлъ тѣмъ художественнымъ откровеніемъ и не былъ счастливъ ни въ выборѣ, ни въ уразумѣніи и передачѣ своихъ героев; онъ принимался за воспроизведеніе многихъ, но то не вырисовывалъ ихъ окончательно, то создавалъ портреты, хотя и законченные, но вызывающіе много возраженій.

## V.

Первымъ недоношеннымъ плодомъ историческаго пониманія и воображенія Сырокомли явился Владиславъ III, прозванный Варненчикъ, этотъ король-юноша, посланный

всехристианскою политикою на Венгрію, а послѣ Венгріи, путемъ нарушенія присяги, — на смерть подъ Варною. Представленіе объ этомъ несчастномъ королѣ возникло у Кондратовича при чтеніи Кохановскаго и Каллимаха. Во времена Кохановскаго люди были менѣе щепетильны; нарушеніе даннаго слова, совершенное въ интересахъ вѣры, казалось тогда такимъ пустякомъ, что Кохановскій, въ отрывкѣ о битвѣ съ Амуратомъ, выражается такъ: «о святой король Владиславъ, который мужествомъ достигъ золотатаго престола въ небѣ, на землѣ памятникомъ тебѣ — Балканы, а вся Европа — могилой». Во времена позднѣйшія того, въ которомъ жилъ Кохановскій, не только люди стали относиться строже къ нѣкоторымъ вещамъ, но подвергалась сомнѣнію и мученическая заслуга романическаго рыцаря, который бросилъ собственную страну, устремляясь за суетнымъ блескомъ крестоваго похода, и тѣмъ способствовалъ ослабленію королевской власти, т. е. именно тому обстоятельству, что впоследствии на руки королей «крѣпкіе вложены узы». Современный намъ поэтъ обязанъ былъ бы коснуться вопроса о совѣсти и выставяя, положимъ, короля въ видѣ агнца принесеннаго на закланіе, долженъ былъ бы высказать приговоръ надъ легатомъ Чезарини и надъ канцлеромъ Збигнѣвомъ Олесницкимъ, которымъ Владиславъ поддался. Но такимъ образомъ, поэтъ вызвалъ бы въ читателѣ иное впечатлѣніе, совершенно несогласное съ отношеніемъ его самаго къ церкви.

Кондратовичъ впрочемъ только поигралъ съ этою темою и оставилъ ее, увлекшись другимъ, съ виду яркимъ предметомъ, а именно привязался мыслью къ самому отъявленному коноводу смуты, какой только являлся въ Польшѣ, а именно къ Оржеховскому, перемышльскому канонику и знаменитому публицисту, настоящему польскому Алкивиаду XVI вѣка, несмотря на сутану. Поэтъ-художникъ, остановясь на этой фигурѣ гениальнаго политика, бушевавшаго страстью, вооруженнаго истинно-золотымъ перомъ, представлявшаго собой уди-

вительную смѣсь хорошаго и дурнаго, непремѣнно долженъ былъ рѣзко выставить и соединить въ своемъ героѣ три главные черты его публичной дѣятельности: показать въ немъ — общественнаго реформатора, выдвигающаго впередъ идею объ уніи и вмѣстѣ мысль объ отмѣнѣ безбрачія, затѣмъ — пламеннаго католика, бичевавшаго диссидентовъ и наконецъ — столь же значительнаго теоретика золотой дворянской вольности. Но Кондратовича, кажется, влекло къ Оржеховскому болѣе всего то, что этотъ новаторъ былъ въ сущности до мозга костей католикъ; что этотъ пламенный дѣятель, будучи въ душѣ приверженцемъ строгости и дисциплины церковной, силился создать какой-то своеобразный католицизмъ, примѣнимый къ духу времени (Кондратовичъ, «Исторія литературы», II. 147, изд. 1875 г.). Не подлежитъ сомнѣнію, что борьба взаимно-враждебныхъ элементовъ въ самомъ Оржеховскомъ была въ высшей степени драматична, но еще не всякое драматическое положеніе создаетъ героя, пригоднаго для драмы или эпопеи. Чтобы заинтересовать и расположить читателя къ герою требуется, или, чтобы при высокихъ качествахъ души, его судьба была трагична, или, чтобы вслѣдствіе внутренней борьбы, человѣкъ этотъ сдѣлалъ нѣчто его возвысившее; отрекся отъ своего влеченія, отъ своего счастья, принесъ ихъ въ жертву идеалу, поставленному имъ выше эгоизма.

Между тѣмъ, ни въ томъ, ни въ другомъ смыслѣ, Оржеховскій въ герои не годился. Конецъ его былъ не трагическій, а только достойный сожалѣнія: послѣдователи новыхъ ученій возненавидѣли его какъ своего врага, католики видѣли въ немъ сомнительнаго союзника и относились къ нему съ подозрѣніемъ; словомъ, всѣ его оттолкнули. Оржеховскій старался заслужить своимъ перомъ милость Рима, однако не дождался освященія своего брака и признанія дѣтей законными. Онъ самъ былъ виноватъ въ томъ, что отъ него всѣ отвернулись. Онъ былъ человѣкъ талантливый, но отлитый изъ неособен-



наго металла, колеблющійся, пристрастный, приносящій все въ жертву страсти. Кондратовичъ напрасно старается его возвысить, одаряя его задушевною мечтательностью, сердцемъ чувствительнымъ, которое губить его же «радушные сны и мысли свѣтозарныя» (I. 247); самыя эти свойства уже находятся въ противорѣчii съ вулканичностью его натуры, съ рѣзкостью и необузданностью его порывовъ: «когда читаю, то читаю страстно, когда молюсь—весь ухожу въ молитву, когда люблю—прочь мудрость всего свѣта, а когда каюсь—кровь въ моихъ слезахъ» (I. 240). Въ дѣйствительности же, Оржеховскій представляется человѣкомъ весьма положительнымъ, практическимъ, умѣющимъ господствовать надъ обстоятельствами и людьми, пламеннымъ только въ словахъ, а въ душѣ—холоднымъ себялюбцемъ. Не имѣя призванія къ духовному сану и зная свой темпераментъ, Оржеховскій дѣлается священникомъ, чтобы заработать кусокъ хлѣба, принимаетъ посвященіе съ предвзятымъ намѣреніемъ жениться, то-есть—нарушить приносимый обѣтъ.

Оправданія, придуманныя для него поэтомъ будто отецъ принудилъ его сдѣлаться духовнымъ: «надѣнь сутану или прими отцовское проклятіе (I. 245)», а въ послѣдствіи «сердце ему вновь и вновь разжигаетъ Кипра богиня (249)»—недостаточны уже просто потому, что рѣшеніе относительно женитьбы было принято Оржеховскимъ не только прежде посвященія, но и раньше, чѣмъ онъ познакомился и съ дочерью Страша и съ Хелмской, такъ что рѣшеніе это было внушено не любовью, но совсѣмъ иными побужденіями, а именно—страшнымъ честолюбіемъ, желаніемъ играть роль, которая по настроенію времени приходилась какъ разъ впору и должна была сразу дать ему огромную популярность. Такую популярность онъ, дѣйствительно, и приобрѣлъ, но она была нѣсколько похожа на славу Герострата: всендѣ вступилъ въ борьбу съ епископами, желая силою остаться въ Церкви, и самъ наводилъ на церковь нововѣрцовъ, которые хотѣли не преобразовать ее, но уничтожить; словомъ, довелъ смуту

до того, что Польша едва не сдѣлалась протестантской. А такъ какъ при всемъ этомъ, Оржеховскій, оставался ревностнымъ католикомъ, то въ смятеніи имъ руководили только личные мотивы. Знатные протестанты—Гурки, Радзивиллы, Зборовскій, Лещинскій, которые переодѣвались слугами, чтобы сопровождать въ Краковѣ Оржеховскаго, на конференцію съ епископами, и помогали ему деньгами, имѣли при этомъ ясную цѣль; они хотѣли, при его помощи, уничтожить такъ называемую «экзекуцію», то есть ограниченіе свѣтскихъ правъ, сопряженное съ епископскимъ отлученіемъ отъ церкви; понятно, что они стремились къ этому для полученія полнаго простора распространенію протестантства.

Дѣло, дѣйствительно, дошло до того, что принадлежавшее епископамъ право судить дворянъ за ересь сдѣлалось сомнительнымъ—и разумѣется, это былъ очень большой успѣхъ, но если принять въ соображеніе собственныя убѣжденія того человѣка, который этого добился, то такая побѣда представится печальной для личной его совѣсти. И вотъ, одержавъ ее, Оржеховскій молить о прощеніи, трибунъ дворянства смиряется передъ церковью аппелируетъ въ Римъ, который безконечно медлитъ отвѣтомъ, а Оржеховскій выслушивается куріи ядовитымъ перомъ, которое онъ обращаетъ противъ послѣдователей новыхъ религіозныхъ ученій. Эти его сочиненія сдѣлались для двухъ послѣдующихъ вѣковъ чѣмъ-то въ родѣ политическаго катехизиса, въ которомъ выразился неразрывный союзъ религіозной реакціи съ духомъ и интересомъ дворянства, еократическаго правленія съ—анархіей. Отъ этого-то брака и родилось грѣховное и проклинаемое Кондратовичемъ дитя, называвшееся въ то время свободой, «чье имя первымъ призоветъ тотъ самый, кто хочетъ рабскія вложить оковы (ІІІ. 47)». Впрочемъ, Кондратовичъ не довелъ своей поэмы до этого періода жизни Оржеховскаго, а потому и не былъ принужденъ самъ сознать ошибочность первоначальной мысли своего произведенія, выраженной въ первыхъ его стихахъ, нѣ-

сколько напыщенныхъ и къ характеристикѣ его героя не подходящихъ: «я человѣкъ свободный, сынъ свободного народа, къ чему же юношей еще, я тяжело скованъ былъ (I. 236)».

Поэма не была доведена даже и до самаго драматическаго момента—борьбы Оржеховскаго съ епископами, и въ отрывкѣ, который мы имѣемъ, очерчены только два главные противники: Оржеховскій, который, по любви къ Маргаритѣ Хелмской, хочетъ на ней жениться и епископъ Дзядускій, этотъ эпикуреецъ и шутливый царедворецъ, крестуря королевы Боны, котораго поэтъ, наперекоръ исторіи, выставляетъ аскетомъ и поборникомъ строгости нравовъ. Мы можемъ догадываться о поводахъ, послужившихъ для отклоненія Кондратовича отъ дальнѣйшей работы надъ Оржеховскимъ, которою онъ занимался въ 1851 году въ Залучи. Въ этомъ году Кондратовичъ два раза ѣздилъ въ Вильно—въ январѣ и въ сентябрѣ. При первомъ посѣщеніи города, онъ познакомился съ поэтомъ, державшимся совершенно иного направленія, а именно съ Эдвардомъ Желиговскимъ, послѣдователемъ школы мистицизма и титаническихъ порывовъ, который въ то время работалъ надъ поэмою «Монахи» (Крашевскій, отзывается о ней такъ: «стихи прекрасные, но мысль ядовитая», стр. 44). Когда Кондратовичъ пріѣхалъ въ Вильно въ сентябрѣ, то Желиговскій былъ уже перемѣщенъ въ Петрозаводскъ, а поэма его получила окончательно такое названіе: «Онъ, она и они». Отрывки ея Кондратовичъ прислалъ въ «Athenaeum», прибавивъ, что въ общей совокупности, она ему не нравится (51). Это было нѣчто въ родѣ продолженія «Монахомахіи» Красицкаго, но продолженія уже не въ добродушномъ тонѣ сатирика—епископа, а человѣка исполненнаго желчи. Темою служила любовь монаха, и поэма прямо и сильно была въ самое учрежденіе безбрачія лицъ духовныхъ. Это совсѣмъ не соответствовало настроенію Кондратовича; правда, онъ также избралъ въ Оржеховскомъ тему аналогичную, но вовсе безъ намѣренія выводить изъ нея какія либо практиче-

скія послѣдствія; онъ видѣлъ въ ней только драматическій сюжетъ—не болѣе. Въ виду рѣзкой постановки вопроса у Желиговскаго, Кондратовичъ тотчасъ отретировался, бросилъ своего перемышльскаго каноника въ самомъ критическомъ моментѣ его жизни—среди его стараній относительно брака—и отыскалъ собѣ другую тему для эпической обработки, во временахъ совсѣмъ отдаленныхъ, до — христіанскихъ. Такимъ образомъ, возникъ «Маргеръ», о которомъ самъ поэтъ говоритъ въ предисловіи, что это—наиболѣе удавшееся изъ дѣтей его духа. Въ самомъ дѣлѣ, надъ «Маргеромъ» Кондратовичъ работалъ долѣе, чѣмъ надъ какимъ-либо изъ своихъ произведеній—отъ конца 1852 до 1854 года—и эта поэма дала ему наиболѣе наслажденій и наиболѣе мукъ, соединенныхъ съ творчествомъ. Этому своему дитяти поэтъ заранѣе старался обезпечить благопріятное вступленіе въ свѣтъ и писалъ Крашевскому: «esto ei propitius».

Современники, а вѣроятно и потомство едва ли подтвердятъ мнѣніе поэта о собственномъ его произведеніи. Упомянемъ мимоходомъ, что на тему эту указала Кондратовичу г-жа Паулина Вильконская. Тема заключается въ томъ, что въ 1336 году, тѣ-есть, при концѣ царствованія Гедимина, 4 тысячи литовцевъ, осажденные въ замѣхъ Пилленахъ или Пулленъ надъ Нѣманомъ или въ Жмуди—словомъ въ мѣстности, которая исторіею не указана съ точностію, и видя невозможность оборонить замокъ, а притомъ не желая попасть въ плѣнъ, умертвили себя взаимно, вмѣстѣ съ вождемъ своимъ, Маргеромъ. Вотъ и все, что извѣстно изъ хроники. Замѣчательно, что остановившись на этомъ сюжетѣ, Кондратовичъ самъ признаетъ его неудобнымъ для поэтической обработки; по его отзыву, изображеніе такого героическаго дѣйствія не подѣ силу современному поэту, сюжетъ своимъ фактическимъ величіемъ убьетъ всѣ усилія поэта къ его передачѣ. Крашевскій даетъ такой отзывъ, что подобная легенда сама собою представляетъ нѣчто въ родѣ обломаннаго древняго памятника, которому мѣсто—въ музеѣ; тамъ онъ и дол-

женъ стоять, такимъ какъ есть: неполнымъ, съ отбитыми частями, но неприкосновеннымъ отъ передѣлокъ (56). «Положите—говорить онъ—передъ художникомъ, хоть одинъ трупъ изъ той великой могилы, и все что художникомъ сдѣлано обратится въ ничто, станетъ само трупомъ». Мы не можемъ согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Преданіе, о которомъ здѣсь рѣчь вовсе не есть обломокъ мастерской скульптуры; это просто—необтесанный камень, кусокъ гранита, непригодный для скульптурнаго памятника, по самой невозможности справляться съ нимъ рѣзцомъ. Самоубійство — дѣйствіе повторяющееся ежедневно и не доказывающее еще никакого геройства; лишь въ исключительныхъ случаяхъ оно заслуживаетъ чего-либо, кромѣ простаго сожалѣнія. Самоубійство цѣлыхъ массъ не составляетъ спеціальнаго свойства и особаго характера какого-либо народа; оно случалось неразъ, и въ религіозныхъ войнахъ, и въ борьбѣ однѣхъ расъ съ другими, причемъ цѣлью было избѣгнуть или жестокихъ мученій, или позорнаго рабства. Кто же не знаетъ эпизода изъ страшной битвы при Aquae Sextiae (102 г. до Р. Х.), когда легіоны Марія брали приступомъ таборъ тевтоновъ, а тевтонскія женщины душили своихъ дѣтей и сами убивались, опережая одна другую? Самоубійство массами возможно даже у народовъ наиболѣе дикихъ, въ битвахъ между каннибалами, въ эпохахъ почти до — историческихъ. Чтобы занять искусство, недостаточно одного кровопролитія, одного ужаса развязки, необходимо еще показаніе силы и высоты самаго чувства, которое вызвало такое отчаяніе, необходимо, стало быть, пониманіе какъ велика была потеря для той толпы, которая послѣ нея не хотѣла жить. Подобный финалъ получаетъ потрясающее значеніе, если въ немъ выражается гибель цѣлаго народа, паденіе великой цивилизаціи. Когда на второмъ планѣ мы видимъ великія историческія событія, то и дѣйствующія отдѣльныя фигуры, поставленныя впереди, вырастаютъ передъ нами. Мы иными глазами смотримъ на побывающую самое себя толпу какого нибудь

неизвѣстнаго намъ племени и иными—на первосвященника, держащаго въ рукѣ жертвенный ножъ—на Каульбаховскомъ фрескѣ «Разрушеніе Іерусалима», или на самоубійство жены Газдрубала, которая, послѣ шестидневнаго штурма Кареагена, бросается съ дѣтьми въ пламя въ храмъ Эскулапа.

Между тѣмъ, дѣло представляется такъ, что ни 1336 годъ не составлялъ никакого историческаго перелома, ни потерянная въ памяти крѣпость Пулленъ не можетъ чѣмъ-либо дѣйствовать на воображеніе, ни сама древняя языческая Литва, со своими богами, не въ состояніи нынѣ растрогать никого, хотя бы даже прямыхъ своихъ по плоти потомковъ. У насъ и ключа нѣтъ къ той угасшей вѣрѣ, навсегда погребенной и, если можно такъ выразиться, запечатанной такимъ образомъ, что и археологіи навѣрное никогда не удастся открыть ея тайну. Но еслибы даже такой ключъ и оказался у насъ въ рукахъ, то все-таки весьма сомнительно, чтобы намъ могла внушить что-либо религія дикая и жестокая, которая еще въ XIV вѣкѣ требовала человѣческихъ жертвоприношеній—обычай, по мнѣнію новѣйшихъ археологовъ и изслѣдователей доисторическаго быта, находившійся въ связи съ распространеннымъ нѣкогда повсемѣстно употребленіемъ человѣческаго мяса въ пищу. Поклоненіе огню и животнымъ, чудесничество и пророчество, закланіе людей въ жертву, пьянство и хищничество, при бѣдности храброй Литвы, ходившей въ лаптяхъ, все это—черты отрицательныя, вредящія красотѣ картины. Конечно, историческій поэтъ, соблюдающій правду, обязанъ упомянуть о нихъ, но не можетъ изъ самаго этого быта дѣлать главное содержаніе героическаго разсказа, потому что иначе возбудилъ бы отвращеніе, вмѣсто удивленія и сочувствія къ тѣмъ лицамъ, которыхъ онъ взялся представить въ очищенномъ и возвышенномъ видѣ.

Вѣдь и у Мицкевича въ «Гражинѣ» намѣчены, гдѣ-то вдали, контуры капища, посвященнаго богу — громо-

вержцу: «гдѣ ежедневно на святыхъ кострахъ дымится кровь воловъ, коней, овецъ серебрярунныхъ». Въ той-же «Гражинѣ» изображенъ конный нѣмецкій плѣнникъ, стоящій на кострѣ, трижды объятый цѣпью и прикованный къ желѣзному крюку. Но у Мицкевича такіе черты составляютъ только неважныя частности, содержание же представляется мужественнымъ подвигомъ, литовки, которая, подъ вліяніемъ вѣрно—понятой любви къ своей странѣ, разрываетъ приготовленные ей мужемъ, пагубныя для Литвы, связи съ нѣмцами. Большое историческое значеніе Литва приобрѣла не потому, что держалась своихъ восточныхъ боговъ, но наоборотъ, потому, что счумѣла отречься отъ нихъ и приняла вѣру своихъ враговъ, которой и сдѣлалась, затѣмъ, сама самымъ вѣрнымъ и ревностнымъ апостоломъ. А въ XIV вѣкѣ, она то именно уже сильно была проникнута христіанскимъ элементомъ; князей соединяли съ христіанами многообразныя отношенія и вѣра простаго народа уже не была ихъ вѣрою, да наконецъ, и въ дѣйствіяхъ ихъ на первомъ мѣстѣ стояли вовсе не интересы идолопоклонства, а интересы политическіе. Мицкевичъ превосходно понялъ тогдашнія условія въ «Валленродѣ». Тамъ Вальтеръ Альфъ, уже христіанинъ, обращаетъ Альдону, которая и живетъ затворницей въ орденскомъ городѣ: ни у нея, ни у Валленрода въ мысляхъ не осталось уже никакого слѣда язычества.

Совсѣмъ иначе обработалъ ту же тему Кондратовичъ. Въ сказаніе хроники о замкѣ Пулленъ онъ ввелъ всю литовскую мифологію и изъ человѣческихъ жертвоприношеній сдѣлалъ главную ось, около которой обращаются событія разсказа. Маргеръ только тѣмъ спасаетъ плѣннаго Рансдорфа, что предназначаетъ его къ сожженію въ честь боговъ; боги непременно требуютъ этой жертвы; а когда дочь Маргера — Эгле спасаетъ Рансдорфа и убѣгаетъ съ нимъ, то храбрая Литва, вмѣстѣ съ вождемъ, и перебиваетъ сама себя, среди пожара замка. Но если, такимъ образомъ, литовское войско по-

гибло отъ того только, что не были сожжены Рансдорфъ и Эгле, которыхъ боги требовали себѣ въ жертвенную пищу, то отсюда пришлось бы предположить, что вслучаѣ, еслибы то жертвоприношеніе совершилось, Маргеръ съ своимъ войскомъ не погибли бы и храбрая Литва восторжествовала бы надъ крестомъ. Странное сведеніе великаго вопроса борьбы двухъ племенъ — на вопросъ объ апетитѣ боговъ... Для довершенія непріятнаго, неэстетическаго впечатлѣнія, появляется богъ ада Поклюсъ, въ видѣ страшилища, похожаго на тѣ, какія показываются въ «вертепѣ» колядующими на Рождество мальчуганами: «нагое чудище, костистое, обросшее по тѣлу волосами, съ большою бородой и пламенемъ летящимъ изъ очей». Литовцы всѣ поверглись ницъ передъ этимъ явленіемъ, одинъ только Маргеръ выдержалъ взглядъ чудовища.

Правда, Кондратовичъ, въ предисловіи, ссылается на примѣръ Виргилія, въ оправданіе появленія такого «*deus ex machina*». Но извиненіе это неудовлетворительно. Не говоря уже о различіи вѣковъ, о томъ, что въ наше время чудесность производитъ иное впечатлѣніе, чѣмъ въ ту эпоху, въ которой жилъ любимецъ Августа,—есть огромная разница между самыми предметами, какіе избраны однимъ поэтомъ и другимъ. Виргилій воспроизводилъ, положимъ, самъ не вѣруя въ то, живое народное преданіе, самое патріотическое преданіе, какое имѣлъ Римъ—объ основаніи великаго города; значитъ, римскій поэтъ вводилъ такую чудесность, вѣра въ которую составляла въ его время едва-ли не гражданскій долгъ. Между тѣмъ, нашъ поэтъ сочинялъ чудесность вовсе не существующую въ понятіяхъ его читателей, и склеивалъ изъ бумаги, на проволокахъ, такое страшилище, которое никакой иллюзіи производить въ читателяхъ не могло, а должно было вызывать лишь комическое впечатлѣніе. При такой полной неудачности мифологической стороны поэмы, произведеніе это могло-бы все-таки держаться на возвышенныхъ характерахъ дѣйствующихъ лицъ,



могло сильно дѣйствовать той жизненной силой, которую авторъ вдохнулъ бы въ нихъ изъ собственной души. Но Кондратовичъ, какъ извѣстно, не принадлежалъ къ сонму великихъ духовъ и не владѣлъ способностью творить великіе характеры; онъ просто шелъ въ этой поэмѣ по пути, проложенному Мицкевичемъ, но непосильномъ для его послѣдователя, подражалъ великану, съ которымъ невозможно никакое сравненіе и самое сосѣдство для поэтовъ меньшихъ.

Какъ Словацкій въ «Балладинѣ» не могъ освободиться отъ помысловъ Шекспира, такъ передъ Кондратовичемъ въ «Маргерѣ» безпрестанно появляются обороты и образы созданные Мицкевичемъ. Въ подтвержденіе приведемъ примѣры. Два стиха въ «Маргерѣ» (II 31): «поперемѣнно на тебѣ печать—то ангеловъ Господнихъ, то дьяволовъ» напоминаютъ два стиха въ «Дѣдахъ» (VI): «какъ ждутъ стихіи грома, такъ твоей мысли ожидаютъ ангелы—и сатана». Сопоставимъ далѣе: стихъ въ «Маргерѣ» (II 66—67) «во имя ада или неба, я иду въ походъ» и два стиха въ «Дѣдахъ»: «взнесусь ли въ облака, иль въ пропасти исчезну?... Слетишь ли въ адъ, иль на небѣ засвѣтишь». Стихи въ Маргерѣ (II 85): «они уже дошли до половины валовъ и головы ихъ выше линіи огня» похожи на стихи въ «Редутѣ Ордона», которыхъ приводить не будемъ. Начало IV пѣсни въ Маргерѣ, гдѣ сдѣлано сравненіе черной рыцарской рати, идущей съ Балтики на Литву—съ черной тучей, идущей съ моря, представляетъ прямое позаимствованіе изъ пѣсни вайделота въ «Валленродѣ». Конецъ Маргера: «хочешь знать правду—спроси лѣтописцевъ, а остальное мысль твоя и сердце доскажутъ» похожъ на послѣдніе стихи «Валленрода»: такъ и пѣсня моя; ту пѣсню объ Альдонѣ, Пусть ангелъ музыки по небу разнесетъ А нѣжный слушатель въ душѣ пусть допоетъ.

Дѣйствующія лица въ «Маргерѣ», несмотря на заимствованную высоту сравненій и стиля, всѣ безъ изыятія, находятся на уровнѣ весьма обыденномъ и отличаются

только приторностью и неестественностью. И такъ, самъ Вернеръ Рансдорфъ—самый обыкновенный типъ молодого, исправнаго офицера во всѣхъ бывшихъ и будущихъ полкахъ—недалеко ушедшій отъ Феба Шатопера въ «Соборѣ парижской Богоматери» Гюгô. Это образчикъ простой животной натуры, здороваго тѣла и горячей крови. Находясь съ дѣтства въ лагеряхъ, Рансдорфъ привыкъ къ кутежамъ, привязался къ вину и къ маріенбургскимъ кокоткамъ. Почти чудомъ избѣгнувъ смерти въ битвѣ, Рансдорфъ въ плѣну, въ пулленскомъ замкѣ, ухаживаетъ за дочерью Маргера Эгле, которая, хотя ходитъ не въ шелкахъ, а въ простой холщевой одеждѣ, съ коралловымъ ожерельемъ, но зато какъ Горгона, оплетается вѣнцами изъ вьющихся, прирученныхъ змѣй. Увидѣвъ ее, рыцарь обращается къ ней съ комплиментами, которыхъ не постыдился бы классикъ XVIII вѣка: «о слѣпые литовцы, не змѣй здѣсь богъ, она по праву здѣсь богиня (II 30)». Затѣмъ, онъ начинаетъ философствовать, какъ пантеистъ и метафизикъ нѣмецкій: «красота, это—слово великое, сила немалая; самъ Богъ есть красота, въ ней чудеса его. Красуется небо предъ нимъ, люди взираютъ къ нему на колѣняхъ, а чудовищный адъ падаетъ ницъ, рассыпается въ прахъ». Чтобы спасти Рансдорфа, осужденнаго на сожженіе, Эгле, вмѣстѣ со старымъ воиномъ Лютасомъ, проводятъ его чрезъ подземельный ходъ и выпускаютъ на свободу, связавъ его только обѣщаніемъ, что онъ не откроетъ своимъ тайну подземнаго хода. И вотъ, Рансдорфъ поступаетъ съ точной добросовѣстностью, то есть намѣренъ исполнить буквально то чтó обѣщалъ, ни болѣе, ни менѣе. Онъ снова находится въ войскѣ, идущемъ на Литву, онъ осаждаетъ самый замокъ Пулленъ, но тайнымъ проходомъ онъ воспользоваться не намѣренъ. Онъ даже великодушно собирается не убивать безоружныхъ и безъ нужды не жечь хатъ литовскихъ (III 70); остается только сказать ему и за это спасибо. Но уже, стоя подъ замкомъ, Рансдорфъ узнаетъ, довольно страннымъ образомъ, что Эгле имѣетъ быть казнена зато, что

облегчила ему побѣгъ. Тогда любовь, благодарность и желаніе спасти возлюбленную берутъ въ немъ верхъ надъ вѣрностью данному слову: онъ проникаетъ съ отрядомъ стрѣльцовъ чрезъ подземелье и уводитъ Эгле. Общаніе свое онъ нарушилъ, но совершилъ это при такихъ смягчающихъ обстоятельствахъ, что присяжные, вѣроятно, бы его оправдали. Разсказъ представляется въ видѣ ловкой адвокатской защиты, послѣ которой, однако, оправданный обыкновенно выходитъ изъ суда лишенный уже всякаго престижа, низведенный на уровень существа самого зауряднаго.

Что касается дочери Маргера, этой литовской Ифигеніи, то она, какъ всѣ женщины у Кондратовича, очерчена слишкомъ туманно и блѣдно, но если къ ней присмотрѣться ближе, то она окажется обыкновенной романтической барышней нашихъ, а вовсе не литовскихъ временъ. Литвинка, положимъ, могла влюбиться въ раненаго и несчастнаго рыцаря; но влюбившись, она бы забыла обо всемъ остальномъ, не дѣлила бы сердца между Рансдорфомъ и разными соображеніями и идеями высшаго порядка, потому что всѣ соображенія и узы такого рода суть продуктъ цивилизаціи, усваиваются только путемъ старательной дрессировки человѣка съ дѣтства, приученія его къ разбору смысла его дѣйствій, такъ, чтобы онъ не дѣлалъ ничего необдуманъ и во всемъ сохранялъ извѣстную мѣру. Влюбленная литвинка того времени, узнавъ, что ея боги требуютъ смерти Рансдорфа должна была возненавидѣть боговъ: «жрецы и вѣщуны, и сами боги, хулу я шлю и добротѣ, и силѣ вашей (II 42)». Единственнымъ средствомъ спасенія отъ этихъ боговъ и соединенной съ ними Литвы, было бы однако для нея принятіе вѣры Рансдорфа и побѣгъ съ нимъ чрезъ подземелье, послѣ чего, подъ вліяніемъ разницы въ воспитаніи между влюбленными, Рансдорфъ, рано или поздно, оттолкнулъ бы эту женщину, принесшую ему въ жертву свой долгъ, а она или зачахла бы съ тоски по родинѣ, или, пожалуй, совершила бы убій-

ство изъ ревности... Но во всякомъ случаѣ, судьба ея не имѣла бы уже ничего общаго съ судьбой крѣпости Пулленъ и самого Маргера.

Между тѣмъ, подъ перомъ Кондратовича, развязка выходитъ совсѣмъ иная, и такая притомъ, что, теряя все обаяніе дико растущаго цвѣтка, лѣснаго ландыша, босая княжна Эгле превращается въ утонченную, сентенціональную даму, которая въ отношеніи анализа своихъ чувствъ въ состояніи преподать не одинъ урокъ самому рыцарю Рансдорфу. Она и взглянуть умѣетъ такъ свысока и по аристократски, что смѣльчака можетъ тотчасъ осадить: «Но дочь Маргера, какъ острой стрѣлой, пригвоздила его своимъ взглядомъ (II 39)». Однако, вырвавъ Рансдорфа у своихъ боговъ, она сама остается на мѣстѣ, при богахъ и отцѣ, такъ какъ мысль и виды ея заходятъ далѣе умственного горизонта обыкновенной женщины: быть можетъ этотъ нѣмецъ когда нибудь станетъ орудіемъ примиренія между орденомъ и Литвой, «угасить ненависть, чтó оба пятнаетъ народа и примирить боговъ своей земли съ литовскими богами». Затѣмъ, послѣ бѣгства Рансдорфа, Эгле, осужденная сдѣлаться добычею боговъ и заключенная въ подземной темницѣ, не перестаетъ заниматься политикой и поочередно примѣряетъ къ себѣ, какъ платья, двѣ борющіяся вѣры: «несчастливая дѣвушка то молится, то проклинаетъ, то крестикъ, данный ей, къ устамъ прижметъ, то съ груди его срываетъ (II 85)» то отъ боговъ жестокихъ отвращаетъ взоръ, такъ какъ въ вѣнкѣ своемъ терновомъ Богъ чужой ей милосердно смотреть въ очи». Она уже готова бѣжать къ нѣмцамъ, подъ власть Христа, но тотчасъ сознаетъ себя преступницей: «О святые боги, я отступаю когда Поклюсь требуетъ жертвы для спасенія Литвы... Рансдорфъ ей врагъ, пускай погибнетъ онъ... О нѣтъ, пусть лучше гибнетъ Эгле, гибнетъ и сама Литва»... Эта нерѣшительность, эти переходы изъ одной крайности въ другую оканчиваются чѣмъ-то въ родѣ гаданья или вытягиванія узелковъ: «спасите вы его, о боги, родные или

чужіе, которые могущественнѣе, тѣ его спасите; тѣхъ прокляну, что жалости не знаютъ, того признаю, который возвратитъ мнѣ счастье».

Однако, когда возлюбленный и безъ помощи боговъ исполнилъ желаніе Эгле, ворвался сквозь подземелье, чтобы спасти ее, когда вокругъ горятъ замокъ и стропила надъ ея головой, героинею овладѣвають нерѣшительность и сознаніе долга—погибнуть вмѣстѣ со своими. Притомъ, все это выражается не въ формѣ первобытнаго чувства, но въ видѣ искусственного резонерства. Хотя она уже присягала, что покинетъ своихъ боговъ и склонится сердцемъ къ христіанству, Эгле въ эти минуты, объявляетъ, что хочетъ сгорѣть на одномъ кострѣ съ идолами, обращая къ любимому человѣку еще такую загадку: «и не узнаешь никогда, кому я и о чемъ—последнюю пошлаю молитву (II. 108)». Моментъ неудобенъ для разгадыванія, такъ какъ подземелье, въ которомъ бруссы занялись огнемъ, угрожаетъ обваломъ, а потому стрѣлки схватываютъ Эгле, выносятъ ее въ обморокъ и владутъ въ лодку, гдѣ ее поражаетъ стрѣла, пущенная ея отцемъ, заканчивая ея жизнь и колебанія.

Какъ непомѣрное развитіе рефлексивности сдѣлало характеръ Эгле неестественнымъ, обратило его въ какой-то маятникъ, пассивно качающійся въ бездѣйственномъ пространствѣ, такъ другая, допущенная авторомъ невѣрность испортила фигуры, въ которыхъ онъ хотѣлъ изобразить давнихъ литовцевъ. Будучи самъ человѣкомъ мягкимъ и добродушнымъ, Кондратовичъ, должно быть, по себѣ составилъ себѣ понятіе не только о нынѣшнихъ, но и о тогдашнихъ литвинахъ, вообразилъ себѣ, что основной чертой ихъ характера и въ то время была безконечная податливость и расплывчатость, при обращеніи къ нимъ во имя чувства: «кровавая сѣча сегодня и пиръ для мечей и обуховъ. А завтра тотъ же литовецъ сердцемъ готовъ подѣлиться, и, при чаркѣ алусу, своихъ палачей обнимаетъ, имъ же пролитая кровь въ немъ слезу вызываетъ (II. 15)». Тѣмъ болѣе, если врагъ

заговорить съ нимъ по-литовски: «велико обаянье словъ родныхъ; ими насъ врагъ всегда обезоружить, если съ ними къ намъ онъ обратится; въ насъ ярости огонь родные звуки гасятъ, и хорошо, что врагъ того не знаетъ чуда». Между тѣмъ, изъ всѣхъ областныхъ нравственныхъ особенностей въ прежнемъ польскомъ государствѣ, преданіе наиболѣе опредѣленно признавало именно за литовскимъ племенемъ—твердый закалъ характера, съ сопровождающими это свойство недостатками: злопамятствомъ и мстительностью («завзятый» литвинъ). Нынѣ смягчились нравы и прежнія свойства ступевались, но нѣсколько вѣковъ тому назадъ, они должны были выступать очень рельефно. Нельзя не видѣть, по меньшей мѣрѣ, анахронизма въ такихъ представителяхъ старой Литвы, какъ Маргеръ и Лютасъ; это скорѣе—представители идилической розмазни, и въ ихъ рукахъ дѣло литовцевъ впередъ проиграно, такъ какъ ни защищать своихъ боговъ, ни оборонять Литву они не могутъ. Старый воинъ Лютасъ впередъ убѣжденъ въ побѣдѣ нѣмцевъ: «въ дни будущіе, лучшіе для міра, побрататься оба народа могутъ, когда у нѣмцевъ и у насъ единый будетъ Богъ (замѣтимъ отъ себя, что не побратались они и доселѣ, несмотря на единство Бога)». Руководимый чувствомъ весьма рыцарскимъ, но относясь къ дѣлу своего народа какъ къ какой нибудь игрѣ, Лютасъ помогаетъ Рансдорфу бѣжать для того только, чтобы тотъ пришелъ опять съ нѣмцами жечь литовскія хаты, и чтобы литовцы одолѣли его въ бою, что послужить къ ихъ славлѣ (II 44). Но если ужъ Лютасъ выпустилъ Рансдорфа, чтобы доставить себѣ удовольствіе помѣряться съ нимъ въ равномъ бою, то какое же право тотъ же Лютасъ имѣетъ обвинять своего врага въ вѣроломствѣ за то, что тотъ опять пришелъ съ нѣмцами (II. 96); какое право проклинать его во имя боговъ Литвы и даже во имя Христа: «брось молніей въ него съ креста, тебя язычникъ молить».

Случилось то, чего желалъ самъ Лютасъ, но иначе,

такъ какъ нѣмцы опять пришли, только пришли они съ бѣльшей силой и самого Лютаса, который раненъ, взяли въ плѣнъ. Затѣмъ, совершается еще вещь, которую можно приписать лишь замѣчательной глупости этого старика, или лихорадочному бреду его: всѣ мысли Лютаса въ плѣну сосредоточились на опасеніи, какъ бы Рансдорфъ не выдалъ тайны подземнаго хода въ крѣпость, а между тѣмъ тотъ же Лютасъ спѣшитъ рассказать рыцарю о плачевной участи, ожидающей Эгле, то есть самъ ставить его въ неодолимое искушеніе, почти заставляя его нарушить тайну и спасти дѣвушку, которой изъ-за него грозитъ смерть. Но Лютасъ не только погубилъ Эгле, оказавъ ей содѣйствіе въ устройствѣ бѣгства Рансдорфа; онъ губитъ затѣмъ и замокъ Пулленъ, и Маргера, и Литву. Самъ Маргеръ крайне непослѣдователенъ. Авторъ, правда, говоритъ: «въ немъ живеть одна только ненависть къ нѣмцамъ, столь страшная, какъ будто бы всѣ змѣи влили свой ядъ въ его пламенное сердце (II. 12)». А всетаки, герой этотъ только рычитъ, но не кусаетъ: онъ обманываетъ народъ, показывая видъ, будто охраняетъ Рансдорфа только съ цѣлью сжечь его на кострѣ. Мало того, литовскій вождь сажаетъ врага къ своему столу «какъ гостя издали прибывшаго въ нашъ край». Утонченное рыцарство проявляетъ Маргеръ восклицая: «стой! надъ безоружнымъ лютость не похвальна (15)», а затѣмъ—запрещая пускать стрѣлы въ нѣмцевъ, пока они не окончили молитвы: «мы не воюемъ съ ихъ Богомъ, какъ они съ нашими; они теперь не ожидаютъ нападенія, ударить на нихъ неожиданно было бы вѣроломствомъ (84)».

Въ результатѣ такихъ вѣжливостей Рансдорфъ, на глазахъ отца, похищаетъ дочь. Тогда Маргеръ пускаетъ двѣ стрѣлы въ дочь-измѣнницу, «вражью гадину», но дѣлаетъ это не изъ патріотизма, который уже не имѣетъ цѣли, когда все пропало, а просто изъ злости. А такъ какъ злоба—чувство некрасивое, то авторъ внушаетъ литовскому вождю того времени чувства и мысли, достойныя

развѣ того позднѣйшаго вождя, который утонулъ въ Эльстерѣ (маршала Г. Понятовскаго): «повѣдай небесамъ въ день воздаяннѣ, что честь твою я спасъ и при тебѣ я палъ! Не опозоренной погибла ты—несчастной (113)». Боги, жаждущіе крови, и послѣдователи ихъ, философствующіе, что современемъ у всѣхъ людей будетъ единый Богъ и новѣйшая религія «чести (point d'honneur)», разные вѣка, перемѣшанные и стопленные въ безформенной амальгамѣ—вотъ и весь Маргеровскій эпосъ. Самъ же Кондратовичъ въ предисловіи къ этой поэмѣ, говоритъ: «не имѣя надежды очертить вѣрно литовцевъ (давнихъ), я изображалъ людей вообще». Но люди носятъ печать своего вѣка, а у Кондратовича являются люди, принадлежащіе одновременно къ разнымъ вѣкамъ, а потому неестественные и не живые.

Холодность, съ какой «Маргеръ» былъ встрѣченъ публикой не вразумила автора, что избранный путь не соотвѣтствовалъ его таланту. Онъ продолжалъ, съ усиленіемъ, писать въ тонѣ высоко-героическомъ рассказы, діалоги и цѣлыя трагедіи, все — вещи, столь приторно-скучныя и представляющія столь малую цѣнность, что достаточно кратко упомянуть о нихъ. Нельзя не пожалѣть о такой потерѣ труда и такомъ насиліи надъ талантомъ.

## VI.

Когда въ поэтѣ, берущемся за большую историческую тему, мыслитель не стоитъ на одномъ уровнѣ съ художникомъ, что можетъ зависѣть и отъ недостатка образованія, то, несомнѣнно, произведеніе выйдетъ слабымъ, напоминающимъ ученическія «сочиненія». Правда, историческая тема завлекательна, но обработка ея особенно трудна. Ктожъ изъ насъ въ дѣтствѣ не рвался къ тѣмъ великимъ сюжетамъ, какими на школьной скамьѣ насъ увлекаетъ исторія? Кто не умиралъ съ Лео-



нидомъ въ Оермопилахъ, не боролся при Мираеонѣ и Саламинѣ, или не приносилъ себя въ жертву съ Винкельридомъ? Всемирная исторія, какъ она излагается въ школѣ, содержитъ въ себѣ множество такихъ, освященныхъ преданіемъ общихъ мѣстъ. Не всякъ пріобрѣтаетъ такое знаніе, чтобы снять съ событія, обросшую его легенду и поставить передъ собой простой и нагдой фактъ, который въ этомъ видѣ можетъ представиться болѣе возвышеннымъ и дѣйствовать сильнѣе, чѣмъ самая легенда. Кому это недоступно, тому остается только, при созерцаніи событія, перенестись воображеніемъ въ легенду, влѣзть въ кожу традиціоннаго героя, уже испорченнаго преданіями, и сыграть его роль, то есть представить себѣ тѣ мысли и чувства, какія вѣроятно прошли чрезъ душу героя въ данныхъ обстоятельствахъ.

Но если поэтъ разрѣшаетъ свою задачу этимъ послѣднимъ, болѣе обыкновеннымъ пріемомъ, то онъ долженъ быть Байрономъ или Альфіери, чтобы увлечь читателя, чтобы расшевелить въ немъ страсть, изображая, какъ то дѣлалъ Байронъ, отчаяніе, убожество, страданіе современнаго человѣка — подъ трагическою маскою Сарданапала или Марино Фальеро, или же, какъ дѣлаетъ Альфіери — возбуждая современника примѣрами изъ прошлаго, къ дѣйствіямъ политическаго свойства. Кондратовичъ не могъ равняться съ этими великими поэтами, но сверхъ того, онъ вовсе и не болѣлъ скорбью вѣка, а отъ политики держался всегда въ сторонѣ. Онъ просто избиралъ ту или другую легенду, вырисовывалъ ее и клалъ на нее краски. Идея, одушевляющая поэму у него, обыкновенно — патріотизмъ, но не воспламеняющійся, не выбрасывающій искры вдохновенія, а какой-то неяркій, какъ-бы пепельно-сѣраго цвѣта. Геройство, возбужденное патріотизмомъ, то въ мужчинѣ, то въ женщинѣ — вотъ обыкновенная его задача, и на каждый полъ приходится по нѣсколько экземпляровъ.

Самопожертвованіе женщины изъ патріотизма изображено Кондратовичемъ, во-первыхъ, на тему Ядвиги, от-

дающей свою руку Ягеллѣ, несмотря на свою любовь къ другому человѣку. Эта же тема обработана въ разсказѣ «Дочь Пястовъ (1858 г. II. 198)», въ которомъ опять являются литовцы, сотворенные по образу и подобию самого автора, или склеенные изъ шерсти и воска: «бродатые, дикіе, въ шкурахъ медвѣжьихъ»... «какъ дѣти — мягкіе душой въ родимой хатѣ». Здѣсь Ганна, сестра князя Конрада Мазовецкаго, идетъ замужъ за литовскаго князя Тройдена — что прообразуетъ будущее соединеніе двухъ народовъ. Таже мысль, но уже въ самомъ неудачномъ видѣ составляетъ основу драмы «Вельможи и сирота (1858 г.)». Магнатскіе дома Ходкевичей и Радзивилловъ, ведя распрю изъ-за руки и наслѣдія последней княжны Слуцкой, изъ рода Олельковичей, собрали войска въ своихъ палацахъ, доселѣ стоящихъ въ Вильнѣ, и вступили въ бой на улицѣ, который однако тотчасъ кончился соглашеніемъ, безъ всякаго спроса самой княжны и ея склонности. Изъ этого историческаго факта, въ которомъ Янъ-Карлъ Ходкевичъ сыгралъ вовсе не лестную роль, Сырокомля вывелъ романъ между Ходкевичемъ и княжною Слуцкой. Ходкевичъ у него дерется на поединкѣ возлѣ своего дома <sup>1)</sup> съ Янушемъ Радзивилломъ; для эффекта, на сценѣ изъ дома Ходкевичей стрѣляютъ пушки, и въ Вильнѣ происходитъ пожаръ; наконецъ княжна приноситъ себя въ жертву, оставляетъ Ходкевича и отдаетъ руку Радзивиллу, со словами, которыя для насъ звучатъ ироніею: «если вы братскую кровь съ рукъ вашихъ смыли». Въ дѣйствительности, Радзивиллу потому только и достаются княжна съ ея владѣніями — Слуцкомъ и Копылемъ, что онъ безъ всякаго колебанія умылъ свои руки именно въ братской крови, то-есть онъ получаетъ награду за ту смуту, которая въ Литвѣ послужила прологомъ къ цѣлому ряду междоусобицъ.

---

<sup>1)</sup> Нынѣ — зданіе учебнаго округа.

Мужское геройство Сырокомля изображаетъ въ пожертвованіи родинѣ—жизни, свободы и дѣтей. Маргеръ убиваетъ дочь, чтобы спасти честь Литвы; за нимъ идетъ Касперъ Карлинскій (1857 г.), стрѣляющій въ сына, котораго поставили впереди своихъ рядовъ непріатели. Далѣе, въ «Приговорѣ Яна-Казимира (1859 г.)», дворянинъ Гноинскій геройствомъ превосходитъ Брута. Онъ не только самъ пронзаетъ сына за измѣну и шпіонство въ пользу шведовъ, но когда сынъ остался живъ, отецъ такъ говоритъ королю: «я поражу его еще разъ и вѣрнѣе, потомъ убью себя; и не прощу, какъ право не прощаетъ; но не казни его, король, позорной казнью (V. 268)». Этотъ твердый закалъ души оказывается, однако, фальшивымъ. Довольно было нѣсколькихъ словъ короля, обѣщанія его, что веревка и лишеніе чести будутъ замѣнены простымъ изгнаніемъ — и Брутъ уже забылъ, что «не въ приговорѣ стыдъ, а въ дѣйствиіи самомъ», уже растаялъ какъ воскъ и примирился не только съ судьбой, но и съ сыномъ-выродкомъ: «хвала тебѣ, святое провидѣнье! Ужъ не убійца я, и домъ мой безъ пятна (?). И мое имя сохранить свой блескъ на всю Литву мою, на всю Корону!»

Тотъ же бессознательный переходъ отъ идеальнаго къ преувеличенному и смѣшному, какой мы уже видѣли въ исторіи Ходкевичей и Радзивилловъ, замѣчается и въ «Старостѣ Копаницкомъ (1857 г.)». Этотъ староста, приверженецъ Станислава Лещинскаго, посаженъ въ тюрьму въ Зонненбургѣ, за то, что не хотѣлъ признать королемъ Августа III и продолжалъ бить саксонцевъ. Изъ самого же разсказа видно, что Августъ III—не Тиверій и не Неронъ: узникъ сидитъ въ той же камерѣ, гдѣ были прежде заключены Собѣскіе, ему разрѣшены вино и компанія и отъ него домогаются только, чтобы онъ присягнулъ королю, который уже признанъ всей страной; наконецъ король и такъ, безъ этого, отпускаетъ его на свободу. Стало быть, все геройство староста проявляетъ лишь тѣмъ, что и сидя въ заключеніи, онъ еще ведетъ

формальный процессъ о нарушеніи свободы выборовъ и о незаконности своего заключенія, ссылаясь на установленное для королей въ законѣ правило: *netinet captivabimus* (лишеніе свободы принадлежитъ судебной власти). «Его не избралъ я, не присягну ему (III. 285)»; «я убѣжденіе одно уже избралъ и присягнуть другому не могу (229)». «Крѣпка моя присяга до тѣхъ поръ, передъ страной, предъ королемъ и Богомъ, пока не разошлеть универсаловъ примасъ, дворянъ не созоветъ на выборное поле, пока свободные уста не возгласятъ, что Августъ—нашъ король».

Въ этомъ непреклонномъ защитникѣ золотой вольности, Кондратовичъ видѣлъ «великаго человѣка (186)» и говорилъ, что это—тотъ же Касперъ Карлинскій, но только—въ нравахъ иной эпохи («предисловіе»). Трудно признать это тожество, но можно сказать, что въ убѣжденіяхъ копаницкаго старосты Понинскаго уже содержится основа будущей тарговицкой конфедерации, и что если нѣсколько измѣнить черты времени, то изъ Понинскаго выйдетъ Феликсъ Потоцкій, типъ, отъ прославленія котораго Кондратовичъ былъ наиболѣе далекъ. «Староста Копаницкій», яснѣе другихъ произведеній Кондратовича показываетъ, какъ ему неудавалась исторія и до какой степени результаты на этомъ полѣ расходились у него съ намѣреніями. Не будемъ останавливаться на такой слабой вещи, какъ «Смерть Ацерна (1855 г.)», пропустимъ лишенный всякой оригинальности и сентиментальный образъ Сигизмунда-Августа въ «Королевскихъ пѣвцахъ 1856 г.)», а также—выступающія эпизодически, вводныя фигуры: Скарги—въ «Старыхъ Воротяхъ» и гетмана Тарновскаго—въ «Гетманскомъ ночлегѣ». Для славы автора не было бы большого ущерба, еслибы эти произведенія потерялись, хотя по количеству стиховъ и убыла бы въ такомъ случаѣ добрая половина изъ всего что написалъ Кондратовичъ. Привлекательность его не заключается въ томъ, что онъ былъ поэтомъ развалинъ. Тяжкая необходимость заставила всѣхъ поэтовъ

его страны и эпохи—жить среди развалинъ, отдыхать—въ гробахъ, играть черепами и костями, и поступать такъ, какъ «Янко—могильникъ» въ одномъ изъ рассказовъ Сырокомли (III. 72 — 108. Борейковщина. 1856 г.): старый солдатъ, возвратившись въ свою деревню, не находитъ уже ни одной души знакомой, поэтому идетъ на кладбище и тамъ пьетъ въ бесѣдѣ съ умершими братьями; уже окостенѣвшимъ, съ порожней кружкой въ рукѣ, его находятъ на могилѣ. Деревенская толпа, конечно, насмѣялась надъ Янкомъ, какъ надъ безумнымъ.

Такіе «могильники» явились въ польской поэзіи въ немаломъ числѣ, потому именно, что въ извѣстный моментъ установилось общее настроеніе такое, какое соотвѣтствуетъ «задушному дню (*le jour des morts*)». Кондратовичъ появился случайно въ средѣ этихъ поэтовъ и пѣлъ съ ихъ нотъ, пѣлъ вѣрно и усердно, но порою личный темпераментъ бралъ въ немъ верхъ надъ школою, ея дрессировкой и дисциплиной. Тогда, среди мрачнаго хора, къ соблазну консерваторовъ, вдругъ раздавалось бойкое и рѣзкое бряцанье колокольчиковъ съ шутовской шапки Станчика. Иной же разъ, вырывались изъ сердца поэта неожиданно такія правды, такіе призывы къ дѣйствію, которыхъ не постыдился бы и отрицающій исторію радикалъ. Скрытый въ Кондратовичѣ шутникъ нерѣдко непрятно «подводилъ» бывшаго въ немъ же эпика: наконецъ, вмѣщался въ немъ еще и моралистъ который, неизвѣстно какъ просто по инстинкту и отъ доброты душевной—высказывалъ иногда такія заключенія, которыя и не снились историку, стоящему предъ прошлымъ на колѣняхъ. Кондратовичъ самъ не понималъ всего значенія такихъ скачковъ высоко-даровитой его натуры—за предѣлъ тезисовъ, поставленныхъ школою, къ которой онъ же принадлежалъ. Онъ не отдавалъ себѣ отчета, какимъ образомъ совмѣщались въ немъ одновременно и тѣ старинныя, историческія понятія, за которыя дворянская среда должна была прославить его своимъ дѣтищемъ, видѣть въ немъ «кость отъ своей кости»,

и горячія пожеланія, свойственныя тѣмъ людямъ, отъ которыхъ поэтъ держался въ сторонѣ, такъ какъ они, по его мнѣнію, «плюютъ на вѣру, на преданье, на все то, что дорого и свято (Крашевскій, стр. 42)». А между тѣмъ, такое совмѣщеніе въ немъ было и мы постараемся объяснить, какъ въ Кондратовичѣ согласовались традиція съ прогрессомъ и «охранительность» въ идеяхъ— съ радикализмомъ на дѣлѣ.

## VII.

Родившись бѣднымъ шляхтичемъ, поэтъ нашъ воспитался въ условіяхъ постоянной неувѣренности о завтрашнемъ днѣ, заботы о насущномъ хлѣбѣ и непрерывной тяжелой работы. Но родовое вліяніе на немъ всетаки было: изъ него онъ вынесъ отвлеченное понятіе о дворянскомъ равенствѣ и склонную къ подозрительности гордость, заставлявшую его избѣгать всякаго вида зависимости отъ большихъ господъ. Если не себя, то это свое чувство Кондратовичъ олицетворилъ въ Старомъ Бардишѣ, въ разсказѣ «Трензельное (На поводѣ)», написанномъ «для шляхетскаго назиданія» (Борейковщина. 1855 П. 28): «Мнѣ-то что? Плачу я чинши: милостей не жду... Кто живетъ подачкой панской, пусть живетъ здоровъ. Съ кастелланомъ — шутка шуткой: вещь одна мой песь, вещь иная—конь. Я собаку далъ на—память, а платить не смѣй! Вотъ теперь хорошій выстрѣлъ счетъ и поровнялъ... Славно спать на конской шкурѣ—шкуру я возьму. Но барышъ — избави Боже! Дорогъ былъ бы конь».

Богатымъ поэтъ не завидовалъ, самъ о богатствѣ не мечталъ; онъ просто имѣлъ горячее сочувствіе къ всему слабѣйшему, нисшему, словомъ къ той массѣ, надъ которой господствуютъ соединенные элементы рода, денегъ и ума. Такое, чисто—демократическое чувство онъ высказывалъ при каждомъ удобномъ случаѣ,

нисколько не стѣсняясь тѣмъ, что оно не нравится. Въ отношеніи къ вельможнымъ господамъ, стихъ Сырокомли загорался, отдавалъ желчью и иногда даже переходилъ въ ѣдкую сатиру. Это былъ, можно сказать, единственный предметъ, въ отношеніи къ которому Кондратовичъ отступалъ отъ обычнаго своего сатирическаго добродушія, какъ его онъ выразилъ въ шутливомъ стихотвореніи, обращенномъ къ Крашевскому (VI. 203. Залучье 1848 г.): «ужели-жь стихъ—игра, ребячество и только—долженъ разбѣдать намъ внутренность укусомъ и желчью? Я еще почти не пробовалъ такихъ приправъ, но долженъ сказать впередъ, что не люблю ихъ... О еслибъ Іегова въ уста мои вложилъ слова вѣщія, величавыя, тогда я далъ бы побить себя камнями какъ св. Стефанъ. Но нынѣ... Къ чему напрасно лобъ намъ подставлять и наводить сонъ на людей, которые дремлютъ и безъ нашихъ пѣсенъ. Будить же ихъ и возбуждать заботу...? Не стоитъ — пошли имъ Богъ тузовъ побольше въ преферансѣ». Вельможныхъ Сырокомли зналъ только издавѣка, изъ горькихъ воспоминаній, изъ живаго шляхетскаго преданья: «пока шляхетство трудовое—мои святыя предки нужны были магнатамъ тѣмъ, на сеймы и на битвы, они ласкали насъ и вѣжливо поили, и было имя намъ: вы, милостивые братья. Минуло время давнее и нынѣ, средь разныхъ перемѣнъ, паны забыли и любовь и братство. («Подкова» I. 166).

Новыя времена принесли съ собою эксплуатацію, денежное притѣсненіе: «слишкомъ бойко, дружина веселая, ты работала саблей и тянула вино. Въ кубкахъ панскихъ нынѣ муть лишь только осталась, со вкусомъ желчи, для убогихъ братьевъ. А такому бѣда, кто чиншъ не заплатитъ, за луга и за нивы, и за воду, стоящую въ лужѣ; и за кровь надъ главою, и за лучи солнца, и за воздухъ, которымъ мы дышемъ, за цвѣтокъ полевой. оживленный росой. («Кусокъ хлѣба» II. 120)». Кондратовичъ упрекаетъ богатыхъ за ихъ лѣность, излишества и роскошь:

«Часто съ виномъ драгоцѣнный бокалъ,  
Сколько онъ стѣбитъ,—своею цѣною  
Бѣдныхъ бы хлѣбомъ весь годъ пропиталъ»...

(«Демборогъ» I. 77). «Цѣлые морги пшеницы и ржи  
урожай свой сложили на цвѣтокъ, что цвѣтетъ въ во-  
лосахъ знатной дамы.

За цѣну одного освѣщенья  
Залъ богатыхъ, возможно бы было  
Просвѣтить много темныхъ головъ».

(«Годичные дни», V II. 86). Погружаясь въ част-  
ности и слишкомъ замыкаясь въ единосичные типы, са-  
тира однако переходитъ уже въ карикатуру, въ рису-  
нокъ не знающій пропорцій, становится преувеличенной,  
слишкомъ яркой и грубой. Такіе примѣры можно ука-  
зать у Кондратовича въ томъ воеводѣ троцкомъ, который  
велитъ бить нагайкой своего егеря Грицка, за то, что  
тотъ вытащилъ его «мужицкою рукой» за чубъ изъ  
пруда, и въ томъ графѣ де-Вонторы, у котораго: «еди-  
ный хлопъ, но три двора. (Борейковщина. 1856 г. V.  
5 — 54)». Эта двуактная пьеса дана была въ Вильнѣ,  
но многочисленные тамъ «графы Вонторскіе» сговорились  
не быть на представленіи, такъ, что бель-этажъ былъ  
пустъ (Крашевскій 116. Письмо къ Хенцинскому). Впро-  
чемъ, не изъ за чего было и сердиться, такъ какъ это—не-  
винный, хоть нѣсколько пересоленный фарсъ, осмѣиваю-  
щій претензіи въ дырявыхъ сапогахъ.

Но настоящимъ любимцемъ Кондратовича, когда онъ  
не уходилъ въ старину, въ міръ бумажный, былъ не  
панъ и даже не братъ—шляхтичъ, но народъ, то есть,  
самый простой людъ безъ различія исповѣданія и пле-  
мени, самая младшая братья—крестьянинъ съ которымъ  
поэтъ познакомился и побратался съ дѣтства, котораго  
любилъ и всегда готовъ былъ защищать. Однимъ изъ  
первыхъ опытовъ его пера былъ сельскій разсказъ  
«Почтарь (1845 г. Залучье I. 7)». Такъ какъ здѣсь  
было нѣсколько чертъ, живо взятыхъ съ натуры, нѣ-



сколько бойких переливов почтарской трубы, то издатель Т. Глюксбергъ успѣшилъ извѣстить въ газетахъ о появленіи въ послѣдней книжкѣ «*Athenaeum*» «преlestнаго стихотворенія». Эта была для поэта первая печатная похвала, которою ему едва ли не пришлось довольствоваться и во всю жизнь. Онъ отмѣтилъ этотъ фактъ въ записной книжкѣ, какъ приведшій его въ восторгъ, заставившій его благодарить Бога, обнять жену и даже плакать, несмотря на сознаніе, что это была похвала издательская (Тышинскій, стр. 170). Отъ этого момента, когда Кондратовичъ еще только расправлялъ свои неувѣренные крылья и до конца карьеры—сколько онъ нарисовалъ картинокъ съ натуры, сколько типовъ реальныхъ и превосходныхъ въ своей неподкрашенной простотѣ! Корчма и церковныя сѣни, священники, органистъ и народъ, собравшійся подъ костеломъ, жидъ—арендаторъ фермы и отставной служивый, похороны и крестины, и всякіе годичные праздники, дожинки (конецъ жатвы) и починъ—все это поочередно проходить передъ глазами читателя, какъ въ волшебномъ фонарѣ. Эти народныя сцены и фигуры представлены на фонѣ болотъ и топей Полѣсья, такъ гармонирующемъ съ покаянiемъ пасѣчника Ходыки или съ кровавымъ концомъ несчастной шляхетской военной попытки въ 1812 году—въ Улясѣ, а иногда сцены разыгрываются и въ болѣе веселыхъ мѣстностяхъ Литвы, поросшихъ сосной, березой, можжевельникомъ, испещренныхъ пескомъ, изрѣзанныхъ живописными холмами.

Только эти-то виды «въ лѣсахъ Палемона», только этихъ неказистыхъ людей, въ волчьихъ шубахъ и лаптяхъ, людей грубоватыхъ и нескладныхъ, но правдивыхъ и умѣлъ рисовать Сырокомля. Какъ только онъ пробовалъ вылетать въ свѣтъ болѣе широкій, за предѣлы этихъ простаковъ и этихъ пейзажей, пробовалъ сдѣлаться польскимъ Чайдъ-Гарольдомъ (1858 и 1859 гг.) и воспѣть свои впечатлѣнія изъ путешествія по отечественнымъ землямъ, — то испыталь неудачу. На мато-

вомъ стеклѣ той камер-обскуры, при помощи которой онъ работалъ, не выходили тѣ скульптурныя черты, какими Винцентій Поль распоряжался столь свободно, не отражались ясно ни тѣ края и мѣста, освященные исторіею, которые онъ посѣтилъ, ни тѣ историческіе призраки, которые на долгій рядъ вѣковъ къ тѣмъ мѣстамъ приколдованы. Правда, и въ его путевыхъ впечатлѣніяхъ есть много нотъ соловьиныхъ, много остроумныхъ сопоставленій и выходовъ противъ нѣмцевъ, заливающихъ край съ запада, но только нѣтъ того, что могло бы быть схвачено лишь съ высоты орлинаго полѣта и притомъ — глазомъ, привычнымъ къ такому собиранію. Возвышенныя сферы вообще не были предназначены для таланта Кондратовича; тѣ предметы и отношенія, которые онъ зналъ хорошо и любилъ, были простые и мѣстные.

Случилось такъ, что сердечныя его симпатіи склонялись въ ту самую сторону, куда несло подземнымъ русломъ теченіе самого вѣка, въ которой представлялась задача того времени. На современникахъ его, людяхъ сороковыхъ годовъ, тяготѣлъ крестьянскій вопросъ, какъ загадка, какъ узелъ, который слѣдовало развязать. Немного возможно было въ то время говорить объ этомъ вопросѣ, еще менѣе—писать. Но не было той юной головы, которая бы не занималась разрѣшеніемъ его, на основаніи историческомъ,—экономическомъ или какомъ-либо иномъ. Экономистомъ Кондратовичъ не былъ, приискивать же доводы—въ теоріи права или заимствовать ихъ путемъ историческимъ — отъ воина, проигравшаго битву при Мацѣйовицахъ (Косцюшки), или отъ какихъ либо мечтателей, занимавшихся судьбою крестьянъ въ прошломъ или настоящемъ столѣтіи — ему не предстояло нужды. Великій вопросъ былъ самымъ кореннымъ образомъ рѣшенъ въ его душѣ, безъ помощи діалектики, — однимъ нравственнымъ чувствомъ. Въ отношеніи къ этому дѣлу, Кондратовичъ уже не считалъ свой стихъ — игрушкой, то есть плодомъ чистаго искусства, какъ въ примѣне-

ни къ инымъ вещамъ; здѣсь онъ чувствовалъ что и какъ поэтъ, онъ имѣетъ предъ собой гражданскій долгъ, за который и далъ бы побить себя камнями, какъ св. Стефанъ. Въ первыхъ же своихъ «Поѣздкахъ», Сырокомля пятналъ дворянское право бича; неразъ онъ скорбитъ, что «тамъ князь, здѣсь панъ, а тамъ еще судья граничный, иль депутатъ въ дорожномъ комитетѣ, всякъ на тронѣ своемъ разсѣвшия спѣсиво, ременнымъ скипетромъ творить судъ надъ вассалами (1858 г. Вильно. 126)». Еще въ Залучи, Кондратовичъ проклиналъ винокурни (VII. 164) и подъ самый конецъ своей жизни еще давалъ совѣтъ: «соберитесь хозяева, вы идите толдой—заорать глубоко ту дорогу, что березкой идетъ отъ села—да въ корчму. Забороньте конемъ, вы засыпьте руками. Пусть и слѣдъ и названье той дорожки исчезнутъ; а взойдетъ на ней колосъ—станетъ легче всѣхъ (VII. 218. 1860 г.)». Наконецъ, еще къ очень ранней порѣ творчества Сырокомли относится и та чудесная сатира, въ формѣ дѣтскаго разсказа «Кукла», такъ непохожая на то, что онъ писалъ обыкновенно, немилосердно бичующая обычаи и сословіе, хотя онъ и не принадлежалъ къ сонму тѣхъ мастеровъ слова, которыхъ призваніе бичевать пороки и фальшь: «ты, куколка моя, еще не знаешь: мы—господа, а есть другіе люди, то — мужики, такъ ихъ зовутъ; а боженька работать на господъ велѣлъ имъ строго — строго... Папá лошадокъ любить, мама любить шпича, а мужиковъ бранять всѣ, часто бьютъ, и право, даже жалко... зачѣмъ же вѣчно ихъ? Ведутъ себя, должно быть, очень худо... Вотъ и вчера: папá послѣ обѣда заснулъ себѣ; ну, развѣ хорошо: пришли, весь полъ запачкали, орали, какъ медвѣди: дай хлѣба намъ, пандочку, дай намъ хлѣба! Зачѣмъ имъ захотѣлось вдругъ? Ну, и велѣли ихъ посѣчь — и чтожъ? вѣдь по-дѣломъ».

На крестьянскій вопросъ, Кондратовичъ, конечно, смотрѣлъ какъ поэтъ, не вдаваясь въ его условія, сложность и трудности; вопросъ у него рѣшался моменталь-

но при помощи одного чувства, была бы только добрая воля. Отсюда у него произросла и повторялась идиллія— продолженіе тѣхъ, подобныхъ же идиллій, какими у насъ, еще ранѣе его, занимались умы ясные и трезвые, начинающая отъ Красицкаго въ «Панъ Подстолий» до Т. Массальскаго — въ «Панъ Подстольничъ», а отъ этого послѣдняго—до второй части Иордана. Такъ у Кондратовича произошли: конецъ «Хатки въ лѣсу (1855 г. Борейковщина. IV. 241 — 340)» и «Деревенскіе политики (VI. 139—199)», произведенія, которыя, вмѣстѣ съ недоконченными отрывками (1860—1862 гг. Вильно), которымъ еще не было дано названія, составляли опыты поэта въ области современной комедіи. Отношенія къ театру явились послѣ того, какъ изъ своей глуши, онъ переселился въ столицу Литвы, откуда видъ былъ уже шире. Такъ какъ Кондратовичъ очень дорожилъ внѣшними заявленіями сочувствія, то сцена составляла для него большое искушеніе, сулившее въ одну минуту болѣе упоенія, чѣмъ всѣ газетныя рецензіи, взятая вмѣстѣ. Искушеніе одержало верхъ, а при талантѣ, который по-злащаль все, къ чему онъ ни прикоснулся, понятно, что публикѣ могла понравиться и «драматическая странность», сотворенная, такъ сказать,—изъ ничего. «Хатка въ лѣсу», это—вещь безъ характеровъ, безъ всякой завязки и дѣйствія, просто — нѣсколько діалоговъ, связанныхъ лирическою нитью; она состоитъ изъ восторговъ, надеждъ и разочарованій героя пьесы Генриха, въ которомъ поэтъ изобразилъ себя. Генрихъ ведетъ записки и гонить издателя, предлагавшаго ихъ купить. Но въ Генриха влюблена дочь маршалка Марія и мечтаетъ о счастьи съ нимъ, хотя-бы въ хаткѣ—въ лѣсу. Генрихъ, подъ этимъ вліяніемъ, продаетъ издателю свои записки, «сокровище своей души» и покупаетъ предлагаемый ему обманщикомъ дрянной кусокъ земли. Тамъ онъ строитъ домъ и затѣмъ, обращается къ Маріи съ предложеніемъ раздѣлить съ нимъ этотъ рай. Но прошло уже годъ, и Марія забыла о своей фантазіи; Ген-

риху она отказывается и только беретъ себя въ альбомъ рисунокъ его хатки.

Такъ и кончалась эта картинка. Но художественный смыслъ подсказалъ автору, что нельзя возбудить сочувствія къ герою тѣмъ только, что онъ далъ себя обмануть дѣльцамъ и женщинѣ. Въ маѣ 1855 г. окончена была первая часть «Хатки», а въ декабрѣ поспѣла уже и вторая, смагчающая непріятное впечатлѣніе первой и развивающая положительную сторону идеаловъ поэта на тему Горация: «*hoc erat in votis: modus agri, non ita magnus hortus, ubi et tecto vicinus aquae fons. Et paululum sylvae super his foret* <sup>1)</sup>». Понесши великія неудачи, Генрихъ однакоже преобразился въ земледѣльца, изъ хатки въ лѣсу сдѣлалъ прекрасную мызу, а изъ всей окрестности, которой онъ сталъ благодѣтелемъ—нѣчто въ родѣ общественнаго рая. Сосѣди его любятъ, окрестные крестьяне боготворятъ. И вотъ, неожиданный, разумѣется, случай происходитъ, какъ разъ на землѣ Генриха, съ коляской, въ которой маршалокъ везетъ за границу свою скучающую дочь. Въ душѣ ея оживаетъ прежнее чувство, при видѣ этой жизни, соединенной съ разумной дѣятельностью. Марія проситъ у Генриха прощенія, а отецъ, послѣ вкуснаго обѣда, благословляетъ. Тотъ лиризмъ, которымъ оживлена первая часть «Хатки», изображающая борьбу поэта во всякими неудачами, оказывается уже изчерпаннымъ во второй части, гдѣ поэтъ понастроилъ свои идеалики, блѣдныя, слабыя, не превышающіе простаго оказыванія взаимныхъ услугъ сосѣдями.

Одновременно выступили и тѣ недостатки, которые уже затѣмъ повторялись и во всѣхъ сценическихъ произведеніяхъ Кондратовича, недостатки, которые вообще дѣлали его неспособнымъ къ драматическому призванію. Драматическія произведенія его положительно относятся къ французской школѣ, выводящей на сцену общіе ти-

---

<sup>1)</sup> Вотъ что было въ желаніи: немного поля, небольшой садъ, гдѣ и близко отъ дома—источникъ. И немного лѣса, чтобы было на нихъ.

пы, долженствующие цѣльно представлять то или другое свойство, а не къ той школѣ, какую составляютъ послѣдователи Шекспира—если только позволительно собрать ихъ въ одну школу, отличительной чертою которой было бы въ такомъ случаѣ—не выведеніе на сцену фигуръ, обозначенныхъ какимъ — либо общимъ ярлыкомъ, но—созданіе единичныхъ личныхъ типовъ, гораздо болѣе сложныхъ и разнообразныхъ, а тѣмъ самымъ и болѣе живыхъ. Кондратовичъ же, слѣдуя французской манерѣ, еще преувеличиваетъ ее, и вотъ гдѣ его коренная слабость. Каждый типъ у него обрисовывается впередъ, опредѣленно и ярко, каждый самъ какъ-бы рекомендуетъ себя публикѣ: я—моль—вотъ какой, у меня вотъ какіе вкусы и пороки. Разъ выведенный на сцену, каждый типъ неуклонно исполняетъ данную ему должность, не поддается никакимъ измѣненіямъ—вплоть до развязки. Зато же самая развязка въ томъ и состоитъ, что съ выведеннымъ характеромъ происходитъ внезапная переменъ, которая и заключаетъ въ себѣ правоученіе пьесы. Наговорившись и наспорившись съ другими лицами—представителями иныхъ свойствъ или направленій, главное лицо пьесы, подъ конецъ ея, безъ достаточной къ тому причины, вдругъ измѣняетъ свои взгляды и привычки, дѣлается сразу инымъ человекомъ. Такъ Вонторскій даетъ согласіе Пахоловецкому, Гноинскій прощаетъ сыну, Елена—своему жениху, а Марія превращается въ Магдалину. Такая портретная вырисовка дѣйствующихъ лицъ, вмѣсто того, чтобы дать имъ выразиться въ самомъ дѣйствіи, такое отсутствіе неизбежныхъ измѣненій въ характерахъ подъ вліяніемъ взаимодѣйствія, а затѣмъ — внезапныя метаморфозы въ наклонностяхъ и жизни—лишали произведенія Кондратовича качествъ необходимыхъ для сцены. «Хатка въ лѣсу» понравилась, но только — своими прелестными лирическими отрывками и добрыми, чело-вѣчными намѣреніями, какія въ ней вложены.

Между тѣмъ, событія шли быстро: крестьянскій просъ, доселѣ бывший лишь призракомъ, который вызы-

вался заклинаніями, сталъ вдругъ дѣйствительностью и раздѣлилъ общество на два лагера. Кондратовичъ, конечно, не могъ оставаться равнодушнымъ къ ходу того дѣла, отъ котораго зависѣла вся будущность края. Онъ выступилъ съ новой, тенденціозной пьесой, которая была прямо—*pièce de circonstance*; это—написанная въ 1858 г. и игранная въ Вильнѣ въ 1859 году, комедія: «Деревенскіе политики». Борьба между двумя направленіями проникла уже въ область семьи, разъединила старое и молодое поколѣнія. Здѣсь, Стефанъ, сынъ судьи, представляетъ собой повтореніе типа Генриха въ «Хаткѣ», но взятое уже въ иномъ фазисѣ; Стефанъ мечтаетъ, что уже наступила заря обновленнаго міра: «духъ божій самъ стучится въ окна крестьянскихъ избъ». Отецъ этого мечтателя такъ былъ поглощенъ газетной политикой, что даже забылъ уплатить въ срокъ въ банкъ, гдѣ заложено имѣніе. Но на мечтанія своего сына о прогрессѣ, судья смотритъ недоувѣрчиво: «прогрессомъ съ мужичьемъ не далеко дойдеть—начнетъ пороть, какъ всѣ, жида въ корчмѣ посадить, за дѣвками начнетъ охотиться и онъ, а вмѣсто шеолы будетъ винокурня». Рядомъ съ этимъ байбакомъ и банкротомъ, поставленъ другой типъ: «исправнаго», по старинному, помѣщика, скопидома, практическая мудрость котораго выражается такимъ образомъ: «хочетъ водки мужикъ; дай ему водки, онъ за—второе скоситъ. Жидъ же не тѣмъ нехорошъ, что мужикъ у него разопьется; вредъ его тотъ, что себѣ онъ беретъ напѣ законный доходъ. Я въ корчму не пускаю жида—не хочу съ нимъ дѣлиться». Этотъ помѣщикъ—пріобрѣтатель, пожалуй, и отдалъ бы свою дочь сыну судьи, видя, что молодой человѣкъ хозяйничаетъ прекрасно. Но имѣніе судьи уже назначено къ продажѣ съ торговъ, и сосѣду гораздо выгоднѣе купить это имѣніе за безпѣнокъ, чѣмъ выдать дочь за банкрота. Дѣло однако устривается такъ, что недоимку вносятъ крестьяне, желая, чтобы остался прежній помѣщикъ. Стефанъ объявляетъ тогда, что отдаетъ имъ землю на чиншевомъ правѣ. Казалось бы, что это

справедливо, такъ какъ помѣщикъ удержалъ имѣніе только по милости, крестьянъ. Сосѣдъ—практикъ не одобряетъ, разумѣется, такой уступки, но въ концѣ, въ силу одной изъ тѣхъ внезапныхъ переменъ, которыя Кондратовичъ допускалъ такъ легко, мирится и съ этимъ: «ты съ чиншемъ, юноша, немного поспѣшилъ; потери, впрочемъ, я большой не вижу: ты нравственность крестьянъ под-  
нялъ, а это также можетъ дать доходъ».

Пьеса это, хотя и написанная, «на случай», но построенная слабо и слишкомъ боязливая по мысли, не могла, разумѣется, послужить программой для будущаго, получить такое значеніе, какое имѣло, въ свое время «Возвращеніе депутата съ сейма»—Нѣмцевича. Комедія Кондратовича обозначила собой не больше, какъ только мимолетный моментъ въ настроеніи общества, переходный моментъ между тѣми десятками лѣтъ, когда вовсе нельзя было касаться вопроса о положеніи крестьянъ—и временемъ самаго изданія уставовъ о ихъ освобожденіи, тѣмъ временемъ, которое произвело столь коренную переменъ въ общихъ условіяхъ, что и самое обращеніе крестьянъ на оброкъ или на чиншъ представлялось уже дѣломъ отсталымъ. Тотъ или иной видъ зависимости крестьянъ отъ помѣщиковъ уступили мѣсто рѣшительному отдѣленію однихъ отъ другихъ, за которыми ихъ могли связывать уже только сосѣднія отношенія. Началась чрезвычайно важная подготовительная работа въ губернскихъ комитетахъ, составленныхъ изъ землевладѣльцевъ и членовъ отъ правительства. Въ настоящее время нельзя не признать, что только небольшое число членовъ въ этихъ комитетахъ понимали историческое значеніе того момента и огромную важность происходившихъ въ комитетахъ постановокъ того или другаго изъ частныхъ вопросовъ. Большинство, въ сущности, хотѣли подъ самыми благо-  
видными предлогами, удержать въ своихъ рукахъ ту рабочую силу, которую боялись потерять.

Посреди такихъ, вчерашнихъ еще прогрессистовъ, которые, подъ давленіемъ момента, обращались почти въ



реакціонеровъ, Кондратовичъ съ удивительнымъ яснovidѣніемъ уразумѣлъ необходимость рѣшенія радикальнаго. Къ негодованію, что то мѣстное общество, о готовности котораго къ жертвамъ онъ ранѣ имѣлъ столь высокое понятіе, стало колебаться, Кондратовичъ разразился полнымъ гнѣва стихотвореніемъ «На освобожденіе крестьянъ», въ которомъ поэтъ оказывался гораздо болѣе способнымъ въ данномъ случаѣ политикомъ, чѣмъ опытные калькуляторы и авторитетные ораторы въ комитетахъ: «Я полагалъ—напрасно крикуны бросали грязь въ имя дворянина; я думалъ—завтра, послѣзавтра скажутъ, что насъ не даромъ «благородьемъ» звали... А между тѣмъ—О край родимый мой, кто изорвалъ вѣнокъ твой благородный—отцы твои, своими именами, въ исторію внесли постыдный примѣръ практическаго попеченія о крестьянахъ. Мнѣ стыдно за тебя, о Вильно, не хочу я быть литвиномъ; со стыдомъ смотрю—на гербъ на дѣдовской печаткѣ».

## VIII.

Этотъ дворянинъ—«хлопоманъ», не забывшій о гербѣ своего рода даже въ ту минуту, въ которой изрекалъ осужденіе «уѣзднымъ отцамъ», впадалъ въ гнѣвъ и страсть не столько тогда, когда отрицались его убѣжденія, сколько—когда наносилось оскорбленіе его демократическому чувству, болѣе сильному въ немъ, чѣмъ сословный духъ, въ какомъ онъ воспитался. Въ текущія дѣла Кондратовичъ вмѣшивался лишь въ исключительныхъ случаяхъ и то урывками, преимущественно въ защиту сельскаго люда, котораго онъ былъ адвокатомъ и представителемъ на Парнассѣ. На иныя цѣли и задачи ему недоставало той ѣдкой и непроходящей злости, которая, при наличности поэтическаго дарованія, и создаетъ сатиру нравовъ. Въ приведенныхъ уже стихахъ къ Крашевскому (Залучье, 1848 г. VI. 201), онъ самъ признается, что

не любить приправъ изъ уксуса и желчи и не чувствуетъ призванія «раздирать себѣ внутренности, чтобы произвести на свѣтъ свой трудъ, окровавлять бѣдное сердце, потрясать нервъ за нервомъ, кипятить мозгъ такъ, что онъ едва не разрываетъ черепа, и въ этомъ видѣ, съ истерзанной грудью и разбитой головой, подобно безумцу, неистовствовать надъ перемаранной черною». Нашъ поэтъ писалъ не такъ: стихи его лились легко, въ минуты внезапнаго вдохновенія, въ формѣ вполне отдѣланной и наилучшими были именно тѣ, которые сложились такъ, сами собой. Въмѣсто гложущей злости природа дала ему даръ, быть можетъ, менѣе полезный для общества, но болѣе пріятный, а именно такой неисчерпаемый запасъ веселости, такое блестящее остроуміе, такую способность смѣшнить, просто — смѣха ради, что волшебникъ этотъ своей скромной лирой могъ поочередно заставлять слушателей то плакать, то пускаться въ плясъ. Въ фантазіи его, подвижной, какъ волна, предметы отражались каждую минуту иначе, смотря по его личному настроенію. Можно сказать, что онъ владѣлъ рѣдкимъ свойствомъ схватывать всякую тему съ двухъ сторонъ и представлять ее, по волѣ, то со стороны серьезной и патетической, то со стороны забавной. Въ произведеніяхъ Кондратовича, особенно при составленіи вещей болѣе старательно обработанныхъ съ летучими набросками, встрѣчаешься съ такими противоположностями, что недоумѣваешь, какъ могъ ихъ написать одинъ человѣкъ и написать притомъ нисколько не измѣнивъ ни убѣжденій своихъ, ни направленія. Такую рѣзкую противоположность представляютъ именно тѣ выходки, которыя художникъ позволялъ себѣ, лично для себя, когда его занимала какая-нибудь новая мысль; то были какъ бы частныя, фамиллярныя выходки противъ того, что онъ же писалъ при отправленіи своей должности Аполлонова жреца.

Извѣстно, что Кондратовичъ былъ человѣкъ глубоко религіозный, а между тѣмъ, у него вырвался же стихъ, что стоявшіе подъ крестомъ чувствовали голодъ (1859. VII.

173). Сравнимъ также заботливо обработанный, полный величія образъ Сигизмунда III, исповѣдующагося у Скарги, въ «Старыхъ воротахъ» (1856. III. 9), съ той картинкой, которая находится въ «Впечатлѣніяхъ странника» (1858. VII. 141), видящаго фигуру того же короля на краковскомъ предмѣстьѣ: «Съ крестомъ и саблею, онъ съ высоты колонны, кичится безтолковыми дѣлами, и будто говоритъ: народъ, народъ—я выострилъ тотъ мечъ, которымъ ты пронзенъ; а крестъ мой вырѣзанъ рукою іезуитской и ты на немъ самъ за грѣхи казнь примешь». Еще болѣе любопытный матеріалъ для такого противопоставленія имѣется въ загадочномъ стихотвореніи Кондратовича «Прошедшее», найденномъ уже по его смерти и напечатанномъ въ «*Kalendarzu Illustrowanym*» Яворскаго на 1874 г. Стихотвореніе это помѣчено такъ: w Zacierzewie, 1851. Зацержевъ, это—усадебъ залучскихъ сосѣдей Кондратовича—Пашкевичей, и имя этой мѣстности находится на многихъ стихотвореніяхъ, написанныхъ до перѣзда поэта въ Вильно (X. 331—334). Что оно дѣйствительно могло быть написано въ Зацержевѣ, это подтверждается и указаніемъ на 1851 годъ. Эти стихи, прежде всего, непріятно дѣйствуютъ какимъ-то особеннымъ оптимизмомъ «нынѣ, когда дышется такъ легко, когда мы любимъ другъ друга свободно», тогда какъ Кондратовичъ вовсе не былъ оптимистомъ, а еще менѣе эпикурейцемъ. Затѣмъ, въ стихахъ этихъ проявляется удивительное отношеніе къ прошедшему Польши. Во всю свою жизнь, поэтъ колѣнопреклоненно взывалъ къ «святому прошлому». Въ такомъ настроеніи онъ былъ при концѣ жизни, но въ такомъ же онъ и началъ свою дѣятельность, когда, еще въ Залучи (1845 г. VI. 157), онъ шелъ, съ свѣчею погребальной—къ могиламъ отцовъ, чтобы отыскать въ прахѣ ихъ костей все великое и благородное, и возвратиться съ великой исторической пѣснью. Не разъ выставлялъ онъ какъ верхъ геройства—самопожертвованіе женщины, которая, изъ любви къ странѣ или народу, соглашалась на бракъ безъ любви.

Внезапно, и неизвѣстно по какой причинѣ, поэтъ обрушивается на это, прежде и послѣ обожавшееся имъ прошедшее и упрекаетъ его за скандалы, ссоры и развратъ—виѣ дома, а въ домѣ—за неравноправное положеніе женщины; словомъ—за разные такіе грѣхи, которые тяготятъ вовсе не надъ одной польской исторіей, но составляютъ общій скорбный листъ всѣхъ націй въ средніе вѣка. Стихотвореніе «Прошедшее» до такой степени отличается отъ всего написаннаго Кондратовичемъ, что многіе—и въ ихъ числѣ г. Коротынский, котораго показаніе изложено далѣе въ выноскѣ—видятъ въ этомъ произведеніи выдержанную иронию, вещь написанную для осмѣянія неправедныхъ судей прошедшаго. Съ такимъ взглядомъ трудно согласиться: въ стихахъ этихъ не чувствуется тона ироніи, напротивъ они кажутся написанными совершенно серьезно. Слѣдуетъ принять во вниманіе, что 1851 годъ имѣлъ большое значеніе въ исторіи умственнаго развитія поэта. Это тотъ памятный годъ, когда онъ побывалъ въ Вильнѣ (Крашевскій. 52. Январь 1851 г.) и когда его часто посѣщали въ Залуччи молодые, университетскіе пріятели (стр. 45. Августъ 1851 г.). Въ это время Кондратовичъ почти—было втянулся въ водоворотъ борящихся умственныхъ партій и очутился лицомъ къ лицу съ самыми новыми теоріями въ областяхъ религіи, исторіи и общественнаго быта. До того момента, когда у него голова разболѣлась отъ прогрессистскихъ криковъ, прежде, чѣмъ онъ рѣшительно устранился и отъ реакціонныхъ консерваторовъ, и отъ насильственныхъ реформаторовъ, онъ долженъ былъ, хоть разъ, испытать на себѣ искушеніе и поддаться тому обаянію, съ какимъ представляется молодому, легко воспламеняющемуся воображенію самая смѣлость новыхъ взглядовъ. Легко могло случиться, что послѣ одного изъ такихъ жаркихъ диспутовъ, подъ вліяніемъ захватившей его бури новыхъ мыслей, онъ и попробовалъ начертить свойственнымъ ему образомъ, ту, несходную съ прежней, перспективу, какая передъ нимъ на минутъ раскрылась. За-

тѣмъ, оставшійся слѣдъ того момента, когда поэтъ поигралъ съ разрушительнымъ стремленіемъ вѣка, былъ или заброшенъ, или спрятанъ въ столъ, а та гармонія, которая характеризовала его душу, не дала ему унестись въ безбрежное море мечтаній о передѣлкѣ человѣчества, и вотъ онъ возвратился къ прежнему настроенію и къ своимъ всегдашнимъ привязанностямъ. Этотъ позабытый листокъ однако нашелся послѣ смерти поэта, и не вредя его славы, представляетъ собой лишь еще одну дополнительную черту для его характеристики, доказываетъ, что человѣкъ этотъ могъ превращаться, какъ Протей, и отзывался, какъ эхо, на всѣ голоса своего времени <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Такъ какъ стихотвореніе Кондратовича «Прошедшее», при появленіи въ календарѣ Яворскаго, вызвало разныя сужденія и споры, то предшествующее мѣсто настоящаго очерка было въ свое время сообщено г. Коротыньскому, издавшему первое полное собраніе сочиненій поэта. Содержаніе отвѣта, присланнаго г. Коротыньскимъ приводимъ за симъ въ сокращеніи.

Въ 1871 году, въ то время, когда г. Коротыньскій былъ занятъ изданіемъ поэзій Кондратовича въ пользу семьи послѣдняго, издателю было доставлено изъ Минска отъ г. Камилла де-Белльѣ значительное число стихотворныхъ набросковъ Сырокомли, находившихся въ рукахъ жены г. де-Белльѣ, урожденной Пашкевичъ. Почти всѣ они были написаны въ Зацержевѣ, на какой-нибудь случай. Нѣкоторые изъ этихъ, небольшихъ вещицъ г. Коротыньскій помѣстилъ въ полномъ собраніи стихотвореній, какъ имѣвшія художественное значеніе, но «Прошедшее» помѣщено не было, за неимѣніемъ достаточныхъ разъясненій со стороны приславшихъ. Впослѣдствіи г. Коротыньскій напечаталъ его въ редактированномъ имъ же «календарѣ Яворскаго», безъ всякихъ комментаріевъ, такъ какъ самая мысль этого произведенія ему казалась совершенно ясною. Однако, вслѣдствіе возникшихъ недоразумѣній, сама г-жа де-Белльѣ, въ отвѣтъ на запросы двухъ знакомыхъ, сообщила слѣдующія фактическія подробности: Кондратовичъ въ 1851 году ѣздилъ въ Вильно, по дѣламъ своей аренды въ Залучы, и аренды своихъ родителей Тулонки, зависѣвшихъ отъ управленія радзивиловскими имѣніями, которое находилось въ Вержахъ. Въ Вильнѣ разныя общественныя обстоятельства подѣйствовали на поэта подавляющимъ образомъ. Въ такомъ настроеніи онъ пріѣхалъ въ Зацержевъ, гдѣ жила г-жа Пашкевичъ съ двумя дочерьми, изъ которыхъ одна (г-жа Іозефина де-Белльѣ) и сообщаетъ эти свѣдѣнія. Молодые дѣвушки знали, что лучшимъ средствомъ, чтобы вывести Кондратовича изъ такого тяжелаго нравственнаго состоянія, было — противорѣчить ему, начать съ нимъ спорить. И вотъ, онъ сталъ ему доказывать, что въ старыя времена, въ Польшѣ, «не умѣли любить, а слѣдовательно не могло тамъ и быть ничего хорошаго». Кондратовичъ не могъ переспорить своихъ собесѣдницъ, но взялъ въ руки перо и набросалъ тѣ стихи, о которыхъ идетъ рѣчь, и которые такъ въ Зацержевѣ и остались.

IX

Силу свою въ родѣ сатирическомъ или комическомъ Кондратовичъ сознавалъ вполне, но онъ смотрѣлъ на поэзію серьезно, не хотѣлъ быть шуткомъ, какимъ иногда является Гейне, и если отдавался цѣликомъ веселому настроенію, то—только въ ближайшемъ, тѣсномъ кружкѣ, набрасывая стихи, которые, хотя и были впоследствии напечатаны, но первоначально для печати не предназначались. Таковы были сперва стишки на разные случаи, шутки надъ знакомыми, пародіи прощанія Чайдъ Гарольда (VI. 126) и Горациевой оды (*Quem tu Melpomene semel*): «кому ты, муза, сядешь разъ на шею, тотъ ужъ пристрастится къ такому занятію, какъ складываніе стиховъ, подъ деревомъ или надъ прудомъ, лежа кверху животомъ своимъ тощимъ» (Залучье. 1844 г. VI. 143). Затѣмъ пошли шутилывыя посланія къ товарищамъ—литераторамъ и забавныя переодѣванья боговъ и героев Греціи и Рима, какъ въ опереткахъ Оффенбаха, но съ большимъ вкусомъ и безъ элемента нескромности. Такъ, у него Эней шествуетъ размахисто, покуривая короткую дюльку, въ тирскія палаты Дидоны (VI. 277); Овидія везутъ въ Пинскъ, а Юлія, дочь Августа, кокетничаетъ съ юнкеромъ преторьянской гвардіи (VII. 254). Эту неисчерпаемую веселость можно было примѣнить съ большою пользою для искусства. Уже и самая пародія несомнѣнно входитъ въ область искусства и хотя не занимаетъ въ ней

---

И такъ, по убѣжденію г. Коротынскаго, стихи эти составляютъ не приговоръ надъ прошедшимъ, но наоборотъ—защиту его, въ формѣ иронической. Затѣмъ, онъ сопоставляетъ неуважительные отзывы въ этомъ стихотвореніи о прошломъ вообще, а также о нѣкоторыхъ историческихъ лицахъ, какъ напр. о Янѣ и Яковѣ Собѣскихъ, съ полными уваженіями его же отзывами о тѣхъ же дѣлахъ и лицахъ—въ иныхъ его произведеніяхъ. Происшедшее недоразумѣніе г. Коротынской приписываетъ лишь неточности нѣкоторыхъ выраженій и наконецъ, напоминая о своей дружбѣ съ Кондратовичемъ, отклоняетъ всякую мысль, чтобы обнародованіе упомянутыхъ стиховъ могло быть сколько-нибудь несогласно съ уваженіемъ къ поэту.

высокаго мѣста, однако требуетъ особаго таланта. Кондратовичъ владѣлъ имъ въ высокой степени отъ природы, но не могъ дать ему развиться, потому что современники были болѣе склонны къ увлеченіямъ и восторгамъ, нежели къ осмѣянію, и несомнѣнно усмотрѣли бы въ томъ измѣну, еслибы художникъ занялся не отливкой изъ бронзы—великихъ историческихъ фигуръ, а вырѣзываніемъ ихъ изъ картона и одѣваніемъ ихъ въ шутовское платье. Кондратовичъ былъ слишкомъ хорошій патріотъ, чтобы дерзнуть на подобное кощунство, хотя бы даже для шутки. Самое болѣе въ этомъ направленіи, на что онъ рѣшался, было—выводить въ смѣшномъ видѣ какого-нибудь обознаго или мародера, или такую фигуру, которая уже въ преданіи представляется забавной, въ родѣ напр. графа (комеса) де-Вонторы или сторожеваго рыцаря Белины (П. 332 Борейковщизна. 1856 г.), какого-либо чудака или глупца, обратившихся уже въ поговорку. Народныя поговорки послужили Кондратовичу источниками для лучшихъ его разсказовъ: Матыска, Заблоцкаго, нищаго по ремеслу и въ особенности—пана Марка, блуждающаго по аду. Маркъ былъ при жизни нахлѣбникомъ магнатовъ и вотъ, въ аду они не хотятъ его знать, шляхта отъ него отворачивается, а крестьяне бѣгутъ прочь, такъ, что онъ осужденъ на всю вѣчность скитаться одинокимъ. Потомъ онъ идетъ кланяться сосѣдямъ изъ дворянъ, но оттолкнутый и шляхтой и крестьянами, опять пойдетъ предлагать свою службу панамъ (1852 г. I. 332).

При разработкѣ поговорокъ, Кондратовичъ напалъ на мысль дѣйствительно глубокую, на богатую, почти нетронутую руду: ему захотѣлось возстановить репутацію одного изъ такихъ историческихъ, вошедшихъ въ поговорку глупцовъ, а имѣнно Филиппа изъ Коноплей, котораго имя обратилось въ названіе для всякой неумѣстной и несвоевременной выходки. Мысль эта пришла ему вскорѣ по переѣздѣ въ Вильно (1853 и 1854 г.), но долго она не отличалась у него въ подходящую форму. Въ письмѣ къ Кра-

шевскому (стр. 78), онъ говоритъ: «жду пока чернила вскипятятся въ чернильницѣ. Изъ почтеннаго Филиппа сдѣлали посмѣшище за то, что онъ «выскочилъ» съ чѣмъ-то некстати. Мнѣ кажется, что это былъ человѣкъ не низшій, а высшій по развитію, чѣмъ его современники. Сказалъ онъ что-нибудь крайне умное, но такъ какъ тогдашнее общество не было приготовлено къ выслушиванію такихъ истинъ, то его осмѣяли и имя его обратили въ поговорку. Бываетъ такъ, что именно умственное превосходство наказывается осмѣяніемъ». Наконецъ, сложилась маленькая поэма изъ семи отрывковъ съ эпилогомъ, представившая рельефные моменты изъ жизни почтеннаго, но непрактичнаго человѣка, который говоритъ прекрасныя вещи, но вѣчно — не къ мѣсту и не впопадъ. Еще въ школѣ, гдѣ пастеры знакомятъ его съ мифологическими богами, онъ возстаетъ противъ нихъ и за это пріемлетъ розги; потомъ, онъ защищаетъ жидовъ отъ насилія и за это слыветъ вождемъ Израиля; вмѣсто того, чтобы жениться на красивой и богатой дѣвушкѣ, онъ самъ посягаетъ ей, изъ доброты, выйти за своего соперника; находясь на службѣ у воеводы, онъ на выборахъ подаетъ голосъ за противника своего патрона, вслѣдствіе чего воевода его прогоняетъ, а на пирѣ у противника онъ всетаки не приглашенъ. Далѣе, попавъ въ депутаты на сеймъ, Филиппъ на банкетѣ провозглашаетъ тостъ за здоровье крестьянъ и объявляетъ, что потребуетъ на сеймѣ предоставленія имъ равноправности и внесетъ предложеніе объ обложеніи дворянстваналогами; тогда дворяне бьютъ его и рубятъ; напоследокъ, уже передъ смертью, онъ догадывается замѣтить приходскому священнику, что грѣхъ брать десятину съ бѣдной деревушки и что не всякъ, кто соблюдаетъ посты, получить спасеніе; и вотъ священникъ не даетъ ему отпущенія грѣховъ (II 154. 170). Заслуживающій уваженія, добрый, но несчастливый панъ Филиппъ, это — одна изъ самыхъ удачныхъ фигуръ Сырокомли, созданная притомъ почти изъ ничего, такъ какъ поговорка дала ему только одно имя, съ краткимъ допол-



неніемъ, что человѣкъ дѣйствовалъ невольно. Такая тема какъ бы напрашивалась на фарсъ: авторъ менѣе талантливый и вывелъ бы изъ нея какого-нибудь запальчиваго дурака, придумавъ для него разныя комичныя положенія. Кондратовичъ взглянулъ на тему серьезно, и неумѣстности, служившей посмѣшищемъ, придавъ значеніе преждевременности, превосходства надъ вѣкомъ.

Изъ такой постановки предмета могла выйти широкая историческая сатира. Если Филиппъ изъ Коноплей подвергся всеобщему осмѣянію за то, что мыслить гуманно и выступалъ противъ несправедливости, то каково же было то общество, которое смѣшалось съ грязью его и многихъ ему подобныхъ? Въ исторіи каждый новый шагъ, будь онъ впередъ или назадъ, совершается на счетъ множества человѣческихъ существъ, оставляетъ за собой слѣды страданій, нерѣдко и крови. Вызвать представленіе не о томъ, что восторжествовало, но о томъ, что было раздавлено, предано позору или убито—это почти тоже, что сдѣлать великое открытіе, навести мысль на пути новые, лежащіе въ сторонѣ отъ слишкомъ торной дороги исторической славы, какъ бы приподнять край завѣсы, прикрывшей иную, быть можетъ еще болѣе обширную—область историческихъ страданій. Нѣтъ нужды доказывать того большаго значенія, какое можетъ представлять разработка этой малоизвѣстной страны, это нѣчто въ родѣ опытовъ исторической диссекціи. Нѣсколько подобныхъ опытовъ, исполненныхъ безъ страсти, съ хладнокровіемъ натуралиста, могли бы подвинуть насъ далѣе и лучше урегулировать наше отношеніе къ прошлому, чѣмъ всѣ написанныя доселѣ исторіи, такъ какъ въ нихъ прошедшее явилось бы передъ нами полнѣе, истиннѣе, ярче, чѣмъ въ тѣхъ акварельныхъ работахъ, какія мы доселѣ имѣемъ. Труда хватило бы на нѣсколько поколѣній, чтобы исчерпать ту богатую руду, на которую Кондратовичъ натолкнулся въ своемъ Филиппѣ изъ Коноплей. Но самъ онъ извлекъ изъ нея лишь одну небольшую вещь, не сознавъ цѣны сво-

его открытія, поступилъ въ родѣ того швейцарца, который, послѣ битвы при Грансонѣ вбѣжавъ въ палатку Карла Смѣлаго и захвативъ крупнѣйшій его алмазъ, продалъ его за нѣсколько грошей, считая его стекломъ. Самый выводъ Кондратовича изъ приключеній Филиппа и его судьбы, представляется довольно безсодержательнымъ, въ какомъ смыслѣ его ни принять: въ положительномъ-ли, или въ ироническомъ: «горячими стремленьями души не увлекайся, а лишь смотри, что выгодно, что—нѣтъ. Открой лицо, но сердце подъ замкомъ держи, и прежде, чѣмъ собой пожертвовать, спроси — умно-ли? Будь холодно воздерженъ въ словѣ, и въ дѣлахъ. Не—то тебя Филиппомъ изъ Коноплей всякъ прозоветъ. Прошли уже годъ героевъ огненныхъ, и нынѣ—только кровь, и брань да слезы, вотъ и вся ихъ мзда!»

Если бы однако поэту задали вопросъ—а когда же были годъ огненныхъ героевъ? — то онъ, самъ конечно, отвѣтилъ бы, что никогда. Разумѣется, приведенныя правила нравственности, пригодной для улитокъ, преподаны авторомъ въ шутку; такую нравственность Кондратовичъ презиралъ, такъ какъ самъ былъ человѣкъ искренній и непрактичный, и лично смахивалъ на Филиппа изъ Коноплей, если не во всемъ, что сдѣлалъ, то въ томъ, какъ относился къ разнымъ вещамъ. Отличался же онъ отъ этого героя тѣмъ, что однажды поселясь въ заколдованной области обожаемаго прошедшаго, онъ уже и до конца жизни представлялъ себѣ ее такою именно, не поддаваясь тѣмъ колебаніямъ, какія иногда возникали въ его же умѣ, не понявъ даже и возможности спуститься въ одинъ изъ болѣе глубокихъ Дантовыхъ круговъ, въ ту бездну, гдѣ и нынѣ трещать на огнѣ исторіи—души сродныя пану Филиппу изъ Коноплей.

Х.

Не слѣдуетъ однако простираť требовательности слишкомъ далеко и вмѣнять поэту въ вину, что онъ не совершилъ такихъ дѣлъ, къ которымъ не былъ склоненъ по своей природѣ и не побуждался современнымъ ему настроеніемъ общества. Ему недоставало новыхъ идей и сильной страсти—двухъ условій, безъ которыхъ нельзя стать нравственнымъ властелиномъ своего вѣка. Умственный организмъ его, мягкій, чувствительный, вмѣщавшій въ себѣ яркія противоположности, еще въ самой колыбели кругомъ обвился домашними преданіями. Прибавимъ вмѣстѣ, что эта традиція привязывала его къ себѣ лишь тѣми, дорогими нитями, какія представляютъ установившіяся издавна добродѣтели и чистыя нравственныя понятія; всѣ иныя связи съ прошлымъ оборвались на немъ, ничто невѣжественное, грязное, глупое не приставало къ этой великолѣпной и благородной натурѣ, составленной исключительно изъ лазури и лучей солнечныхъ. При томъ, умъ его вовсе не былъ обыкновенный, но исполненный откровеній, доступный всѣмъ теченіямъ и дуновеніямъ духа времени, схватывавшій на полусловѣ новыя идеи и инстинктивно сознававшій общественныя потребности. Такъ какъ тотъ періодъ, въ которомъ онъ жилъ, былъ безцвѣтенъ, а общество было осуждено на бездѣйствіе, то вѣянія духа времени могли дѣйствовать лишь незримо, въ устной пропагандѣ и вліяніи литературы, посредствомъ теоріи и разсужденія, болѣе, чѣмъ путемъ опытовъ. Но и среди этихъ невидимыхъ, носившихся въ воздухѣ элементовъ, поэтъ усваивалъ себѣ никакъ не всѣ безъ разбора. Круговая безнадежность, разнузданная чувственность, готовая къ подозрѣніямъ зависть, не переносящая ничьего превосходства, расколъ общества на крайнія противоположности—все это осталось ему навсегда чуждымъ. Изъ демократизма и радикализма, онъ всасывалъ и усваивалъ только

то, что въ нихъ было привлекательнаго: вѣру въ непрерывность движенія впередъ, въ совершенствованіе чело-вѣчества и горячее желаніе, чтобы люди и націи под-вигались къ сближенію, къ братству, при помощи свя-зей преимущественно нравственныхъ, посредствомъ ра-боты на пользу народныхъ массъ и ихъ нравственнаго подъема.

Изъ сліянія элементовъ давнихъ и новыхъ, слага-лось какое-то чудесное единство, какъ бы радужная дуга, связующая два міра, и вотъ по ней-то, какъ по мосту, поэтъ пытался идти впередъ, во слѣдъ прогресса могучаго, уже заранѣе провозглашавшаго близкое торже-ство свое, паденіе невѣжества и неправды. Его-то, этотъ прогрессъ, Кондратовичъ напутствовалъ такими словами: «О Боже мой, когда онъ пустится въ свой соколиный путь, то пусть чело его осѣнится крестомъ. Ты поддержи благія въ немъ желанья, пусть голова его не закружится и рукъ своихъ онъ не опуститъ долу». («Часы» VII. 41. Борейк. 1857 г.). Оказалось однако впослѣдствіи, что мость, уже соорудившійся въ мысли, былъ лишь опти-ческимъ обманомъ, что самый прогрессъ былъ еще немно-гимъ болѣе призрака; по меньшей мѣрѣ—что нравствен-ный тотъ прогрессъ, какой имѣлъ въ виду поэтъ, совер-шается лишь незамѣтно, медленно, осуществляется мелкою ежедневной работою, единично—невеликими, но сборными усиліями, которыя напрягаются въ одну сторону, что прогрессъ шествуетъ походкою улитки, а не летитъ ор-ломъ. Крайности разошлись еще далѣе, чѣмъ можно было ожидать. Цѣлыхъ два материка, какими оказались тра-диція съ одной стороны и новыя стремленія—съ другой, представились нашимъ глазамъ еще болѣе взаимно от-даленными, какъ будто шире разлилось разъединяющее ихъ море. А все-таки, работать надъ сближеніемъ ихъ необходимо и мость съ одного на другой строить должно, но только болѣе «постепенно, систематично и прочно».

(Конецъ 1875 и Январь 1876 г.).

# Шекспировскій Гамлетъ.

Одна изъ лекцій читанныхъ въ Варшавѣ.



# Шекспировскій Гамлетъ.

(Одна изъ лекцій, читанныхъ въ Варшавѣ).

## Предисловіе отъ автора.

Въ декабрѣ, 1879 г. «Варшавское Благотворительное Общество» устроило рядъ чтеній преимущественно по исторіи общеевропейской литературы.

Разбирались «Божественная комедія» Данта, «Фаустъ» Гёте, новѣйшіе французскіе романисты. Если по приглашенію общества, я при выборѣ оставался на «Гамлетѣ», то потому единственно, что къ тому меня расположили занятія мои въ небольшомъ Шекспировскомъ кружкѣ любителей, въ Петербургѣ, посвятившемъ три—четыре года на изученіе совокупными силами великаго драматурга.

Еслибы чтеніе происходило въ Петербургѣ то, понятно, я коснулся бы точекъ соприкосновенія Шекспира и его трагедіи съ русскою литературою, но я читалъ передъ Варшавскою публикою и потому долженъ былъ дѣлать экскурсіи въ область новѣйшей польской литературы. Первое чтеніе посвящено было самому Шекспиру, характеристикѣ его и разрѣшенію вопроса, насколько трагедія о Гамлетѣ можетъ считаться источни-

комъ для автобіографіи драматурга и возсозданія личнаго его міросозерцанія. Послѣ оцѣнокъ доказательствъ и за и противъ, я пришелъ къ отрицательному результату: по моему мнѣнію, вовсе еще не доказано то, будто въ Гамлетѣ Шекспиръ изобразилъ свой собственный нравственный обликъ, свои жизненные опыты, свои личныя чувства; Гамлетъ вмѣстѣ съ сонетами или отдѣльно отъ нихъ не можетъ служить руководящею нитью для ознакомленія съ авторомъ, какъ съ человѣкомъ. Второе затѣмъ чтеніе, предлагаемое нынѣ русской публикѣ посвящено Гамлету, разсматриваемому уже безъ всякаго соотношенія къ лицу автора.

---

Гамлетъ общеизвѣстнѣе всѣхъ другихъ драмъ и трагедій Шекспира, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ и самое темное, самое загадочное изъ всѣхъ шекспировскихъ произведеній, по сему для надлежащаго его пониманія и для ориентировки въ немъ надлежитъ тщательно отдѣлить то, что безспорно по общему признанію критиковъ входило въ намѣренія автора, отъ намѣреній предполагаемыхъ, приписываемыхъ автору каждымъ изъ критиковъ отдѣльно взятымъ; а предположеній такихъ пущено входъ несмѣтное число. Мнѣ кажется, что я могу взять за аксіому и за отправную точку такое положеніе, по моему мнѣнію, безспорное: Шекспиръ намѣренно изобразилъ въ яркой противоположности и столкновеніи съ одной стороны бездушное, прогнившее и трупными пятнами покрытое общество; съ другой—чувствительнаго, гениальнаго, но въ высшей степени непрактичнаго принца Датскаго. Не одни только слова Гамлета, какими заканчивается I дѣйствіе, обличаютъ родъ проклятія, которое какъ будто бы тяготѣетъ надъ цѣлымъ вѣкомъ: «Распалась связь временъ; зачѣмъ же я связать ее рожденъ» (переводъ Кронеберга — переводъ неточный; собственно надлежало бы сказать: время вывихнуто въ суставахъ, out of joint, и проклять я, что родился на то, чтобы его исправить). Даже простые люди, какъ Марцелло (I. 5) приходитъ



по одному чутью къ убѣжденію, что «нечисто что-то въ Датскомъ королевствѣ». Процессъ разложенія изображенъ полный, осязаемый, отражающійся во всемъ объемѣ отношеній, характеровъ, наклонностей и умственныхъ привычекъ въ средѣ, окружающей Гамлета. Процессъ этотъ до того уже дошелъ въ своемъ развитіи, что не легко исправить попорченное даже лицу, не оглядывающемуся назадъ, даже имѣющему львиное сердце и страшную выдержку въ предпринимаемомъ. Можетъ быть съ такою задачею не справился бы самъ Фортинбрасъ, еслибы онъ былъ датчанинъ и если бы онъ обрѣтался въ столь тяжелыхъ семейныхъ отношеніяхъ, которыя бы его заставляли быть судьей и палачемъ по отношенію къ собственной его крови, къ ближайшимъ роднымъ. Есть непріятныя и съ болью сопряженныя операціи, съ которыми гораздо легче справиться иностранцу, нежели родному человѣку-земляку. Люди болѣе честные, болѣе благородные заставляютъ себя посредствомъ нѣкотораго насилія «дышать въ испорченномъ воздухѣ сего міра» (V, ч. 2. In this harsh world draw they breath in rain): «Нѣтъ въ Даніи, говоритъ Гамлетъ (I, 5) ни одного злодѣя, который бы не былъ негоднымъ плутомъ», а Горацио возражаетъ: «чтобъ это намъ сказать—не стоитъ, вставать изъ гроба мертвецу». Гервинусъ справедливо замѣтилъ, что дѣйствіе драмы перенесено въ переходное время; что оно совершается на рубежѣ двухъ разныхъ эпохъ. Въ недавнемъ прошломъ преобладали люди воинственные, храбрые, которые подчинили Данію и Норвегію и Англію и побивали на льдахъ приморскихъ изъ саны состоящіе обозы поляковъ (I, 1). Этими дружинами командовалъ пожилой съ просѣдою на бородѣ герой, покрытый сталью «отъ головы до ногъ, отъ темени до пятокъ» (I, 2), котораго духъ прохаживается по ночамъ по дворцовой терассѣ въ Эльзенаерѣ. Прошли кровавыя войны, настало время мира, бездѣйствія, лѣниваго отдыха. Варвары немножко пообтесались и преобразовались, но только на видъ, вліяніе культуры остановилось на по-

верхности, не проникая внутрь. Они ходятъ въ соболяхъ, наряжаются въ бархатъ, ѣдутъ учиться манерамъ въ Парижъ, или наукамъ въ Виттенбергъ, упражняются въ фехтованіи на тонкихъ французскихъ шпагахъ, въ международныхъ своихъ сношеніяхъ справляются съ государственными задачами, не прибѣгая къ оружію, посредствомъ одной дипломатіи, но подъ виѣшною шлифовкою и гладью скрывается въ каждомъ датчанинѣ вѣтхій человекъ-варваръ, который любитъ дать волю своимъ наклонностямъ, любитъ поѣсть, напиться и не чувствуетъ потребности въ высшихъ наслажденіяхъ и въ умственныхъ работахъ и занятіяхъ. «Похмѣлье и пирушки, говоритъ Гамлетъ, (I, 4) мараютъ насъ въ понятіи народовъ. За нихъ зовутъ насъ Бахуса жрецами и съ нашимъ именемъ соединяютъ прозваніе свиней». Одинъ маловажный на первый взглядъ порокъ смыываетъ съ цѣлаго народа «всю славу дѣлъ великихъ и прекрасныхъ» и превращаетъ всю страну въ «опустѣлый садъ, негодныхъ травъ пустое достояніе» (I, 2). Въ цѣлой драмѣ нѣтъ ни одного честнаго, чистаго лица за исключеніемъ только Гораціо, но сей послѣдній опредѣляетъ себя самъ такимъ образомъ: «я не датчанинъ, а древній римлянинъ» (V, 2). Понятно, что принцъ крайне удивленъ его приѣздомъ: «Чтожь привело тебя къ намъ въ Эльзинеръ» и что онъ предсказываетъ ему слѣдующее: «Пока ты здѣсь, тебя еще научатъ стаканы осушать» (I, 2). Вся Данія похожа на громадный кабакъ, весь дворъ представляетъ сборище всевозможныхъ пресмыкающихся, глупыхъ и неразвитыхъ, какъ приставленные къ Гамлету ровесники его Розенкранцъ и Гильденштернъ, или пріученныхъ всячески ломаться и сгибаться лакеевъ, подобныхъ Озрику «стрекозѣ», о которомъ такъ выражается Гамлетъ: «онъ и за грудь матери не принимался безъ комплиментовъ. У него много земли и плодородной. Пусть скотъ будетъ царемъ скотовъ и его ясли будутъ стоять на ряду съ царскимъ столомъ» (V, 2). Низкопоклонничество и соглядатайство, доведенныя до высо-

чайшей степени, входят какъ крупныя составныя части въ эту зараженную атмосферу двора и народа. Каковъ народъ, такова и семья. На подкладкѣ весьма непривлекательнаго общества изображены два такіа семейства, чьихъ судьбы взаимно связаны и взаимно перепутаны: семья министра и семья монарха.

Въ жизни среднихъ вѣковъ и въ самомъ репертуарѣ Шекспира шутъ (fool) довольно важное лицо, которымъ обыкновенно пользовались такимъ образомъ, что подъ одеждой изъ разноцвѣтныхъ лоскутовъ и колпакомъ съ бубенчиками являлся авторъ помѣщалъ не дюжинное сердце или по крайней мѣрѣ признаки большаго ума, сквозящія въ грубыхъ шуткахъ. Однажды пришла Шекспиру счастливая мысль перевернуть задачу и прикрыть чувства настоящаго дурака-шута собольею шубою и шитымъ мундиромъ гофмаршала и перваго министра датскаго. Высокій комизмъ типа, изображеннаго въ лицѣ Полонія, заключается въ ничѣмъ непоколебимомъ сомнѣніи, въ полной увѣренности въ превосходствѣ своего ума, практичности и таланта, которые становятся еще больше, когда министръ промахнулся и попалъ въ просакъ (II, 2). «Желательно бы знать, говоритъ онъ, когда случилось, чтобъ положительно сказалъ я: это такъ, а вышло иначе?» «Такъ съ плечъ мнѣ голову снимите, когда оно не такъ. Уже если я попалъ на слѣдъ, такъ истину сыщу, хоть будь она сокрыта въ самомъ центрѣ... Если онъ не отъ любви безуменъ, такъ пусть впередъ не буду я придворнымъ, а конюхомъ, крестьяниномъ простымъ». Весь умственный скарбъ этого старика, который передъ царскою семьею гибокъ какъ резинка, а передъ всѣми другими спѣсивъ и важенъ, заключается въ неистощимой его болтливости; онъ млѣетъ отъ наслажденія заслушиваясь потоку извергаемыхъ имъ обильно звонкихъ фразъ и это качество растетъ въ немъ съ лѣтами. Тщетно король унимаетъ его: «поменьше искусства, но дѣла болѣе». Словоизверженіе происходитъ неудержимо, механически, оно превратилось въ природу человѣка, «честью вамъ кля-

нусь, въ моихъ словахъ нисколько нѣтъ искусства. Что онъ безуменъ — это правда; правда, что жалъ его, и жалъ, что это правда. Метафора глупа — такъ прочь ее». Самоуверенное, свойственное совершенно пустому человеку, мѣшаетъ Полонію принять на свой счетъ, когда надъ нимъ трунять. Онъ не догадывается, что по немъ прохаживается Гамлетъ (II, 2), обвиняя мерзавца-сатирика въ клеветѣ за то, что сей послѣдній утверждаетъ, что старики имѣютъ сѣдины и морщины, что у нихъ большой недостатокъ остроумія и слабость въ ногахъ». «Это хотъ и безумство, замѣчаетъ министр, но систематическое... только безумцы способны на такіе мѣткіе отвѣты». Никто бы не интересовался этимъ «пожилымъ дитятемъ, которое еще не вышло изъ пеленокъ» (II, 2), еслибы Полоній не занималъ къ несчастію высокій оффиціальныи постъ, еслибы не то, что къ несчастію онъ править людьми, что онъ — рѣшающій авторитетъ въ дѣлахъ искусства, потому что изучалъ риторику и изображалъ когда то на сценѣ Ю. Цезаря, закалываемаго заговорщиками; въ поэзіи — потому что писалъ когда-то мадригалы; въ любви потому, что когда-то волочилъ за женщинами. Въ политикѣ онъ считаетъ себя настоящимъ Макиавелемъ (III, 1) потому что располагаетъ цѣлымъ арсеналомъ хитрыхъ но плоскихъ совѣтовъ, въ родѣ тѣхъ, которыми напутствуетъ сына (I, 3), и которыхъ главный недостатокъ заключается въ томъ, что они выведены *à posteriori*, такъ сказать, заднимъ умомъ, послѣ испытаннаго зла, слѣдовательно, что они не научать того, кто зла не испыталъ, а кто его испыталъ, тому они совѣмъ не нужны. («Будь ласковъ, но не будь пріятель общій. Друзей, которыхъ испыталъ желѣзомъ прикуй къ душѣ, но не марай руки, со всякимъ встрѣчнымъ заключая братство... Не занимай и не давай въ займы, заемъ нерѣдко исчезаетъ съ дружбой, а долгъ есть ядъ въ хозяйственномъ разсчетѣ»...). Кромѣ совѣтовъ, Полоній мастеръ пускать въ ходъ разныя мелкія штучки въ родѣ наущничества, вывѣдыванія тайнъ у

принца посредством подосланной дочери, отправки въ Парижъ Райнольда, съ тѣмъ, чтобы сей послѣдній слѣдилъ за Лаэртомъ, развѣдывалъ, что Лаэртъ дѣлаетъ и какъ живетъ и доносилъ бы о всемъ отцу. Высокимъ занимаемымъ имъ мѣстомъ Полоній обязанъ тому, что увѣрялъ постоянно при всякомъ случаѣ, «что долгъ мой, государь, люблю я также, какъ жизнь мою, а короля какъ Бога», что поминутно распространялся о томъ, «что значить преданность, что власть монарха», и что соваль всюду свой носъ. Въ концѣ концовъ ему пришлось и поплатиться за свое навязчивое повсюду вмѣшательство, когда онъ попалъ точно въ щель между дверьми и ушакомъ, между царственныхъ дядю и племянника и былъ въ этой коллизіи раздавленъ, причемъ заслужилъ вполне еще такой строгій приговоръ со стороны Гамлета: «негодяй, вздоръ болтавшій безъ умолку» (a foolishspratling knave III, 3). Въ сущности приговоръ справедливъ: глупецъ, не по заслугамъ пользующійся властью почти всегда бываетъ такимъ отъявленнымъ негодяемъ.

Старикъ Полоній до конца жизни не въ состояніи былъ отличать фразу отъ мысли и нравственность отъ свѣтскихъ приличій. Это смѣшеніе понятій сдѣлалось основаніемъ воспитанія вполне достойнаго его сына Лаэрта. На видъ это безукоризненный рыцарь, образецъ придворнаго, ходящій примѣръ учтивости и чести. На него посыпались самые тяжелые удары судьбы; среди этихъ испытаній не можетъ не обнаружиться изъ какого онъ отлить металла. Отецъ его убитъ, сестра сошла съ ума; не по приказу духа, но по стеченію обстоятельствъ онъ долженъ явиться мстителемъ. Шекспиръ съ намѣреніемъ указываетъ на эту тождественность практическихъ задачъ при совершенномъ несходствѣ съ Гамлетомъ въ характерахъ и дѣйствіяхъ («Гамлетъ» V, 2: «въ жребіи его я вижу отпечатокъ моей собственной судьбы»). Лаэртъ несомнѣнно доказалъ, что онъ твердъ и рѣшителенъ: «Я средствами ничтожными счумъ свершить великое» говоритъ онъ, (IV, 4) и дѣйствуетъ со-

образно тому. Но, спрашивается, куда дѣвались среди испытаній вѣрнопопданническія чувства, когда, ставъ въ главѣ бунтующейся черни, онъ съ обнаженнымъ мечемъ въ рукахъ, посягаетъ на жизнь своего государя, прикрывая это покушеніе словами: «капля хладнокровія изобличить во мнѣ бастарда, стыдомъ покроетъ честь отца!» Куда дѣвались чувство чести и рыцарская прямота, когда Лаэртъ не только соглашается на предложеніе короля драться съ Гамлетомъ съ отточенной рапирою вмѣсто тупой, но придумываетъ еще одно средство, превращающее бой съ принцемъ въ измѣнническое убійство (IV, 7): «Я награжу его. Я шпаги остріе намажу ядомъ». Только въ минуту смерти пробуждается въ немъ сознаніе неправоты и мерзости его поступка, равняющихъ его съ простымъ убійцею: «Простимъ другъ друга, благородный Гамлетъ; моя и моего отца кончина да не падетъ на голову твою, твоя же на мою. (V, 2). Я въ собственную сѣть попался, я собственной измѣною убить». Добавимъ еще одну черту къ характеристикѣ Лаэрта. Этотъ чловѣкъ горячій и столь естественно раздраженный, въ сильнѣйшемъ увлеченіи страсти слѣдуетъ не за одною правдою чувства, и въ рѣчахъ, и въ дѣйствіяхъ его много фальши, много напускнаго, напримѣръ, когда, прыгая въ самую могилу сестры, онъ восклицаетъ (V, 1): «Теперь надъ мертвымъ и живымъ насыпьте могильный холмъ превыше Целіона и звѣзднаго Олимпа голубой главы!». Эта напыщенность въ словахъ всего сильнѣе поражаетъ Гамлета, который цѣной отчаянья и утраты вѣры, приобрѣлъ необычайную остроту зрѣнія при сортировкѣ правды въ чувствахъ и фальши. Гамлетъ срываетъ, такъ сказать, маску съ Лаэрта: «Ты выть пришелъ? Ты на зло мнѣ спрыгнуть въ ея могилу? Ты хочешь съ ней зарытымъ быть? Я тоже. Ты говоришь о высяхъ горъ? Такъ пусть же на насъ навалятъ миллионъ холмовъ, чтобъ Осса передъ нимъ была песчинкой». Вскорѣ потомъ Гамлетъ признается Горацію (V, 2); «Лаэрта уважаю, но право, другъ, риторика печали меня взбѣсила».

Въ сценѣ при могилѣ Офеліи, Шекспиръ нарочно сопоставилъ два преувеличенныя выраженія печали, одну—серьезную напыщенность въ устахъ Лаэрта, другую—ироническую въ устахъ Гамлета.

Перейдемъ къ нѣжной прелестной Офеліи. По артистическому преданію, образъ русой дочери Полонія, съ голубыми глазами, есть одинъ изъ самыхъ популярныхъ. Онъ врѣзался въ память въ томъ фантастическомъ нарядѣ и въ той поэтической обстановкѣ, въ которой онъ выведенъ въ двухъ послѣднихъ сценахъ 4-го дѣйствія. Онъ особенно памятенъ по тѣмъ полевымъ цвѣтамъ, незабудкамъ, розмарину, павиликѣ, василькамъ, которые она дарить, по той ивѣ, съ сѣдыми листьями, вѣтви которой обломались подъ тяжестью ея тѣла, по тѣмъ водорослямъ, среди которыхъ плавалъ ея трупъ, наконецъ по тѣмъ отрывкамъ простонародныхъ пѣсенъ и балладъ, которыя она поетъ и которыя хотя и безсвязны, но по словамъ Горацио (IV, 5) «ихъ безобразность на заключенія наводитъ умъ того, кто имъ внимаетъ. Изъ этихъ словъ съ догадкою слагаешь какой-то смыслъ сокрытый». Однако многіе критики уже замѣчали не безъ основанія, что къ этой податливой дочери Евы подходятъ гораздо ближе, нежели къ королевѣ Гертрудѣ, слова Гамлета (I. 2): «Ломкость, женщина, твое названіе» (*frailty thy name is woman*). Гёте въ *Wilhelm Meister's Schuzjahren* далъ Офеліи слѣдующее весьма мѣткое опредѣленіе: все ея существо погружено въ зрѣлую, сладкую чувственность. Этотъ прелестный цвѣточекъ, нѣжно лелѣяемый, выросъ на тучной почвѣ, среди роскоши и всевозможныхъ удобствъ. Онъ имѣетъ всѣ качества вьющагося растенія, всякій сдѣлаетъ съ нимъ, что захочетъ. Приказано ей возвратить принцу письма и подарки — она возвращаетъ; приказано не принимать его — она не принимаетъ; кокетничать и притворяться — она притворяется и не колеблясь участвуетъ въ интригѣ, направленной къ тому, чтобы вывѣдать тайну помысловъ принца. Это сердечко до того легкое, что не въ силахъ

ненавидѣть, но оно предается легко и цѣликомъ, и не въ состояніи даже защищаться. И отецъ и братъ принуждены сдерживать ее и поминутно напоминать (I, 3), что изъ «дѣвъ чистѣйшая ужъ не скромна, когда лунѣ ея открыта прелесть», внушая, чтобы она была «подальше отъ опаснаго желанія, отъ вспышки склонности своей». Послушное дитя, она повинуется, не безъ ропота однако на претерпѣваемое ея склонностью насиліе. Тяжелая катастрофа случилась, принцъ о которомъ мечтала дѣва и котораго она любила насколько могло любить ее пассивное сердце, оттолкнулъ ее, издѣвался надъ нею самымъ чувствительнымъ образомъ, въ добавокъ убилъ отца. Умственный ея организмъ не перенесъ испытанія, она сошла съ ума. Въ безсвязныхъ мысляхъ сумасшедшей, точно въ осколкахъ разбитаго зеркала отражаются мечты, преслѣдовавшія ее въ ея дѣвичьихъ снахъ, объ умершемъ «бѣлымъ саваномъ покрытомъ, головою лежащемъ на зеленомъ дернѣ, съ холоднымъ камнемъ у пятъ», но также и о томъ, что творится наканунѣ Валентинова дня. «Ты присягнулъ на мнѣ жениться, прежде чѣмъ я исполнила твою просьбу», говоритъ дѣвушка. Парень ей отвѣчаетъ: и я бы исполнилъ клятву, если бы ты была болѣе скромна». Эти реальные черты сглаживаются и пропадаютъ въ переводахъ. Офеліи не доставало только случая, а приключилось бы съ нею тоже, что передаетъ пѣсенка: «Онъ услышалъ, встрепенулся, Быстро двери отворилъ, Съ нею въ комнату вернулся, Но не дѣвой отпустилъ». Эта безоружная чувственность придаетъ особенный вѣсъ разговору Гамлета съ Офеліей. Всѣ слова Гамлета попадаютъ мѣтко въ цѣль, смотря по лицу, къ которому онѣ адресованы. «Ты честная дѣвушка? Ты хороша-ли собой? Если ты честна и хороша, такъ добродѣтель твоя не должна имѣть дѣла съ красотою. Ступай въ монастырь! Зачѣмъ рожать на свѣтъ грѣшниковъ... или если ты хочешь непременно выйти замужъ, выбери дурака; умные люди знаютъ, какихъ чудовищъ вы изъ нихъ дѣлаете... У насъ не должно



быть больше браковъ. Которые уже женились, пусть живутъ всё — кромѣ одного, (т. е. Клавдія); остальные останутся чѣмъ они есть: въ монастырь! въ монастырь!» (III, 1). Такіе красивые граціозные цвѣточки, какъ Офелія, могутъ произрастать на общественной почвѣ, среди полнѣйшаго разложенія общества. Весь промежуточный слой между народомъ и престоломъ, изображаемый семействомъ Полонія, гниль и подвергался тлѣнію. Что же замѣчаемъ мы надъ этимъ слоемъ? На высяхъ, у самой вершины общества, красуются два чудовища, которыя, по словамъ Гамлета, превратили престолъ въ «гниздо кровосмѣшенія и разврата» (III, 3): король Клавдій и королева Гертруда.

Когда воинственный Гамлетъ-отецъ погибъ внезапною и таинственною смертію, царскій вѣнецъ въ фантастическомъ государствѣ Даніи по фантастическимъ законамъ наслѣдованія, установленнымъ законодателемъ Шекспиромъ, за которыми мы должны, не рассуждая, признать обязательную силу, достался женѣ умершаго, Гертрудѣ, имѣющей 30-лѣтняго, очень любимаго народомъ сына, Гамлета—героя драмы. Братъ умершаго, Клавдій, снискалъ столь быстро сердце вдовы, а вмѣстѣ съ сердцемъ и руку ея, а вмѣстѣ съ рукою престолъ датскій, что въ одинъ мѣсяцъ послѣ того, какъ она сдѣлалась вдовою, уже состоялся съ забвеніемъ всякихъ приличій новый бракъ между царственною совладѣлицею воинственной страны (*imperial jointress*) и новымъ монархомъ, возведеннымъ въ этотъ санъ по волѣ сословій государства («Мы поступили, говоритъ Клавдій къ представителямъ народа (I, 3), согласно вамъ: вы съ мудростью глубокой одобрили нашъ бракъ»). Клавдій достигъ короны самымъ законнымъ путемъ. Ходъ событій не указываетъ на то, чтобы Гамлетъ имѣлъ какое-либо право на эту корону. Его сильно огорчила только поспѣшность, съ которою мать его вступила въ этотъ новый бракъ (I, 2): «И башмаковъ еще не износила, въ которыхъ шла въ слезахъ какъ Ніобея за бѣднымъ прахомъ моего

отца... Еще слѣды ея притворныхъ слезъ въ очахъ заплаканныхъ такъ ясно видны... Хозяйство, другъ Горацио, хозяйство! Отъ похоронныхъ нироговъ осталось холодное на свадебный обѣдъ»... Въ концѣ драмы встрѣчается въ словахъ Гамлета единственный намекъ на политическое отношеніе племянника къ дядѣ (V, 2): «Онъ ловко втерся, говоритъ Гамлетъ, между избраніемъ и моею надеждой», что значитъ, что не будь дяди, сынъ, какъ ближайшій преемникъ царственной матери, могъ бы по избранію чиновъ государства, сдѣлаться соправителемъ при королевѣ, теперь-же, когда дядя завладѣлъ престоломъ на слова его: «племянникъ Гамлетъ-сынъ мой» (1, 2), Гамлетъ отвѣчаетъ язвительно: «побольше чѣмъ племянникъ, поменьше чѣмъ сынъ». По сценическимъ преданіямъ и рутинѣ, король Клавдій представляется обыкновенно какимъ-то брадатымъ разбойникомъ, какимъ-то мрачнымъ и трусливымъ Иродомъ, между тѣмъ какъ въ Клавдіѣ мы имѣемъ дѣло съ болѣе глубокою натурою, съ архизлодѣемъ весьма ловкимъ, весьма пронырливымъ, всегда смѣющимся (I, 5) и даже обольщающимъ подданныхъ своею любезностью по свойственному ему искусству, о которомъ болтаетъ только Полоній, но которымъ король владѣетъ въ совершенствѣ: «Святымъ лицомъ и маскою смиренной—И чѣрта проведемъ» (III, 1). Во всемъ его существѣ нѣтъ ни капли геройства, ни одного изъ тѣхъ качествъ, которыя облагораживаютъ кровавую, но могучую личность Макбета. Клавдію присуще хладнокровіе, ему свойственны скользкая кожа и всѣ движенія змѣи. Онъ не идетъ прямо къ цѣли, но приближается къ ней ползкомъ, онъ только дипломатизируетъ, но что касается практичности, то онъ головой выше Гамлета, предъ нимъ Гамлетъ просто ребенокъ. Превосходство его заключается въ томъ, что онъ никогда не колеблется и дѣйствуетъ для осуществленія своихъ цѣлей безъ зазрѣнія совѣсти. (IV, 7) «Когда ты что нибудь готовъ свершить, свершай пока на то согласна воля. Она измѣнчива, ослабнуть ей легко. Легко

уснуть отъ тысячи совѣтовъ, упасть отъ случая или сильныхъ рукъ. И что-жъ тогда родить твоя готовность? Бесплодный вздохъ, вредящій облегченіямъ». Гамлетъ, имѣющій полное основаніе ненавидѣть дядю, величаетъ его мерзавцемъ, мошенникомъ, королемъ изъ тряпокъ и лоскутьевъ (III, 4), Сатиромъ при Аполлонѣ, столь же похожимъ на Гамлета-отца, какъ Гамлетъ-сынъ походитъ на Атланта. Если взглянуть на дѣло безпристрастнѣе, нельзя не признать, что этотъ король, хотя не воинъ, а только дипломатъ — мастеръ править, что хотя и не по своей волѣ, а по необходимости, онъ способенъ встрѣтить лицомъ къ лицу опасность. Онъ вмигъ осадилъ Лаэрта, нападающаго на него съ мечомъ въ рукахъ, защитивъ себя указаніемъ на святость особы короля (IV, 5); онъ вслѣдъ затѣмъ изъ бывшаго врага снискалъ себѣ союзника, съ которымъ устраиваетъ гибель принца. Чувство не входитъ вовсе въ область политики Клавдія; божество, которому онъ поклоняется, есть чистый эгоистическій интересъ, исповѣдуемый имъ въ случаѣ надобности открыто и безъ обиняковъ. «Я твоего отца любилъ, — говоритъ онъ Лаэрту, но также мы любимъ и самихъ себя; надѣюсь изъ этого ты можешь заключить...» (IV, 7). Этотъ человѣкъ весьма злой и весьма вредный, но лишь на столько, на сколько того требуетъ его личная выгода. Онъ любитъ отдыхать когда сытъ. Само бражничанье есть составная часть его политики. Когда онъ «всю ночь гуляетъ на пролетъ, шумить, и пьетъ и мчится въ быстромъ вальсѣ; едва осушить онъ стаканъ рейнвейна, какъ слышенъ громъ и пушекъ и литавръ, гремѣющихъ въ честь побѣды надъ виномъ» (I, 4), то эти попойки составляютъ практическое примѣненіе къ народу извѣстной поговорки, что, кто пьетъ, тотъ потомъ спитъ, а кто спитъ, тотъ не грѣшитъ. Побольше удали и сангвинической вспыльчивости и Клавдій походилъ бы вполне на короля Августа II Сильнаго, а изъ Даніи вышла-бы Польша XVIII вѣка. Разительное сходство довершается еще ме-

доточивымъ краснорѣчіемъ короля, напыщенными цвѣтстыми рѣчами изъ устъ его текущими, въ родѣ слѣдующей (I, 2): «Съ восторгомъ, такъ сказать, лишеннымъ силы, съ слезой въ очахъ и съ ясною улыбкой, веселый гимнъ запѣвъ при гробѣ брата, за упокой при брачномъ алтарѣ и на вѣсахъ души, развѣсивъ равно веселье и печаль»... мы женились. Однако королю не спится, злодѣяніе всплываетъ всячески наружу. Тиранъ становится отъ страха подозрителенъ, кровожаденъ и испытываетъ нѣчто отчасти похожее на угрызенія совѣсти. Собственно это не угрызенія совѣсти, а боязнь адскихъ огней. Въ ужасающей 3 сценѣ III дѣйствія, одной изъ лучшихъ, какія только написалъ Шекспиръ, проявляется не раскаяніе, а неисправимая разорванность внутри себя у злодѣя (*to double business bound*), который хотя хотѣлъ бы молиться, но не можетъ, потому что не можетъ сожалѣть о винѣ, не можетъ распрощаться съ плодами злодѣянія, вѣнцомъ, властью, женою брата. Не сокрушаясь, такъ какъ онъ сильно озабоченъ сохраненіемъ злодѣйски пріобрѣтеннаго, грѣшникъ рѣшается на отчаянный пріемъ и пытается обмануть Бога посредствомъ молитвы («Зачѣмъ же есть святое милосердіе, какъ незачѣмъ чтобы прощать грѣхи? И развѣ нѣтъ двойной въ молитвѣ силы: паденіе грѣшника остановить, а падшимъ милость испросить?») Онъ похожъ на утопающаго, который хватается за соломенку; такъ и онъ прельщаетъ себя сладкою надеждою, что «быть можетъ все будетъ хорошо».

Гамлетъ занимаетъ донинѣ первое мѣсто въ современной европейской драматургіи, не по лирическимъ своимъ мѣстамъ, а по глубокой психологической правдѣ характера Гамлета, котораго особенность заключается въ томъ, что, обладая пылкимъ сердцемъ и ослѣпительными какъ молнія по яркости своей помыслами, этотъ герой вполне не способенъ справиться съ практическою задачею, возложенною на него помимо его воли, но составляющею въ сознаніи его святой и безусловный его долгъ.

Нѣкогда въ подобномъ положеніи по приказу Аполлона античный Гамлетъ-Орестъ, не колеблясь и не разсуждая, убиваетъ въ трагедіи греческой и вотчина своего, и родную мать.

Гамлетъ относится (III, 2), съ особеннымъ презрѣніемъ къ людямъ «рабамъ страстей», то есть собственно къ массѣ, къ толпѣ обыкновенныхъ людей, которые имѣются въ виду въ слѣдующихъ еще его словахъ (I, 5): «простимся и пойдемъ — вы по дѣламъ или желаніямъ вашимъ; у всякаго свое желаніе или дѣло (*business and desire* собственно: желаніе или расчетъ). Превыше этой черты стоятъ избранники, лица самостоятельныя, которые благословенны тѣмъ, что въ нихъ «кровь уравновѣшена съ разсудкомъ» (III, 2). Каждый изъ этихъ не рабовъ страстей, но все-таки обыкновенныхъ людей, справился бы съ задачею несравненно лучше, нежели Гамлетъ. Даже такой не особенно развитой и деликатный человѣкъ, какъ Лаэртъ, да и тотъ умѣлъ справиться со средствами въ подобномъ же положеніи весьма цѣлесообразно, нашелъ въ себѣ и выдержку и страсть, и точно топоромъ обрубилъ нити психологическихъ зазрѣній совѣсти и сомнѣній, восклицая: «во адъ вассала вѣрность! Пусть сатана возьметъ всѣ мои клятвы!» (IV, 3). Между тѣмъ этотъ принцъ столь храбрый, что въ дѣлѣ имѣвшемъ видъ судебного поединка, трупомъ положилъ старшаго Фортинбраса, короля норвежскаго, что грозитъ «превратить въ видѣніе» всякаго, кто помѣшаетъ ему идти на разговоръ съ духами, причѣмъ всѣ нервы у него напряжены, какъ у немейскаго льва (I, 4); этотъ принцъ, столь хитроумный, что могъ бы перешеголять въ изображеніи всякихъ кововъ и подкоповъ любого изъ славнѣйшихъ королей нормандскихъ, этотъ принцъ, одаренный притомъ рѣдкою правдивостью, утонченностью и благородствомъ, котораго паденіе такимъ образомъ оплакиваетъ Офелія (III, 1) «Какой высокій омрачился духъ! Языкъ ученаго, глазъ царедворца, героя мечъ, цвѣтъ и надежда царства, ума и правовъ образецъ—все, все погибло!..»

этотъ принцъ, говорю я, бичуя себя, такъ сказать, нравственно въ 4 сценѣ III дѣйствія, въ виду проходящаго войска Фортинбраса, дѣлаетъ признаніе, что онъ ничтожнѣе тѣхъ самыхъ людей, которыхъ онъ называлъ рабами страстей: «что человѣкъ, когда все свое благо онъ полагаетъ въ снѣ? Онъ звѣрь и только... Богъ вѣрно въ насъ богоподобный разумъ вселилъ не съ тѣмъ, чтобы онъ безъ всякой пользы истлѣлъ въ душѣ». Безчисленными повторяющимися мелкими чертами Шекспиръ постарался изобразить въ Гамлетѣ органическое сочетаніе ослѣпительной и обольстительной гениальности съ полнымъ практическимъ бесплодіемъ, съ безсиліемъ въ дѣйствіи, на которое указалъ уже Гёте. Въ древней сагѣ Гамлетъ походитъ на Юнія Брута, по Ливію, воспитываемаго при дворѣ Тарквиніемъ; онъ прикидывается идіотомъ, дабы усыпить подозрѣнія, и проявляетъ въ то же время такую ловкость, такую цѣлесообразность въ каждающихся дурачествахъ, что въ концѣ концовъ достигаетъ цѣли, то есть убиваетъ короля и завладѣваетъ престоломъ. Иное дѣло—Гамлетъ Шекспира. Одинъ изъ самыхъ общихъ, всего чаще ставимыхъ критиками вопросовъ, заключается именно въ томъ, почему и съ какою цѣлью прикидывается онъ сумасшедшимъ, или не сдѣлался ли онъ и въ самомъ дѣлѣ сумасшедшимъ? Объясняя характеръ принца, Гёте остановился на половинѣ пути и не раскрылъ его окончательно, не указалъ, въ чемъ заключается органическій порокъ въ его организаціи, почему герой не справится съ возложеннымъ на него бременемъ, почему дѣло, для многихъ трудное, но возможное, превосходитъ его силы, почему, будучи неспособенъ поднять эту тяжесть, онъ, по мнѣнію Гёте, остается все-таки способнымъ къ тому, чтобы править людьми и исполнять общественныя функціи, хотя и менѣе сложныя, чѣмъ та, которую онъ призванъ исполнить, но требующія трезвости разсудка, а потомъ извѣстной рѣшительности и воли. Гёте отнесся къ Гамлету слишкомъ снисходительно и готовъ оправдать его. По мнѣнію

Гёте, среди до тла прогнившего общества принцу приказано вырвать одинъ репейникъ съ колючими шипами; понятно, что принца останавливаетъ бесполезность задачи въ виду того, что весь садъ покрытъ сорнымъ бурьяномъ. Къ положенію Гёте, что Гамлетъ не годится въ мстители, но годился бы въ короли и правители, я вернусь впоследствии, теперь же ставлю вопросъ: въ чемъ заключается органическій порокъ психической натуры Гамлета? Отвѣтъ какъ будто бы навязывается простой: въ излишнемъ умствованіи, въ избыткѣ мышленія, въ отыскиваніи въ виду имѣющихся аксіомъ еще болѣе очевидныхъ аксіомъ, въ то время, когда умственная почва все больше и больше шатается, чѣмъ больше мысль пытливая доискивается точекъ опоры. Подобное пониманіе характера Гамлета могло бы основываться на двухъ мѣстахъ въ драмѣ: во первыхъ, на монологѣ: *to be or not to be*, на словахъ: «Такъ блекнетъ въ насъ румянецъ сильной воли, когда начнемъ мы размышлять: слабѣетъ живой полетъ отважныхъ предпріятій и робкій путь склоняетъ прочь отъ цѣли (ближе къ тексту было бы перевести конецъ: и эти предпріятія теряютъ имя дѣла—*lose the name of action*). Второе мѣсто находится въ монологѣ предъ проходящимъ войскомъ Фортинбраса (IV, 4): «Слѣпое-ль то забвеніе или желаніе узнать конецъ со всей подробностью—а въ этой мысли, какъ разложить ее, на часть ума три части трусости—не понимаю, зачѣмъ я живъ, зачѣмъ я говорю: «свершай! свершай! когда во мнѣ для дѣла и сила есть, и средства, и желаніе». Къ этому самобичеванію слѣдуетъ отнести критически. Гамлетъ не провинился забвеніемъ о приказаніи отца, напротивъ того, память о приказаніи при сознаніи о томъ, что исполнить приказъ онъ не въ силахъ, причиняетъ ему жгучую боль, которая его мучитъ точно пытка и заставляетъ безплодно сокрушаться и самого себя терзать. Названіе трусъ къ нему совсѣмъ не подходящее, потому что при извѣстномъ нервномъ возбужденіи онъ способенъ совершать чудеса ловкости и силы

и доказать несравненную свою физическую отвагу. Что касается до отвлеченнаго мышленія, то оно само бываетъ крайне разнородно и не всякое мышленіе является вампиромъ, высасывающимъ кровь изъ рѣшеній человѣческихъ. Есть люди, которымъ уединеніе необходимо, потому что только въ уединеніи распускается цвѣтъ отвлеченной мысли, который потомъ даетъ плоды исполненные сѣмянъ дѣла. Гамлетъ ошибается, смѣшивая румянецъ рѣшимости (the hue of resolution) съ лихорадочнымъ румянцемъ вспышки чувства и нервнаго возбужденія. Мысль сгоняетъ съ лица румянцы аффекта и рождаетъ холодную рѣшимость, но эта рѣшимость, ставъ активною силою, брызжетъ огнемъ при встрѣчѣ сопротивленія и превращается во всеокрушающій громъ. Вспомните въ 3 части «Дядювъ» Мицкевича мечтанія узника Густава Конрада: «о, зналъ ли бы ты, человѣкъ, какъ велика твоя власть, когда мысль появится въ головѣ твоей еще не видимая, какъ будущая искра въ тучѣ..... Посредствомъ отвлеченной мысли можно завладѣть внѣшнимъ міромъ, а завладѣвъ имъ, господствовать—и по своей идеѣ, и волѣ его преобразовать. Но прежде чѣмъ завладѣть внѣшнимъ міромъ, надо владѣть собственными своими мыслями и крѣпко держа ихъ ими править. Элементъ воли и скорой рѣшимости необходимъ даже и при мышленіи, хотя бы на одно то, чтобы, подъ его давленіемъ, газъ чувства превращался въ твердое состояніе, то есть въ рѣшимость. Къ рѣшимости путь прямой чрезъ убѣжденіе, для убѣжденія же необходима хотя бы малая капля вѣры; я разумѣю здѣсь не какую нибудь религіозную вѣру или философскую систему, но просто на просто сильное убѣжденіе. Кто хочетъ дѣйствовать, долженъ прежде всего отрѣшиться отъ сомнѣній и, избравъ изъ многихъ положеній самое правдоподобное, прильнуть къ нему и утвердиться на немъ какъ на скалѣ. Къ этому то процессу относятся слова Мицкевича въ той же сценѣ, въ темницѣ Конрада: «О, люди, каждый изъ васъ могъ бы одинокій, скованный, разрушать или созидать мыслью



и вѣрою престолы». Съ такого рода мышленіемъ не имѣютъ ничего общаго фантазіи Гамлетовскія, гениальныя, но безусловно безплодныя. Великій, но побѣжденный человѣкъ можетъ страдать, питая въ себѣ чувства побѣдителя, которому подвластно будущее, но Гамлетъ, изъявляя готовность помѣститься въ орѣховой скорлупѣ, останавливается на томъ, что онъ только «считать» себя будетъ королемъ необъятныхъ пространствъ. Въ сущности онъ вполне равнодушенъ къ тому, что есть, къ дѣйствительности, къ добру и пользѣ, къ цѣлямъ жизни и результатамъ дѣйствій, что и передаетъ безъ обиняковъ Розенкранцу (II, 2): «Само по себѣ ничто не дурно, ни хорошо, только мысль дѣлаетъ его тѣмъ или другимъ». Этому этическому нигилизму соответствуетъ полнѣйшій философскій скептицизмъ. Гамлетъ вѣчно качается на дилеммѣ: *to be or not to be*, либо есть что нибудь за гробомъ, либо ничего нѣтъ? Въ сценѣ V дѣйствія съ могильщиками, перебирая черепа, онъ предается размышленіямъ о ничтожествѣ и небытіи, отъ которыхъ словно несетъ матеріализмомъ, между тѣмъ, какъ въ слѣдующей затѣмъ сценѣ (V, 2), предъ смертію, онъ погружается есть въ лѣнивый фатализмъ и поражаетъ своею увѣренностью въ предопредѣленіе: «я смѣюсь надъ предчувствіями; даже воробей не погибнетъ безъ особой воли Провидѣнія» (*special providence*). Шекспиръ никогда не былъ фаталистъ. Его личный взглядъ на вопросъ выражается всего лучше, по моему мнѣнію, въ бесѣдѣ Кассія съ Брутомъ (Ю. Цезарь I, 2): «люди, любезный Брутъ, бываютъ иногда владыки своихъ судебъ. Когда мы низко падаемъ, вина въ томъ не нашихъ звѣздъ, но только насъ самихъ». Для Гамлета этотъ фатализмъ служить чѣмъ то въ родѣ подпорки, на которую опирается его практическая несостоятельность, оправдываемая имъ по мѣрѣ силъ всевозможными соображеніями въ родѣ слѣдующихъ: (V, 2) «Насъ иногда спасаетъ безразсудство, а планъ обдуманнѣйшій не удастся. Есть божество, ведущее насъ къ цѣли». И такъ мышленіе Гамлета не по-

хоже на то, что мы называемъ этимъ именемъ, оно — мышленіе особаго рода или лучше сказать — мечтательство, или еще иными словами — поэзія, никогда не касающаяся стопами земли.

Величіе Шекспировой драмы: «Гамлетъ» заключается прежде всего въ томъ, что онъ представилъ реальный типъ такого безшабашнаго мечтателя, такого лунатика, типъ, который будетъ повторяться непрерывно вплоть до нашихъ временъ у всѣхъ народовъ, и снабдилъ его способностью, страдая насмѣхаться ѣдко, язвительно, истерическимъ смѣхомъ, доводящимъ смѣющагося до сумасшествия, до агоніи. Этотъ смѣхъ не перестаетъ раздаваться въ теченіи трехъ вѣковъ до нынѣ и потрясаетъ всю систему нашихъ нервовъ. Его общественное значеніе громадно. Есть въ жизни минуты тяжелыя, безотрадныя, безнадежныя, когда въ будущемъ ничего не видать, а въ живыхъ нѣтъ бодрости, нѣтъ отваги идти на приступъ на укрѣпленныя твердыни всемогущаго зла. Тогда у протестующихъ только есть одно оружіе въ рукѣ: Гамлетовскій спазматическій смѣхъ, *memento mori* по отношенію къ злой дѣйствительности, заявленіе того, что хотя мы и слабы и тщедушны, но и эта дѣйствительность не вѣчна, и она раскрыта въ ея ничтожествѣ и гнусности, слѣдовательно нравственно побѣждена, а упразднить ее болѣе счастливыя будущія поколѣнія. Но кромѣ этой заслуги Шекспира въ Гамлетѣ, есть еще и другая не менѣ важная: новый реальный типъ намѣченнаго характера онъ намъ представилъ всесторонне и объективно, а не односторонне, какъ бы это сдѣлалъ менѣ искусственный мастеръ. Овладевъ этимъ типомъ, болѣе посредственный драматургъ изобразилъ бы его либо въ апопоеозѣ, то есть представилъ бы намъ картину того, какъ выспренная поэзія изнываетъ и чахнетъ въ желѣзныхъ тискахъ дѣйствительности, либо въ каррикатурѣ, то есть воспользовался бы высокимъ комизмомъ ситуации, который не можетъ не проявляться тамъ, гдѣ изъ необдуманныхъ намѣреній по необходимости рож-

даются нелѣпные результаты. Въмѣсто того и другаго Шекспиръ написалъ раздирающую сердце драму, въ которой видимъ, какъ это нѣжное и благородное сердце отравляется по собственной винѣ, какъ этотъ характеръ искажается, какъ этотъ умъ падаетъ низко въ коллизіи съ дѣйствительностью и какъ въ концѣ концовъ смерть оказываетъ ему услугу, потому что лучше, что онъ гибнетъ отъ столкновенія съ дѣйствительностью, нежели чтобы эта дѣйствительность предана была въ жертву его поэтическимъ прихотямъ, его мечтамъ и вспышкамъ чувства. Есть два прекрасныя мѣста въ Гамлетѣ, изображающія прогрессивное развитіе души и ея паденіе. Въ одномъ мѣстѣ Лаэртъ говоритъ: (I, 3) «Природа въ насъ растетъ не только тѣломъ; чѣмъ выше (строится) храмъ, тѣмъ выше возникаетъ души и разума святая служба», Въ другомъ мѣстѣ (I, 4) Гамлетъ объясняетъ, какъ «проростаніемъ» (overgrowth) извѣстнаго прирожденнаго дурного качества или привычки портится самая благородная душа, потому что «пылинка зла уничтожаетъ благо». Въ лицѣ Гамлета осуществляется второй изъ этихъ случаевъ. Вся драма ничто иное, какъ изображеніе развивающагося умственнаго и нравственнаго паденія принца. Остановимся на главныхъ моментахъ этого процесса.

Гамлетъ человѣкъ дѣйствующій по вдохновенію, но не рефлектирующій; не даромъ порывается онъ ѣхать обратно въ Виттенбергъ. Самое любимое его занятіе—книга. Въ бесѣдахъ съ актерами обнаруживаетъ онъ глубочайшее знакомство съ эстетикой при сильномъ отвращеніи къ какому бы то ни было длящемуся систематическому труду: (V, 1) «Такъ обыкновенно бываетъ: чѣмъ меньше рука работаетъ, тѣмъ нѣжнѣе у нея чувство». Онъ способенъ къ подвигамъ, требующимъ большой храбрости или ловкости, но только подъ условіемъ непосредственно предшествовавшаго нервнаго возбужденія, вслѣдствіе воспріятого впечатлѣнія, то есть пока не прошелъ аффектъ и пока дѣйствіе можетъ произойти въ теченіи одного и того же аффекта въ видѣ его рефлекса,

то есть пока оно сверкает молнією, сливаясь съ вызвавшею его причиною и не прерываясь промежутками рефлексіи. Какъ только встрѣтилась остановка, чувство стѣсненія, моментально рождаются мысли радужныя, запечатлѣнныя то жгучею тоскою, то иронією, но королевичъ уже не въ состояніи ихъ сочетать и ими править, не онъ надъ ними властвуетъ, но они влекутъ его за собою. Тщетно повторяетъ онъ самъ себѣ, что время дорого, что надо торопиться, что «жизнь человѣка быстра—и одного счесть не успѣешь» (V, 2). Тщетно дѣлаетъ онъ надъ собою усиліе: (IV, 4) «Отнынѣ мысль проникнута будь кровью, или будь ничто!» Все таки, не смотря на усилія, онъ этого «одинъ» не сочтетъ и либо будетъ вертѣться на мѣстѣ, либо будетъ носиться по волѣ вѣтра безъ веселъ, парусовъ и руля на бурныхъ волнахъ происходящихъ событій. Онъ слишкомъ тонокъ и проницателенъ, чтобы позволить играть на себѣ, какъ на флейтѣ, кому бы то ни было, не только такимъ неуклюжимъ парнямъ, какъ Розенкранцъ и Гильденштернъ, но онъ невольно представляетъ собою дудку, изъ которой событія извлекаютъ случайные звуки (III, 2). Остываніе чувства и превращеніе его въ фантазію обнаруживаются тотчасъ послѣ исчезновенія духа. Онъ умоляетъ привидѣніе: (1, 5) «Скажи скорѣе (кто убійца)! на крыльяхъ какъ мысль любви, какъ вдохновеніе быстрыхъ, я къ мести полечу». Но какъ только духъ исчезъ, Гамлетъ вынимаетъ вмѣсто кинжала записную книжку и записываетъ, иронизируя на свой манеръ: «что можно съ улыбкой вѣчною злодѣемъ быть, по крайней мѣрѣ въ Даніи возможно». Потомъ... потомъ онъ заставляетъ свидѣтелей видѣнія присягать, что они будутъ молчать, а самъ онъ начинаетъ играть роль сумашедшаго. Каково это сумашествіе, настоящее или симулированное, и если симулированное, то съ какою цѣлью? Эти вопросы сильно занимали критиковъ и вызвали даже не одну психіатрическую экспертизу. Не подлежитъ спору, что съ момента смерти отца и въ особенности со вступленія ма-

тери во второй бракъ королевичъ душевно страдалъ, что онъ впалъ въ меланхолію, что умственные его способности сдѣлались, такъ сказать, тусклыми, потеряли блескъ. Появленіе духа сильно потрясло весь его организмъ, вывело его изъ состоянія упадка духа и привело его въ другое состояніе—необыкновеннаго болѣзненнаго возбужденія чувствъ. Мысли и нервы его какъ будто навинчены, повышены цѣлою октавою, впечатлительность немовѣрно остра, отъ чрезмѣрной чувствительности, ощущенія вызываютъ въ немъ поминутно истерическій смѣхъ. Трясаясь какъ въ лихорадкѣ и звеня зубами, онъ начинаетъ бесѣдовать въ тонѣ похожемъ на бредъ, говорить скачками, отрывками, намеками и чудаческими сопоставленіями. Этотъ тонъ онъ сохранить до самой смерти.

Съ датскими воинами, стоявшими на караулѣ, Гамлету не зачѣмъ было притворяться. Онъ не прикидывался рехнувшимся, когда бралъ съ нихъ клятву, что не скажутъ, отъ чего онъ сдѣлался страннымъ человѣкомъ, чудакомъ. Онъ дѣйствительно измѣнился и сдѣлался чудакомъ. Сумашествіе и чудачество очень близки одно къ другому. Для скрытія причины дѣйствительно произошедшей перемѣны, принцъ придумываетъ странныя выходки и дурачества, похожія на сумашествіе, сначала чтобы не отгадали его тайны, а потомъ по чувству артиста, которому нравится самъ процессъ дѣятельности независимо отъ результатовъ. Мнимое сумашествіе освобождаетъ его отъ этикета и церемоній двора, даетъ ему возможность уединяться, даетъ просторъ его ироніи и сатиричности. Маска сумашествія не плотно пристаетъ однако къ лицу Гамлета; увлекаемый художественнымъ чувствомъ, онъ не можетъ отказать себѣ въ удовольствіи насмѣхаться надъ придворными. Возбужденныя мысль и чувство сіяютъ необычайно яркимъ блескомъ. Онъ видитъ людей насквозь, онъ ихъ пронзаетъ насквозь иглами своей ироніи; даже очень недалекіе люди, какъ напр., Полоній, замѣчаютъ извѣстный методъ въ его сумашествіи. Сумашествіе Гамлета не ведетъ ни къ

какимъ практическимъ результатамъ, не облегчаетъ осуществленія плана мести, напротивъ тому, мѣшаетъ дѣлу, потому что, втолковавъ себѣ, что сумашествіе необходимо ему для достиженія цѣли, Гамлетъ, продолжая прикидываться сумашедшимъ, изобрѣтаетъ подъ этимъ видомъ все новые и новые опыты и повѣрки для испытанія не средствъ и условій осуществленія цѣли, но только прочности мотивовъ своего намѣренія. Ему понадобились иныя гарантіи, кромѣ словъ привидѣнія. Ему хочется посредствомъ кочующей труппы артистовъ удостовѣриться, поставивъ на сцену пьесу своего издѣлія, точно-ли дядя его злодѣй: (II, 2) «Злодѣю зеркаломъ пусть будетъ представленіе.—И совѣсть скажется и выдастъ преступленіе».

Представленіе на сценѣ, устроенное Гамлетомъ, повлекло за собою двоякаго рода послѣдствія. Во-первыхъ, оно переполошило весь дворъ и произвело невообразимый скандалъ; въ дурачествахъ сумашедшаго мелькнула мысль мстителя. И передъ спектаклемъ король догадывался, что (III, 1) «у него на сердце запало сѣмя; грусть его взраститъ. Оно взойдетъ и плодъ опасенъ будетъ». Теперь онъ наглядно убѣдился въ томъ, что изведеніе Гамлета является единственнымъ средствомъ необходимой обороны. Отношеніе обострилось и превратилось въ бой на жизнь и смерть. Объективныя условія осуществленія цѣли стали для Гамлета несравненно труднѣе, но это не озадачиваетъ его нисколько: онъ предается всецѣло восхищенію, упоенію, порадованный тѣмъ, что задуманная штука удалась; (III, 2) «Ха, ха, ха—музыку! эй! флейтчики! О, если нашъ театръ не нравится ему, такъ значитъ король не любитъ нашего театра». Второй результатъ представленія тотъ, что въ Гамлетѣ возобновилось то нервное возбужденіе, которое располагаетъ его къ быстрому дѣйствію безъ обдумыванія. Насталъ кризисъ: либо теперь, либо никогда! На лицѣ короля, какъ на страницахъ книги, Гамлетъ прочелъ то самое, что ему возвѣщено было духомъ и пере-

полненъ такою активною ненавистью, что восклицаетъ: (III, 2) «Теперь отвѣдать бы горячей крови, теперь ударъ бы нанести, чтобъ дрогнулъ веселый день...». Драматическое дѣйствіе доходитъ до своего апогея, послѣ чего оно обрывается, какъ и слѣдовало, какъ и должно было случиться, вслѣдствіе того, что руководителями его являются не разумъ, а пылкая кровь или случай.

Мечь поддавалась сама Гамлету, полная, совершенная, когда онъ стоялъ съ мечомъ за спиною колѣно-преклоненнаго, молящагося короля. Гамлетъ изобрѣтаетъ мотивъ колебанія въ совѣсти и выпускаетъ изъ рукъ оказію, которая можетъ быть никогда не повторится: «въ ножны мой мечъ! ты будешь обнаженъ ужаснѣе, когда онъ будетъ пьянъ. Во снѣ, въ игрѣ, въ забавахъ сладострастныхъ, съ ругательствомъ въ устахъ среди занятій, въ которыхъ нѣтъ святыни ни слѣда,—тогда рази, чтобы пятами къ небу онъ въ Тартаръ полетѣлъ» (III, 3).

Вмѣсто цѣльнаго дѣйствія все сводится къ полудѣйствіямъ, къ бесѣдѣ съ матерью, которая требуетъ только огненнаго и сокрушающаго краснорѣчья — не болѣе: «Кинжалы на словахъ, но не на дѣлѣ. Пусть въ эту грудь не вступитъ духъ Перона!» Не смотря на то, что принцъ дѣйствуетъ съ самообладаніемъ, онъ чловѣкъ опасный. Малѣйшее обстоятельство можетъ въ эту ночь, когда духъ является, опять «воспламенить потухающій замыселъ, превратить его въ бѣшенаго, вызвать слѣпую запальчивость». Движеніе ковра и крикъ: «помогите!» рождаютъ въ немъ подозрѣніе, что за этимъ ковромъ спрятался смѣющійся злодѣй, и моментально шпага пронзаетъ коверъ и убиваетъ Полонія: — «что? Король?—нѣтъ не онъ, прощай ты, жалкій, суетливый шутъ! тебя я высшимъ счелъ». Знаменитый разговоръ съ матерью, въ которомъ Гамлетъ, совсѣмъ снимая маску сумашествія, «ломаетъ» и сокрушаетъ ея сердце, обращаясь къ ней то какъ судья и духовный отецъ, то какъ дитя, исполненное нѣжнѣйшихъ сыновнихъ чувствъ,

принадлежить къ числу великолѣпнѣйшихъ сценъ, не превзойденныхъ до нынѣ ни въ какой европейской драматургіи. Въ этой сценѣ Гамлетъ издержалъ себя весь, извлекъ изъ себя все то, на что активной воли его хватало, потомъ онъ палъ духомъ, окончательно извѣрился въ себя, даже пересталъ обдумывать смерть дяди и сталъ похожъ на ту книгу, которую перелистывалъ при Полоніѣ, произнося: «слова, слова, слова!» Послѣ того какъ герой столь сильно понизился нравственно, интересъ драмы слабѣетъ и она идетъ довольно вяло въ теченіи послѣднихъ двухъ дѣйствій, которыя уступаютъ предъидущимъ по красотѣ построения и переполнены множествомъ низодическихъ подробностей, слабо связанныхъ съ главною основою произведенія. Есть еще одна большая разница между тремя первыми и двумя послѣдними дѣйствіями, а именно та, что главныя дѣйствующія лица помѣнялись, такъ сказать, ролями. Въ первыхъ трехъ король защищался, Гамлетъ на него нападалъ, пока онъ не свихнулся вслѣдствіе своихъ ошибокъ и не сталъ тѣнью прежняго человѣка. Теперь король предпринимаетъ наступательное движеніе, чтобы упразднить ходячее угрызеніе своей совѣсти въ лицѣ Гамлета. Гамлетъ парируетъ только удары, но еще и въ паденіи своемъ онъ на столько силенъ, что отчасти при содѣйствіи случая, отчасти при содѣйствіи логики событій, погибая самъ, онъ губитъ и своего противника и расплывается и за отца, и за мать, и за самого себя, въ чемъ и проявляется на сценѣ та высшая справедливость, которой требуютъ и ищутъ и философы и артисты, когда они обозрѣваютъ цѣлую крупную какую-нибудь область человѣческихъ событій съ маломальски возвышенной точки зрѣнія.

Менѣе совершенныя нежели три первыя дѣйствія, два послѣднія подвергаются на сценѣ при представленіяхъ весьма значительнымъ сокращеніемъ, такъ что обыкновенно предлагаютъ вмѣсто нихъ одни лоскутки и обрѣзки, что весьма прискорбно, потому что они крайне



интересны въ психологическомъ отношеніи и запечатлѣны тѣмъ мастерствомъ въ изслѣдованіи души человѣческой, въ которомъ до нынѣ еще Шекспиръ не имѣлъ соперника. Смѣю думать, что по мѣрѣ большаго ознакомленія съ Шекспиромъ и штудированія его измѣнится и обращеніе съ его произведеніемъ. До нынѣ подъ вліяніемъ, продолжающагося кой въ какихъ отголоскахъ романтизма, выдвигались впередъ тѣ сцены, въ которыхъ сіяютъ яркими блестками преимущественно красивыя стороны подвижной и измѣнчивой личности Гамлета. Современемъ по мѣрѣ большаго углубленія въ изученіе этого лица и отдѣльныя изслѣдованія и нублика можетъ увлечься и полюбить созерцаніе другихъ сторонъ этого характера, хотя и черныхъ, но написанныхъ съ ужасающею правдою. Въ концѣ концовъ въ драмѣ сценично все, что передаетъ типически характеръ лица, либо въ его приготовленіяхъ къ дѣйствию, либо въ самомъ дѣйстви и столкновеніяхъ съ другими. Съ этой точки зрѣнія сцениченъ монологъ: *to be or not to be*, но весьма также сцениченъ и другой въ IV дѣйствіи, изъ котораго я приводилъ выдержки и безъ котораго характеристика Гамлета всегда останется половинчатою и неполною. Идутъ норвежскія войска въ походъ на Польшу подъ предводительствомъ молодого Фортинбраса, двадцать тысячъ лихихъ солдатъ, всѣ они бравые, молодецъ въ молодца и всѣ веселые, точно отправляются на свадебный пиръ. Вѣрно «вся Польша вашего похода цѣль»? спрашиваетъ Гамлетъ.—Ничуть не бывало, отвѣчаетъ полковникъ, мы идемъ завоевать мѣстечко, которое не дастъ намъ ничего за исключеніемъ своего названія. Я за него не далъ бы трехъ червонцевъ. Да больше и не дастъ оно дохода». «Такъ поляки и защищаться не будутъ?». «О нѣтъ, они его ужъ укрѣпили. Двѣ тысячи солдатъ и двадцать тысячъ червонцевъ будетъ стоять эта соломинка». Гамлетъ присовокупляетъ: *«Великъ Тотъ истинно, кто безъ великой цѣли не возстаетъ, но за песчинку бьется на смерть, когда задѣта честь. Каковъ же я? Когда меня ни матери безчестіе,*

ни смерть отца, ни доводы разсудка, ни кровь родства не могутъ пробудить? Гляжу съ стыдомъ, какъ двадцать тысячъ войска идутъ на смерть и за видныя славы, въ тробахъ, какъ въ лагерь уснуть. За что? За клочъ земли, идъ даже нѣтъ и мѣста сражаться вѣзмъ, идъ для однихъ убитыхъ нельзя довольно накопать могилъ». Въ цѣломъ Гамлетъ нѣтъ ничего, чтобы превосходило этотъ отрывокъ по глубинѣ мыслей. Шекспиръ-соціологъ сравнялся съ Шекспиромъ-психологомъ. Величіе собирательнаго лица-народа, а слѣдовательно общественныя заслуги человѣческой особы заключаются только въ сознаніи долга и добровольномъ подчиненіи себя обществу, въ духѣ самопожертвованія полагающемъ жизнь и имущество за кажущуюся шалость, за нѣчто порою столь ничтожное, какъ скорлупа яичка, не колеблясь и не отступая. Условія проявленія этого чувства могутъ быть весьма различны. У иныхъ народовъ, менѣе образованныхъ, оно можетъ дѣйствовать безъ разсужденій, по слѣпому послушанію и тому табунному инстинкту, посредствомъ котораго юные варвары одолѣваютъ старыя, истлѣвшія цивилизаціи. У другихъ народовъ оно бываетъ плодомъ живой и сознательной вѣры въ горящіе яркими свѣтильниками идеалы, имена которымъ: родина, слава, религія, отечество или какъ бы мы ни называли эти предметы, которые для скептика не болѣе какъ пустые призраки воображенія. Эти идеалы мелькаютъ передъ умственными глазами Гамлета, но ни одинъ изъ нихъ не наполнить его, не воспламенить, не превратить его въ героя. Такимъ образомъ въ этомъ отношеніи гениальный и чувствительный принцъ датскій стоитъ на дѣстницѣ созданій ниже послѣдняго изъ рядовыхъ въ арміи Фортинбраса, изъ которыхъ каждый сказалъ себѣ: я долженъ сдѣлать—и сдѣлаетъ или ляжетъ костью. На Гамлета эти слова не дѣйствуютъ, хотя онъ ихъ повторяетъ сотни разъ.

Но Гамлетъ поэтъ и вслѣдствіе того онъ способенъ на многое, чего не вынудить у него чувство долга, по

одному артизму, по одной любви къ искусству, по интересу, который возбуждаетъ въ немъ самъ процессъ дѣйствія независимо отъ цѣлей его и содержанія. Этой любви къ искусству принцъ жертвуетъ всѣмъ; ради ея попираются сердца, наносятся тысячныя душевныя раны, смертью и гибелью обозначенъ слѣдъ Гамлетовскихъ затѣй и фантазій. «Не пылокъ я, говоритъ Гамлетъ (V, 1), но берегись: во мнѣ есть кое-что опасное...» то есть малая доля того чувства, которое одушевляло Нерона, когда онъ произнесъ: *qualis artifex pereo*. Необходимость скрыть тревожное состояніе своей души, пока не послѣдуетъ мщеніе, заставила Гамлета прикидываться сумашедшимъ, но, разъ ставъ на эту дорогу, Гамлетъ полюбилъ взятую на себя роль, потому что она отвлекаетъ его отъ непріятнаго дѣла и даетъ возможность упражнять его злую иронію, его способности сатирическія. Первая жертва этой безсердечной насмѣшливости—Офелія. Гамлетъ никогда не былъ въ нее, что называется, влюбленъ, онъ только забавлялся, какъ артистъ, этимъ прелестнымъ существомъ. Послѣ появленія духа, онъ уже далекъ отъ всякихъ эротическихъ помышленій, но ему представляется великолѣпный случай провести другихъ: прикинуться, что онъ сошелъ съ ума отъ любви. Онъ такъ художественно сыгралъ эту штуку, что одурачилъ такого стараго воробья, какъ Полоній. Съ Офеліею Гамлетъ обошелся жестоко; приторно сладкіе мадригалы, которые онъ къ ней пишетъ, циническія шутки, которыми онъ ее потчуетъ, столь циническія, что онѣ даже исключены по ихъ непристойности въ переводахъ, то обольщаютъ, то глубоко уязвляютъ это влюбчивое и влюбленное сердечко. Гамлетъ имѣетъ наготовѣ и оправдательный предлогъ: она сговаривалась съ моими врагами съ цѣлью вывѣдать мои тайны. Внезапная смерть отца отъ рукъ любовника наноситъ рѣшительный ударъ дочери Полонія. Сумашествіе ей было привито Гамлетомъ, который на ея могилѣ, вырытой ею же собственными руками изъ чистой любви къ искусству, чтобы превзойти Лаэрта въ его

жалобахъ, скачетъ въ ея могильный домъ и дерется самымъ непристойнымъ образомъ съ Лаэртомъ, сочиняя фальшивыя увѣренія въ любви, которыя беретъ тотчасъ же назадъ, насмѣхаясь надъ ними: (V, 1) «сорокъ тысячъ братьевъ со всею полнотою любви не могутъ ее любить такъ горячо... Я разглагольствовать умѣю, какъ и ты». Вторая жертва рока, преслѣдующаго не безъ основанія всякаго, кто только имѣлъ дѣло съ Гамлетомъ, есть Полоній. Когда причинена смерть даже случайно или по ошибкѣ въ лицѣ кому бы то ни было, хотя бы онъ былъ «капитальный теленокъ» (*so capital a calf*), ему слѣдуетъ отъ виновника его смерти нѣчто большее, чѣмъ тѣ насмѣшки надъ «кучею мяса», чѣмъ то упрятываніе трупа подъ лѣстницей, гдѣ собирается конгрессъ «политиковъ червей на вкусный ужинъ». Горькая иронія вытравива всѣ другія чувства въ сердцѣ и заняла ихъ мѣсто. Нипочемъ весь свѣтъ, нипочемъ люди, нипочемъ ихъ жизнь и счастье. Стоитъ ли принимать въ расчетъ эти ничтожныя и пошлыя существа? Въ исполненномъ аристократизма превознесеніи своего субъективнаго я надъ чернью, надъ обыкновенными людьми, начинается сквозить разнузданный и безпредѣльный эгоизмъ, ни передъ чѣмъ не останавливающійся, только бы удовлетворить своимъ фантазіямъ. Этотъ эгоизмъ, сочетающійся съ наивною жестокостію, достигаетъ крайняго своего предѣла въ катастрофѣ, постигающей Розенкранца и Гильденштерна, въ дѣйствіи Гамлета, безусловно преступномъ, о которомъ Штопферъ (*Shakespeare et l'Antiquité* 1880, 2 v., p. 303) говоритъ, что оно исполнено съ адскимъ искусствомъ и дьявольскимъ злорадствомъ. Эти два вѣрные служители короля, приставленные къ Гамлету, суть простые исполнители приказаній свыше. Имъ приказано отвезти Гамлета въ Англію и дано порученіе передать запечатанный пакетъ, котораго содержаніе имъ неизвѣстно и въ которомъ Клавдій проситъ своего вассала, короля Англіи, дабы высадившемуся Гамлету была немедленно отрублена голова. Гамлетъ догадался объ из-

мѣнѣ, добрался на кораблѣ до пожитковъ своихъ приставовъ, вскрылъ пакетъ и не только похитилъ его, но и замѣнилъ другимъ фальшивымъ, за поддѣланною имъ подписью короля. Въ этомъ фальшивомъ посланіи заключалась просьба къ англійскому королю предать смерти обоихъ его подателей. Въ теченіи морского пути Гамлетъ, воспользовавшись нападеніемъ на датскій корабль пиратовъ, вскочилъ на ихъ судно и попалъ къ нимъ въ плѣнъ, между тѣмъ какъ пристава достигли по отраженіи пиратовъ благополучно Англій, ничего не подозрѣвая, но были тамъ казнены. Оба они были люди простые, но по своимъ понятіямъ честные и ни въ чемъ неповинные. Они погибли только вслѣдствіе того, что Гамлетъ свою борьбу съ королемъ понимаетъ какъ искусную азартную игру, что опъ ее смакуетъ и радъ, когда ему удастся убить ту или другую пѣшку у короля. Еще до начала путешествія (III, 4) Гамлетъ наслаждается мысленно тѣмъ, что «забавно будетъ видѣть, какъ инженеръ взлетитъ, съ своимъ снарядомъ. Подъ ихъ подкопъ, когда я не обчелся, я подведу другой, аршиномъ глубже и онъ взорветъ ихъ до луны! О, какъ отрадно, столкнуть двѣ силы на одномъ пути». Штука вполне удалась; принцъ описываетъ ее съ величайшимъ наслажденіемъ, какъ истый художникъ, не замѣчая даже, какъ отъ его разсказа покорило друга его—Гораціо. Совѣсть королевича чиста и спокойна, стоитъ ли думать о такихъ червячкахъ и букашкахъ: «Плохо, если слабый бросается въ средину межъ мечей бойцовъ сильнѣйшихъ». Нравственная порча въ Гамлетѣ далеко подвинулась и добрый, благодушный племянникъ подъ конецъ сталъ немногимъ лучше дяди. Недавно Ренанъ пытался продолжать «Бурю» Шекспира въ двухъ драмахъ «Caliban» и «Eau de Jouvence» и представить дальнѣйшія судьбы мудреца Просперо по возвращеніи его съ дикаго острова въ Миланъ. Любопытно, не попытается ли въ будущемъ кто либо, измѣнивъ конецъ Гамлета и возведя его на престолъ, по упраздненіи по дѣломъ на-

казаннаго дяди, изобразить намъ въ поэтическомъ произведеніи систему управленія этого фантаста съ его скептицизмомъ, съ его мечтательствомъ, съ прирожденнымъ ему артизмомъ и съ приобретенными презрѣніемъ и пренебреженіемъ людей. Курьезное зрѣлище представило бы намъ царствованіе этого короля-поэта, которое заставило бы, вѣроятно, многихъ вспомнить съ сожалѣніемъ о временахъ короля Клавдія. Трагическая катастрофа, пресѣкающая нить жизни королевича въ измѣнническомъ поединкѣ съ Лазртомъ, спасаетъ Гамлета отъ еще болѣе плачевнаго конца, который бы его постигъ, если бы онъ пережилъ дядю. Не могу согласиться съ заключающими драму словами Фортинбраса: (V, 2) «Онъ все величіе царя явилъ бы, когда-бъ остался живъ». Думаю, что при своей умственной организаціи, уже выработавшейся въ моментъ перваго появленія духа, онъ не совладалъ бы ни съ какими болѣе сложными практическими задачами, но въ виду постигающей его смерти, забывая про пятна и поминая его только добромъ за благородство и даровитость этой многострадавшей души, мы настраиваемся на тонъ послѣдняго сказанія Горацио: «Вотъ благородное утасло сердце! Покойной ночи, милый принцъ. Спи мирно подъ свѣтлыхъ ангеловъ небесный хоръ!»

Теперь можемъ сказать «прощай» и Гамлету, и Шекспиру. Поэзія Шекспира не объемлетъ всѣхъ родовъ поэтическаго творчества и всѣхъ его источниковъ. Есть одинъ особый родъ поэзіи—поэзія религіозно-мистическая или метафизическая, поэзія библіи и корана, псалмовъ и книгъ пророковъ, Данта, а изъ польскихъ великихъ поэтовъ—Красинскаго. Кто такую поэзію возлюбилъ, того вѣчно будутъ отталкивать иронія и наблюдательность Шекспира, при признаваемыхъ за нимъ всевозможныхъ достоинствахъ. Но есть также поэзія, истекающая изъ другаго источника, не кидаящаяся за предѣлы этого міра, довольствующаяся меньшимъ, идеализирующая этотъ свѣтъ, каковъ онъ есть, со всѣми его несовершенствами и терніями, заглядывающая въ сокровеннѣйшіе изгибы

души, ищущая прежде всего правды и изслѣдующая ее во всей полнотѣ не только въ гармоническомъ и граціозномъ, но и въ уродливомъ, и въ ужасномъ, не тенденціозная, но старающаяся выработать въ человѣкѣ совѣсть и волю и внушить ему, что онъ лицо весьма ответственное. Кто остановился у втораго изъ этихъ двухъ полюсовъ поэзіи, кто понимаетъ искусство какъ красивѣйшій изъ цвѣтовъ въ этой жизни, тому Шекспиръ послужитъ наставникомъ, путеводителемъ, неисчерпаемымъ источникомъ знанія, отрады и наслажденія. Въ 4 пѣснѣ первой части трилогіи Данта добрыя, хотя некрещеныя души поютъ въ честь величайшаго пѣвца древности—Гомера: *onorate l'altissimo poeta!* Перемѣняя предметъ поклоненія и подставляя вмѣсто Гомера Шекспира, мы можемъ сказать: отдайте честь высокому поэту!

1883 г.

---





# Мартинъ Матушевичъ

И ЕГО МЕМУАРЫ.



# Мартинъ Матушевичъ

И ЕГО МЕМУАРЫ.

Pamiętniki M. Matuszewicza, kasztelana brzesko-litewskiego. 1714 — 1765.  
wydał Adolf Pawiński, tomów 4. Warszawa 1876.

## I.

Передъ нами—«Записки кастеляна брестъ-литовскаго Матушевича». Слѣдуетъ однако замѣтить, что въ тотъ моментъ, когда авторъ дописывалъ послѣднее слово въ своемъ дневникѣ, въ которомъ, по его же словамъ, истина «изложена слишкомъ откровенно и для многихъ лицъ непріятно» (IV. 318), Матушевичу еще было далеко до высшихъ званій и кресла въ сенатѣ. Онъ былъ въ то время еще только брестскимъ стольникомъ и при всей своей оборотливости еще не успѣлъ выплыть наверхъ, а долженъ былъ держаться покровительства благодѣтелей своихъ, противниковъ партіи Чарторыскихъ, или, какъ въ то время было принято называть ее,—партіи «фамиліи». Главными противниками «фамиліи» были гетманъ Браницкій, Карлъ Радзивиллъ и Францискъ-Феликсъ Потоцкій, о которыхъ канцлеръ литовскій Чарторыйскій выражался такъ: «другіе всѣ, при этихъ трехъ—все равно, что звонки на ошейникѣ: тряхнется ошейникъ, тогда и они звенятъ» (IV, 243).

Нелегка была служба Матушевича, а вознагражденіе было еще впереди, оно только обѣщалось. Къ тому же, покровители его и сами-то не всегда стояли твердо, а потому стольникъ брестскій принужденъ былъ унижаться, заискивать у князя-канцлера литовскаго, ѣздить къ нему, чтобы побыть у него на глазахъ, выжидая его надъ собой милосердія (IV. 239, 242). Но эти кошачьи ласки не обманывали канцлера: «г. стольникъ брестскій—говаривалъ онъ—для насъ хорошъ, когда намъ хорошо, а еслибъ намъ пришлось худо, тогда онъ былъ бы къ намъ всѣхъ хуже» (IV. 287). Дѣйствительно вышелъ въ люди Матушевичъ уже значительно позднѣе, когда самъ король Станиславъ-Августъ уже разошелся съ «фамиліею», когда «фамилія» уже лишилась опоры въ Петербургѣ, всѣ ея планы пошли прахомъ, а фаворитомъ счастья сдѣлался возвратившійся изъ за-границы изгнанникъ Карлъ Радзивиллъ, воевода виленскій, маршалъ бывшей радомской конфедерации. Радзивиллъ въ отношеніи умственномъ постоянно находился подъ чьимъ нибудь руководствомъ. Руководителями Радзивилла въ этомъ важномъ но некрасивомъ періодѣ его жизни были Карръ и Матушевичъ—какъ секретарь той же конфедерации, а потомъ и сейма 1768 года. Съ радомской конфедерациею, въ смыслѣ нравственномъ, можно сравнить развѣ только тарговицкую. Правда, о Карлѣ Радзивиллѣ можно при этомъ замѣтить, что онъ самъ не вѣдалъ, что творилъ, но о Матушевичѣ этого ужъ никакъ сказать нельзя. Въ числѣ всѣхъ, окружавшихъ виленскаго воеводу, Матушевичъ отличался и находчивостью въ совѣтахъ и искуснымъ перомъ. Вотъ за эти-то непохвальные услуги Матушевичъ и получилъ обильную награду: 50 тысячъ злотыхъ, выданныхъ изъ казначейства, и достоинство кастеляна. Это высокое званіе, хотя и осуществило мечты юности честолюбца, но зато, если разобратъ, какъ оно было выслужено, является на немъ какъ бы клеймомъ. По прочтеніи мемуаровъ, хотѣлось бы вѣрить, что писавшій ихъ стольникъ былъ лучше позднѣйшаго кастеляна брестскаго.

Конечно, приобрѣтеніе этого званія было результатомъ тѣхъ нравственныхъ свойствъ, какія въ Матушевичѣ обнаруживались втеченіи всей жизни и которыя въ самыхъ запискахъ его высказываются съ замѣчательной наивностью; но всетаки въ этихъ запискахъ, онъ не рѣшился досказать—какими путями и по какимъ ступенькамъ онъ дошелъ до званія члена сената—кастеляна брестъ-литовскаго.

Какъ бы ни представлялась несимпатичною личность автора, это не уменьшаетъ интереса самыхъ записокъ. Онѣ, дѣйствительно, составляютъ «настоящее сокровище», какъ о нихъ отзывался Юльянъ Бартошевичъ, являются однимъ изъ обильнѣйшихъ источниковъ для уразумѣнія нравственной фizioноміи, близкаго уже къ упадку въ половинѣ XVIII столѣтія, польскаго государства. Эта, не слишкомъ еще отдаленная эпоха была впоследствии, когда она представилась воображенію какъ предсмертные часы независимости—сильно подѣрана и идеализирована въ множествѣ беллетристическихъ произведеній. И вотъ передъ нами, съ изданіемъ мемуаровъ Матушевича, появился такой призракъ, который поражаетъ реальностью, и въ силу ея похожъ на человека живаго, истолкователя мыслей и чувствъ многихъ людей, жившихъ вѣкъ тому назадъ. Записки эти настолько же отличаются отъ мраморныхъ статуй, созданныхъ искусствомъ, насколько опытъ выше гаданія, а вивисекція поучительнѣе вскрытія мертваго организма. Записки Матушевича слѣдуетъ признать столь же цѣннымъ матеріаломъ для уразумѣнія людей и отношеній въ періодъ, непосредственно предшествовавшемъ разложенію республики, какъ открытые гр. Едуардомъ Рачинскимъ въ 1836 году мемуары Яна-Хризостома Паска — для XVII вѣка. Стоя безъ всякаго сравненія ниже Паска въ отношеніи нравственномъ, Матушевичъ однако не уступаетъ ему какъ замѣчательный писатель, отчасти даже художникъ. Въ своемъ качествѣ оратора, всегда готовый привести цитату изъ Горація или Буало, какъ

стихотворецъ, онъ по владѣнію формой, уже почти можетъ быть причисленъ къ эпохѣ Станислава-Августа. Записки свои Матушевичъ составлялъ долгіе годы, не имѣя при томъ какой либо особой практической цѣли. Это не есть самозащита передъ потомствомъ, изложенная челоувѣкомъ, который бы заботился еще при жизни соорудить себѣ храмъ съ алтаремъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, это и не памфлетъ тенденціознаго свойства, приспособленный къ взглядамъ извѣстной партіи и имѣющій что-либо доказать. Набрасывая свое «частное писаніе для домашняго свѣдѣнія», Матушевичъ просто удовлетворялъ внутренней своей потребности — собрать впечатлѣнія и наблюденія своей исполненной волненій жизни и сохранить ихъ, въ первобытной ихъ свѣжести, для самого себя на то время, когда придется неподвижно сидѣть передъ каминомъ, читая «Часы» и оглядываясь на прошлое. При чтеніи этихъ записокъ невольно приходитъ мысль о заполненныхъ ими долгихъ дняхъ дурной погоды въ деревнѣ или о зимнихъ вечерахъ, проведенныхъ за ними въ промежуткахъ сессій сеймиковъ и трибуналовъ, когда, присѣвъ къ переплетенной книгѣ, стольникъ извлекалъ изъ черновой записной тетрадки и разныхъ бѣглыхъ замѣтокъ и заносилъ сразу событія и случаи за нѣсколько мѣсяцевъ и даже лѣтъ, неоднократно мѣняя притомъ свой взглядъ на людей, которыхъ прежде изображалъ иначе, и характеризуя ихъ съ новымъ освѣщеніемъ, согласно съ измѣнившимися своими къ нимъ отношеніями.

Въ заголовкѣ записокъ сказано: «дневникъ моей жизни, для свѣдѣнія потомковъ и *въ ихъ назиданіе*», но это первоначальное намѣреніе, если оно у автора и было, вовсе не исполнено съ точностью. Матушевичъ мало старается поучать, ни о чемъ не выражаетъ сожалѣнія, но даетъ полную волю своей сатирической венѣ, и въ концѣ проситъ извинить и отпустить ему только лишь этотъ сатирическій грѣхъ, простить только то, что истина слишкомъ искренно изложена и потому оскорбительна.

Не имѣя нужды стѣсняться передъ самимъ собой, авторъ ничего не прикрываетъ и не подкрашиваетъ, а признается наивнѣйшимъ образомъ въ поступкахъ, противныхъ нравственности, иногда даже прямо некрасивыхъ. Такъ какъ мемуары свои онъ писалъ постепенно а не подъ рядъ, то въ повѣствованіи преобладаетъ не эпическій, но скорѣе драматическій характеръ, не картинное представленіе лицъ и происшествій, но схватываніе ихъ на ходу и отмѣтка мелкими, но характерными чертами, какъ бы при помощи рѣзца. Ему удастся иногда полусловомъ вызвать предъ нами не выписанный портретъ, но живой типъ, съ его движеніями и игрой тѣхъ нравственныхъ пружинъ, которыя побуждали его дѣйствія.

Такого рода чистый реализмъ, не заправленный какимъ бы то ни было спеціальнымъ намѣреніемъ, не можетъ не производить сильнаго впечатлѣнія, хотя бы онъ былъ примѣненъ даже къ предметамъ грязнымъ и противнымъ. Самая правда и есть красота—таково принятое нынѣ эстетическое правило, а такъ какъ красота въ значеніи эстетическомъ входитъ въ общее понятіе о красотѣ, къ которому принадлежитъ и представленіе о красотѣ нравственной, то еслибы мемуары Матушевича появились лѣтъ 20—30 тому назадъ, въ самый разгаръ старопольскаго эпоса и прославленія дворянщины въ нашей литературѣ, то кто-нибудь, пожалуй, восхищался бы этими записками въ простотѣ души, за мастерское воспроизведеніе родной старины, не смущаясь весьма сомнительнымъ значеніемъ и самого автора, и его произведенія, въ смыслѣ гражданской нравственности. Вѣдь имѣли же въ то время большой успѣхъ рассказы Бенедикта Винницкаго, которые, въ этомъ послѣднемъ отношеніи, стояли немногимъ выше, изобиловали поркою и кровавыми драками въ церкви, а даже и кухонными условіями всей обстановки сеймованія. Ко всему этому, въ запискахъ Матушевича присоединяются еще новыя и неоцѣнимыя подробности свойства финансоваго: сколько сребренниковъ пошло на то, чтобы сеймигъ состоялся

или чтобы онъ «сорвался», или на избраніе депутата въ трибуналь.

Но нынѣ измѣнилось отношеніе наше къ прошедшему, взгляды наши стали трезвѣе, а требовательность строже, мы сдѣлались разборчивѣе, муть въ недопитой рюмкѣ мы уже не принимаемъ за чистое вино. Намъ реализмъ этихъ мемуаровъ интересуетъ и поучаетъ, но одновременно и ужасаетъ, такъ какъ изъ этого зеркала глядитъ на насъ отвратительное лицо того времени, заплывшее жиромъ, красное отъ вина, сіяющее вакхической усмѣшкой, лицо Силена на картинѣ Рубенса. То эстетическое удовольствіе, какое могли бы намъ доставить типичность и реальность картины, совершенно исчезаетъ вслѣдствіе отвращенія, какое производитъ ея смыслъ. По теоріи Дарвина, потребовались сотни тысячъ лѣтъ, чтобы изъ звѣринаго образа могъ выработаться человѣкъ, а въ той картинѣ, которую намъ далъ Матушевичъ, всего сто лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ дѣйствующихъ лицъ—людей, которые не сумѣли предвидѣть близкой, кровавой будущности, людей безъ совѣсти и стыда. Слишкомъ недавнимъ является все это для того, чтобы мы могли представить себѣ возможность такихъ людей и невольно чувствуется потребность—или отречься отъ нихъ, или же взять на себя защиту того безславнаго вѣка противъ Матушевича. И въ самомъ дѣлѣ, все что случилось рельефнаго впослѣдствіи, всѣ стремленія преобразовательныя, всѣ усилія обращенныя, хотя и поздно, къ улучшенію, къ спасенію—невозможно было бы объяснить себѣ, если бы не предположить, что и въ томъ періодѣ, который описанъ Матушевичемъ, наряду съ нравственнымъ упадкомъ, были же и болѣе чистыя теченія, болѣе здоровыя понятія; что духъ своего времени авторъ «Записокъ» мѣрилъ слишкомъ исключительно на мѣрку личнаго своего характера. А вѣдь онъ самъ, какъ общественный дѣятель, является предъ нами если не однимъ изъ крупнѣйшихъ червей на тѣлѣ умиравшей Республики, то во всякомъ случаѣ порочнымъ



сыномъ своего вѣка. Многое, что было совершаемо впоследствии во искупленіе прошлаго должно же было произойти изъ какихъ-нибудь наличныхъ и передъ тѣмъ элементовъ, и потому намъ остается только предположить, что картину своего времени Матушевичъ представилъ слишкомъ односторонно, слишкомъ сгустилъ и безъ того уже мрачныя краски тогдашней дѣйствительности.

И такъ, прежде чѣмъ провѣрить въ общемъ и въ частностяхъ поставленный передъ нами образъ историческаго періода, подвергнемъ изслѣдованію самыя свойства и особенности того зеркала, въ которомъ онъ для насъ отразился; намъ необходимо войти прежде всего въ оцѣнку характера самого автора «Записокъ», какъ человѣка и гражданина; затѣмъ уже будетъ легче убѣдиться, насколько эти свойства личности повліяли на писателя, на художественную сторону изображенія и на степень точности въ рисовкѣ событій и портретовъ изображаемыхъ лицъ. Но замѣтимъ напередъ, что изъ всѣхъ являющихся въ «Запискахъ» портретовъ наименѣе сомнительнымъ, относительно сходства, представляется намъ собственный портретъ ихъ автора. Самая личность Мартина Матушевича можетъ служить однимъ изъ наиболѣе цѣнныхъ историческихъ источниковъ для уразумѣнія XVIII вѣка, такъ какъ онъ самъ является однимъ изъ наиболѣе характерныхъ типовъ того исполненнаго тревоженій періода.

## II.

Общественную свою дѣятельность Матушевичъ началъ при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ. Происходилъ онъ изъ семьи порядочной, достаточной, дворянской, но не аристократической. Отецъ его, старѣста стокискій, былъ человѣкъ умный, бывалый, знавшій почти всѣ европейскіе языки (I. 92); онъ построилъ монастырь

въ Расной, состоялъ членомъ братства Дѣвы Маріи, былъ столь строго набоженъ, что даже лежа на смертномъ одрѣ, когда ему было 83 года, все еще соблюдалъ постъ. Староста, приверженецъ Сапѣговъ и близкій имъ человѣкъ, держался однако какъ можно дальше отъ жизни публичной, занимался исключительно хозяйствомъ, но при этомъ пользовался такимъ уваженіемъ и вліяніемъ, что когда воевода мазовецкій Понятовскій, отецъ будущаго короля (1743 г.), вздумалъ женить старшаго своего сына, Казимира, на дочери подскарбія Сапѣги, разведенной съ Іеронимомъ Радзивилломъ, то Матушевича просилъ быть сватомъ; бракъ этотъ, однако, не состоялся, такъ какъ Сапѣга видѣлъ въ немъ *mésalliance* для своего дома (I. 145). Мартинъ былъ старшимъ сыномъ старосты Матушевича. Одаренный большими способностями, хорошо изучившій классиковъ—у іезуитовъ, молодой Мартинъ поступилъ въ лейбъ-мушкетеры короля Августа II. Эта лейбъ-компанія, состоявшая изъ 80 молодыхъ людей, разсѣялась послѣ смерти короля, такъ какъ, получавъ жалованье отъ саксонскаго курфирста, часть ихъ не захотѣли присягнуть республикѣ и были высланы. Другіе же, а съ ними и Матушевичъ, присягнули безъ затрудненій, какъ вѣрные сыны отечества, за что Матушевича поцѣловалъ въ голову примасъ Потоцкій, а великій маршалъ коронный Мнишехъ похвалилъ, пообѣщавъ, что пошлетъ его, послѣ избранія новаго короля, вмѣстѣ съ своими сыновьями за границу (I. 13). Покамѣстъ, однако, Матушевичъ остался въ домѣ у родителей, но не надолго. Все брестское дворянство, исключая развѣ Сапѣговъ, было горячо предано партіи Станислава Лещинскаго, а потому среди наступившей борьбы родители не могли удержать молодаго человѣка, который рвался къ участию въ ней. Отецъ, по привычкѣ сторонившійся отъ политики, остался дома, а когда вступилъ русскій отрядъ и полковникъ Кондыревъ сталъ приводить жителей Бреста къ присягѣ на вѣрность Августу III, то старый Матушевичъ принесъ требуемую

присягу, выговоривъ, впрочемъ, про себя, вмѣсто *non coacte*—*nunc coacte* (I. 33).

Но сынъ присоединился къ конфедераціи при королѣ Станиславѣ и получилъ подъ начальство команду изъ 200 рекрутъ изъ крестьянъ, не имѣвшую ни ружей, ни какой-либо амуниціи (I. 38). «Тутъ я узналъ—пишетъ авторъ—что одно дѣло знать учебные приемы, а другое дѣло—командовать, и что плохо не проходить всѣ военныя званія подъ рядъ, начиная отъ унтеръ-офицера: я бы просто не сумѣлъ сдѣлать никакого распоряженія, еслибы меня не научилъ поручикъ Ланге» (I. 63). Матушевичъ былъ въ этой пѣхотѣ старшимъ капитаномъ. Другимъ офицерамъ пришла мысль распустить людей, а отъ Матушевича вытребовать около тысячи талеровъ на жалованье; но встрѣтивъ съ его стороны отказъ, они съ нимъ распрощались и разъѣхались (I. 43). Матушевичу не пришлось видѣть настоящей войны. Военныя дѣйствія, въ которыхъ участвовалъ его отрядъ, просто состояли въ безцѣльныхъ переходахъ изъ Кобрина на Волынь, оттуда чрезъ Пинскъ на Минскъ, въ Вильно, на прусскую границу—въ Вармію, а наконецъ въ Кенигсбергъ, куда собрались одни только предводители Станиславовской партіи, растерявъ предварительно подчиненныхъ. «Эти господа—говоритъ авторъ—позабывъ о домахъ своихъ и своемъ неблагопріятномъ положеніи, зажили тутъ на широкую ногу, стали задавать шику, давали балы, пустились въ инклинаціи и наслажденія, такъ что многіе впали въ болѣзни непристойнаго свойства. А партія уменьшалась, такъ какъ иные, не уплативъ долговъ, тайно изъ Кенигсберга выѣзжали» (I. 54, 55). Нашъ офицеръ снялъ съ себя мундиръ навсегда, тамъ же, въ Кенигсбергѣ, и далѣе мы уже имѣемъ дѣло только съ писателемъ, дипломатомъ и юристомъ, который, конечно, готовъ при необходимости выйти на поединокъ и рубиться за восстановленіе чести своей, или своего рода, или своей партіи, но предпочитаетъ вообще разрѣшать всякія столкновенія оружіемъ «гусинымъ» и

даже «жидовской саблей (деньгами)», а не открытой силою (IV. 247).

Когда пришлось вернуться домой, то Матушевичъ сталъ тамъ скучать, сидячая домашняя жизнь скоро ему надоѣла, занимался онъ больше книгами и охотой, чѣмъ помощью отцу въ хозяйствѣ. Вотъ эта-то скука, гораздо болѣе чѣмъ легитимистская преданность—какъ-то утверждаетъ Бартошевичъ, въ своемъ этюдѣ о Сосновскомъ, гдѣ многое прямо взято въ сыромъ видѣ изъ записокъ Матушевича—и подсказала проектъ поѣздки въ Люневилль, ко двору бывшаго короля, такъ какъ при такой поѣздкѣ можно было и научиться кое-чему и во всякомъ случаѣ усовершенствовать манеры. Но отецъ Мартина избралъ для него нѣчто иное: службѣ придворной или званію домашняго секретаря у кого либо изъ магнатовъ, онъ предпочелъ для сына должность общественную. А такъ какъ должности въ то время почти всѣ продавались, а мѣста въ старостствѣ зависѣли отъ старосты, то старикъ и купилъ для 25 лѣтняго сына у старосты брестскаго Фридерика Сапѣги канцлера вел. кн. литовскаго, за 600 дукатовъ, должность градскаго брестскаго секретаря. «Я держался съ оглядкой—пишетъ авторъ—снискивая аффекты жителей воеводства, кланялся я и угощалъ по мѣрѣ возможности. Угощалъ и моихъ товарищей—подстаросту и градскаго судью (I. 88). Расходы все возрастали, а сушлементъ отъ отца былъ невеликъ. Я рѣшился не задаваться парадностью, сталъ разъѣзжать куда надо верхомъ, съ двумя людьми, а то и самъ-другъ, прислуживаться отказомъ отъ вознагражденій, бѣгать по розыскамъ и исполненіямъ» (I. 92—144). Успѣлъ онъ притомъ же привести въ порядокъ дѣла т. е. акты старостинскаго (градскаго) управленія и суда, которые до того времени гнили, сваленные въ брестскихъ костелахъ (I. 96). И дѣйствительно, «аффекты» мѣстнаго дворянства къ Матушевичу росли, вслѣдствіе его услужливости, росли популярность и вліяніе, пригодныя въ будущемъ. «А когда мнѣ кому удалось услужить, то при сеймикѣ писалъ я

ему, приглашалъ его прибыть—говорить авторъ (I. 125), при чемъ развиваетъ цѣлый обдуманнѣйшій планъ своей политики. «Ибо такова была моя максима при сессіяхъ сеймиковъ, да и въ отношеніяхъ по воеводству: всѣмъ искренно и охотно служить, обидѣ своихъ не помнить, даже врагамъ оказывать услуги или дать подарокъ, за официальное мое дѣлопроизводство брать мало, а то и вовсе ничего, нуждающемуся помочь, пріѣхать по довѣренности на-легкѣ и актъ составить скоро, дабы не вводить сторонъ въ расходъ, мирить, а при мировой приплатить иногда и изъ своего кармана. При судебныхъ и сеймиковыхъ сѣздахъ держать столъ открытый, угощать виномъ хорошимъ, и не то, что подчивать, а усиленно поить, при чемъ и собственнаго своего не щадить здоровья; на сеймикахъ никогда не доходить самому *ad extremities*; каждому голосу давать значеніе, контрадицентовъ упрашивать, претензіи, какія у нихъ бывали къ кандидатамъ на должности, нерѣдко удовлетворять на свой счетъ, данное слово сдерживать пунктуально. Если сессія сеймика состоялась благополучно, то радоваться тому вмѣстѣ со всѣми; а если не дошло до конца, тогда—разъѣзжаться въ совершенной конфиденціи даже и съ тѣми, кѣмъ сеймикъ былъ испорченъ, и которые послѣ, бывало, ко мнѣ приходили. Я съ ними пилъ, веселился съ полной откровенностью, извиняя ихъ и входя въ ихъ потребности, что они имѣли свои поводы поступить такъ, а не иначе» (I. 213).

Вотъ — премудрые совѣты, на первый взглядъ одушевленные, какъ будто, искренней преданностью гражданскимъ обязанностямъ. Но если присмотрѣться къ нимъ ближе, то станетъ ясно, что истекали они изъ расчета, который заходилъ гораздо далѣе скромнаго желанія — добросовѣстно служить братьямъ—дворянамъ. Нѣтъ такихъ интересовъ общественнаго блага, которые бы требовали подобнаго макіавельскаго притворства, да и состояніе обыкновеннаго дворянина не могло бы выдержать такого возрастающаго расхода на ѣду и вино, еще съ заключе-

ніемъ мировыхъ между спорящими—на свой счетъ. Цѣною подобныхъ усилій бываетъ лишь пріобрѣтеніе популярности, при такихъ условіяхъ, когда она нужна, какъ лѣстница, чтобы взобраться на верхи общественной іерархіи. И дѣйствительно, Мартинъ Матушевичъ съ самой молодости былъ одержимъ жаждой власти и величія и вполне выдержанно шелъ къ цѣли своего честолюбія: уже въ 1754 году у него въ мысли то кастелянство брестское, которое онъ и получилъ 14 лѣтъ позднѣе. Положимъ, и въ большомъ честолюбіи нѣтъ ничего дурнаго, если оно избираетъ такіе пути къ возвеличенію человѣка, которые согласны съ благами общественными. Но таково ли было честолюбіе Матушевича? И могъ ли человѣкъ съ честолюбіемъ такого рода, дѣйствительно выдвинуться изъ рядовъ и занять высокое положеніе, у насъ въ XVIII вѣкѣ? Отвѣтъ на эти вопросы мы дадимъ въ послѣдующемъ.

Какъ бы то нибыло, въ способностяхъ для осуществленія честолюбивыхъ намѣреній у автора не было недостатка, но на пути его становились разныя иныя препятствія. Не мало вредили ему родные: мать и братья, а сверхъ того, та почва милости сильныхъ магнатовъ, по которой приходилось ставить шагъ за шагомъ, чтобы добраться до ступеней высокихъ, была такъ скользка, и такъ обильна разными неожиданностями, что судьба автора «Записокъ» неразъ висѣла на волоскѣ. Здѣсь мы должны нѣсколько присмотрѣться къ его близкимъ, и прежде другихъ—познакомиться съ личностью его родительницы. Госпожа Тереза Матушевичъ, рожденная Кемпская, бывшая по отцу въ свойствѣ съ Мостовскими и принесшая мужу значительное приданое, сама принадлежитъ къ числу наиболѣе курьезныхъ типовъ, обрисованныхъ въ настоящихъ мемуарахъ. «Во время оно (1742 г.)—пишетъ авторъ—мать моя, пріѣхавъ въ Голлицы, нашла тамъ какой-то безпорядокъ (I. 126), а такъ какъ управляющимъ тамъ былъ шляхтичъ Ластовскій, то она приказала бить его плетми по голому

тѣлу такъ сильно, что этотъ Ластовскій померъ. Испугалась матушка и скрылась въ францисканскій монастырь». Дабы отвратить скверное судебное дѣло, надо было сдѣлать Ластовскаго не-дворяниномъ; вытребовали метрическую книгу крещеній отъ священника въ Опмянахъ и затѣмъ, г-жа Матушевичъ съ угрозами требовала отъ сына, чтобы онъ внесъ въ эту книгу фальшивую запись о Ластовскомъ, а когда сынъ не согласился, то она долгое время не пускала его къ себѣ на глаза (I. 127). Дѣло это устроилъ подкоморій (предводитель дворянства) Красинскій такимъ способомъ, что г-жа Матушевичъ обязалась показать подъ присягою, что не была виновна въ смерти Ластовскаго, — «каковая присяга—прибавляетъ авторъ—и по сей день не принесена». Было еще и другое, также не хорошее дѣло, касающееся серебряной церковной утвари и обломковъ дароносицы, которые были найдены во время пожара у одного жида въ имѣннѣ Матушевичей—Расной, и вручены на храненіе г-жѣ Матушевичъ, присвоившей эти вещи себѣ, откуда и пошла вѣсть, что Матушевичи обогащаются присвоеніемъ краденыхъ церковныхъ вещей (I. 66, 120). Наконецъ, третье дѣло было начато самой старостиною къ немалой опасности для всей семьи Матушевичей, такъ какъ противникомъ былъ человѣкъ могущественный — Михаилъ Сапѣга, воевода подляскій и генералъ литовской артиллеріи. Дѣло произошло изъ за ярмарки, бывавшей въ Расной, въ день русскаго праздника св. Іліи (I. 39—73). Воевода устроилъ на то же время ярмарку въ своей деревнѣ — Высокомъ, и разставивъ по дорогамъ караулы изъ своихъ солдатъ, заставлялъ купцовъ сворачивать къ себѣ. Тогда родители Матушевича принудили его дать имъ брестскую конфедератскую пѣхоту для охраны ихъ ярмарки въ Расной. Старикъ Матушевичъ сперва писалъ воеводѣ, что «на семъ свѣтѣ ничего съ вашей милостью мнѣ не подѣлать, зато призову васъ, за мою обиду на судъ Божій»; но потомъ однако предъявилъ къ воеводѣ искъ

въ люблинскомъ трибуналѣ. Г-жа Матушевичъ отправилась тогда на сессію, взявъ 11 тысячъ золотыхъ на поддержку дѣла, сама всячески экономничая въ пути и обижая хозяевъ въ заѣздныхъ домахъ; но возвратилась она ни съ чѣмъ, такъ какъ люблинскій судъ призналъ дѣло подлежащимъ компетенціи трибунала литовскаго, въ которомъ самъ Сапѣга уже предъявилъ встрѣчный искъ къ родителямъ Матушевича. Семьи ихъ угрожало полное разореніе. Сапѣга собирался уже завладѣть Расною и побудилъ кредиторовъ Матушевича къ общему предъявленію ихъ претензій на его имѣніе, но раньше, чѣмъ это могло состояться, воевода умеръ внезапно, и Матушевичи ожили. Страстно любя сутяжничество, старостина второго своего сына Іосифа отдала въ адвокатскую контору для выучки, и готова была бы всѣхъ своихъ дочерей выдавать за адвокатовъ при трибуналахъ, съ тѣмъ чтобы имѣть въ нихъ даровыхъ защитниковъ въ своихъ процессахъ. На одной изъ дочерей женился люблинскій адвокатъ Лехницкій, котораго дворянское происхожденіе было сомнительно, который и дома своего не имѣлъ, а нанималъ квартиру, а на свадьбу пріѣхалъ верхомъ и не имѣлъ въ чемъ везть жену къ себѣ, въ Люблинъ. Очень скоро устроили разводъ, ссылаясь, по обычаю, на мнимое принужденіе; но едва ли не тотчасъ затѣмъ мать стала всѣми силами принуждать другую дочь — при чемъ, то страшила ее розгами, то падала къ ея ногамъ — чтобы та вышла за противнаго ей вдовца-адвоката Рушца, и дѣвушка должна была согласиться. Самъ старикъ Матушевичъ подозрѣвалъ, что имѣя зятемъ адвоката, жена постарается по смерти мужа, завладѣть всѣмъ, что онъ оставитъ (I. 118). Всѣ гадкія дѣла матери падали и на Мартина Матушевича, такъ какъ она принуждала его поддерживать ихъ, угрожая въ противномъ случаѣ отнять у него свое благословеніе.

Братья также не были Мартину ни подмогой, ни честью. Выдавая себя за особеннаго ихъ благодѣтеля и



разсказывая сколько трудовъ ему стоила защита ихъ въ серьезномъ дѣлѣ по убійству Паровинскаго, который былъ ими застрѣленъ (I. 109, 190), авторъ разсказываетъ о нихъ такія вещи, что нельзя понять, какимъ образомъ онъ поддерживалъ какія-либо съ ними отношенія. Младшій братъ Вячеславъ, поручикъ, постоянно судился съ нимъ за раздѣлъ движимаго имущества по отцѣ, и угрожалъ хватить брата саблей по лбу (III. 56), Мартинъ Матушевичъ упрекалъ его въ глаза, что онъ, братъ, въ химерическомъ своемъ молодечествѣ «исками своими и жалобой сдѣлалъ меня въромъ, публично обвинялъ меня въ лжеприсягѣ и примиреніе предлагалъ мнѣ въ видѣ милости». Средній братъ, Іосифъ, полковникъ, былъ разсудительнѣе, но зато оказывался эгоистомъ, хотѣлъ помѣшпать Мартину жениться, чтобы не лишиться надежды быть его наслѣдникомъ (II. 172), ни разу не досидѣлъ до конца на сеймикѣ или на семейныхъ совѣщаніяхъ съ противникомъ для составленія компромисса, всегда жалѣлъ денегъ на публичныя издержки для партіи, данныя же себѣ для этой цѣли деньги употреблялъ въ свою пользу, а между тѣмъ постоянно критиковалъ каждый шагъ своего старшаго брата; въ самыя трудныя минуты борьбы съ канцлеромъ Сапѣгою—думалъ только о томъ, какъ бы самому выйти сухимъ изъ воды, то есть просто сдать канцлеру на его произволъ, и наконецъ, ухаживая за любовницей Флеминга, Тимановой, чтобы на ней жениться, выдавалъ приверженцамъ Чарторыскихъ тайны радзивилловской партіи (IV. 219), вводя этимъ брата Мартина въ подозрѣніе у покровителей послѣдняго.

При такой матери и такихъ братьяхъ—если только правда все, что о нихъ сказано въ «Запискахъ»,—Мартинъ Матушевичъ, стало быть, уже только самому себя былъ обязанъ той любовью и уваженіемъ, какими онъ пользовался среди дворянства брестскаго воеводства. Этой любовью онъ могъ и ограничиться, не тратя средствъ на расширеніе своей популярности (IV. 39). «Я при-

нялъ рѣшеніе—говорится въ «Запискахъ»—не вдаваться слишкомъ глубоко въ сеймики, такъ чтобы ни отъ кого не зависѣть и никому не становиться поперекъ дороги, и личное свое вліяніе употреблять только для того, чтобы поддерживать на сеймикахъ *bonum ordinem*. Я былъ бы счастливъ, еслибы могъ достигнуть такого результата, но не далъ мнѣ Господь Богъ этого желаннаго счастья». Въ этомъ помѣшала Матушевичу собственная его натура и онъ напрасно ссылается тутъ на волю Божью: самъ онъ не могъ устоять противъ покушенія — блестятъ на болѣе обширной сценѣ. Непріятны были необходимыя для этого въ то время условія; на нашъ нынѣшній взглядъ они представляются столь противными, что подчиняться имъ, по нынѣшнимъ понятіямъ, значило бы унижать себя, отречься отъ всякаго чувства достоинства. Условія эти лучше всего можно охарактеризовать, приведя одно мѣсто изъ упомянутаго уже труда Ю. Бартошевича («Сосновскій» въ «Сборникѣ» Огрызки 1859. II. 146); отзывъ этотъ имѣетъ здѣсь тѣмъ большее значеніе, что онъ былъ внушенъ Бартошевичу именно чтеніемъ мемуаровъ Матушевича. «Вся общественная нравственность и весь патріотизмъ дворянства непервостепеннаго заключались въ томъ, чтобы слѣпо летѣть за приказаніями магнатовъ, даже заглушая голосъ собственной совѣсти. Каждый высокій родъ имѣлъ свою особую политику въ примѣненіи къ странѣ, свои виды и свои союзы; средства же у всѣхъ ихъ были одинакія, а именно—посягательство на все, хотя бы самое святое, для того только, чтобы поставить на своемъ. Каждый дворянинъ, если хотѣлъ добиться карьеры, долженъ былъ выбрать себѣ какой-нибудь могущественный домъ и отдаться самъ къ его услугамъ съ душой и сердцемъ». Бартошевичъ прибавляетъ, что такія условія выработались вѣкомъ, а потому люди слабые не чувствовали униженія и не догадывались, что убиваютъ будущность республики.

Но даже и по этому опредѣленію, Матушевичъ все-таки не былъ въ состояніи невмѣняемости, такъ какъ не

принадлежалъ къ числу слабыхъ. Надъ нимъ оправдалась въ этомъ отношеніи аксіома, что привычка—вторая натура; человѣкъ постепенно втягивается въ непохвальные отношенія, затѣмъ понемногу притупляется въ немъ нравственное чувство, и наконецъ, та связь, которую онъ наложилъ на себя по расчету, хотя и съ неудовольствіемъ, превращается въ безусловную необходимость и въ законъ существованія. Возьмемъ для примѣра обращеніе Матушевича въ одной рѣчи, къ канцлеру Сапѣгѣ (1738 г. 84). Слѣдуя за испорченнымъ вкусомъ того времени, ораторъ погружается *in abyssum* <sup>1)</sup> глубочайшаго благоговѣнія, упадаетъ къ стопамъ великаго Гераклида, не дерзая *tollere vultus* <sup>2)</sup> и прося дабы канцлеръ соизволилъ къ сей вѣрной и покорной головѣ прикоснуться *pollice pedis* <sup>3)</sup>). Понятно, что въ личномъ представленіи оратора, все это были не болѣе какъ риторическія фигуры, фразы, которыхъ никто не долженъ былъ брать буквально, какъ мы не принимаемъ въ буквальномъ смыслѣ выраженій въ родѣ «покорнѣйшій слуга», «безпредѣльная преданность» и т. п. Но есть однако то различіе въ значеніи нынѣшнихъ и тогдашнихъ формъ вѣжливости, что теперь подобныя фразы всѣми признаются за чисто—условныя, и употребляютъ ихъ наиболѣе старательно скорѣе—тѣ, кто имѣетъ право считаться высшимъ; а въ прошломъ вѣкѣ у насъ, тѣ избранники судьбы, которымъ удавалось возвыситься на уровень власти почти монархической, наши польскіе «корольки»—какъ ихъ называли (*królewietą*)—принимали преувеличенную вѣжливость, какъ слѣдовавшую имъ дань. Всѣ они постоянно держали въ мысли нѣчто похожее на то, что великій канцлеръ литовскій Чарторыскій высказалъ безъ обиняковъ Матушевичу, сочинившему для него хвалебную оду: «благодарю васъ, любезнѣйшій, за эти похвалы,

---

<sup>1)</sup> Въ бездну.

<sup>2)</sup> Поднять лицо.

<sup>3)</sup> Пальцемъ ноги.

et fabula partem verī habet» (VI. 311)<sup>1)</sup>. Отношенія сла-  
гались такимъ образомъ, что вѣжливая фраза и преу-  
величенный комплиментъ постоянно имѣли склонность  
получить и безпрестанно получали значеніе самой несо-  
мнѣнной дѣйствительности. Такъ напр. приверженцы  
князя-канцлера Чарторыскаго при каждомъ случаѣ бро-  
сали Матушевичу въ глаза на судѣ слѣдующій упрекъ:  
esse homo qui edebat panes meos, magnificavit super me supplan-  
tationem» (II. 231)<sup>2)</sup>. И напрасно Матушевичъ возра-  
жалъ, что «хлѣбъ на обѣдахъ у него я, конечно, ѣлъ,  
но и 60 тысячъ злотыхъ—собственного своего хлѣба я  
проѣлъ на услугахъ князя-канцлера». Не только при-  
верженцы канцлера, но и онъ самъ, всетаки были  
убѣждены, что человѣкъ, который нѣкогда впрягся въ  
его колесницу, чтобы заслужить его покровительство,  
навсегда долженъ былъ принадлежать ему душой и  
тѣломъ.

Превосходную къ этому иллюстрацію представляетъ  
сцена въ Волчинѣ, у канцлера, когда Матушевичъ, при-  
надлежа къ его противникамъ, всетаки явился къ нему  
на поклонъ, чтобы избѣгнуть его мести. «Князь прика-  
залъ подать кресла» и когда я церемонился, то князь  
сказавъ: гдѣ много церемоніи, тамъ мало искренности—  
приказалъ непременно сѣсть. Когда я сѣлъ, онъ вы-  
жидалъ отъ меня просьбы, не дождавшись же, сталъ го-  
ворить: «милостивый пане стольникъ! не нуждаюсь въ  
иномъ судѣ, кромѣ вашей милости. Вникните только,  
м. г., въ свою совѣсть и припомните себѣ, какой я имѣлъ  
къ вамъ аффектъ, какъ васъ любилъ, и какую вамъ  
хотѣлъ оказать поддержку; и какже вы мнѣ, м. г., за  
это отблагодарили?» Когда князь окончилъ, я отвѣчалъ  
ему: милостивѣйшій князь! Припоминая себѣ то счастливое  
время, когда я у васъ находился *in statu gratiae* <sup>3)</sup> и

<sup>1)</sup> И сказка не лишена правды.

<sup>2)</sup> Се человѣкъ, который ѣлъ мой хлѣбъ, а приумножилъ на меня го-  
неніе.

<sup>3)</sup> Въ состояніи милости.

сравниваю нынѣшнее свое положеніе, когда обрѣтаюсь *in statu reprobationis*, <sup>1)</sup> сердце мое обливается горькими слезами» и т. д. По временамъ въ Матушевичѣ отзвучивалась гордость унижаемаго дворянина и тогда, въ сердцахъ, онъ бравировалъ магната: «Князь-канцлеръ привѣтствовалъ меня церемоньяльно (въ Волчинѣ), а самъ глядѣлъ на меня съ очевидной злобой; я, не обращая на то вниманія, нарочно велъ себя свободно, вмѣшивался въ разговоръ, садился вмѣстѣ съ другими, безъ приглашенія, лишь бы сидѣть» (II. 87). Но подобныя бравады продолжались не долго; на смѣну имъ являлось вскорѣ отчаяніе червяка, который, въ сознаніи своего безсилія, опасаясь, какъ бы его не раздавили, не лишили судебными приговорами имѣнія, а пожалуй не наступили бы и на горло, начиналъ бѣгать и молиться по всеѣмъ церквамъ, и обивать пороги менѣ доступныхъ, чѣмъ церкви—палацовъ своихъ покровителей, вопія, что содѣлался аки бѣдная овца въ волчьей пасти, и умоляя о помилованіи (II. 282). «Неразъ я—признается авторъ—въ бернардинскомъ монастырѣ со стономъ плакалъ передъ Пресвятой Дѣвою, поручая себя ея покрову (II. 274), ходилъ на исповѣдь, давалъ на 30-ти дневныя молитвы; часто я до того бывалъ утомленъ продолжительнымъ стояніемъ у великихъ міра сего и на ихъ ассамблеяхъ, что лишался силъ и начинала меня бить лихорадка (II. 262).

Но кромѣ молитвъ, нускались въ ходъ и всякія иныя средства обороны, менѣ набожныя и чистыя. Приведемъ собственное признаніе Матушевича о нѣкоторыхъ его пріемахъ во время извѣстной сессіи 1755 г. минскаго трибунала. «Депутатовъ <sup>2)</sup> началъ я приглашать къ себѣ на обѣды и, угощая ихъ, самъ принужденъ былъ напиваться. Какъ только депутаты возвращались изъ суда домой, я верхомъ объѣзжалъ ихъ съ визитами, падалъ имъ въ ноги и лежалъ крестомъ, и такъ пріучился пла-

---

<sup>1)</sup> Въ состояніи осужденія.

<sup>2)</sup> Члены трибуналовъ избирались по воеводствамъ.

каты, что лишь только съ кѣмъ-либо изъ депутатовъ начиналъ говорить, то слезы сами лились изъ глазъ. И такимъ манеромъ, недѣли двѣ, давъ себѣ вздремнуть не болѣе одного часа, и то не раздѣваясь, я ѣздилъ отъ одного депутата къ другому» (II. 150). У депутата Смогоржевскаго, который подалъ самое неблагопріятное въ его дѣлѣ мнѣніе, «неоднократно я—говоритъ авторъ—лежалъ въ ногахъ, въ собственной его квартирѣ, и предлагалъ ему сто червонныхъ злотыхъ, да онъ не бралъ» (II. 166). Уже изъ подобнаго заискиванья у депутатовъ можно вывести себѣ представленіе, какже надо было держать себя съ тѣми полубогами, которые ворочали и самыми трибуналами и даже судьбу всей страны держали въ своихъ рукахъ. И вотъ, Матушевичъ цѣлуетъ въ ноги великаго хорунжаго литовскаго Радзивилла (II. 146) и великаго короннаго канцлера Малаховскаго (II. 268); будучи самъ избранъ депутатомъ на сессію трибунала въ Вильнѣ, онъ спѣшитъ быть первымъ для привѣтствованія пріѣхавшаго въ тотъ городъ вел. литовскаго гетмана Радзивилла (по прозванію «Рыбка») и цѣлуетъ ему руку (III. 170), цѣлуетъ въ ноги вел. короннаго гетмана Браницкаго, сидѣвшаго въ каретѣ, встрѣчая его на проѣздѣ, во главѣ мѣстнаго дворянства, съ бокаломъ вина въ рукахъ, при чемъ еще жена гетмана разсердилась и выбрала Матушевича, что онъ спаиваетъ ея мужа (III. 144).

Это курьезное пристрастіе къ горизонтальному положенію тѣла заходило такъ далеко, что подобные знаки почтенія оказывались не только благодѣтелямъ и давателямъ хлѣба, но и—противникамъ, даже врагамъ, о которыхъ было извѣстно, что они готовы бы были растоптать наружно унижавшагося передъ ними супостата. Можно еще простить Матушевичу такую вещь, что, угощая у себя гетмана Радзивилла, на вопросъ его—чьи это портреты на стѣнахъ?—онъ заплакалъ и отвѣчалъ: «ваше покровительство, князь-гетманъ, позволило мнѣ имѣть портреты»—что слыша и всѣ присутствующіе не

могли воздержаться отъ слезъ» (II. 151). Но трудно намъ понять, что заставляло Матушевича неоднократно цѣловать подскарбія Флеминга въ животъ (III. 94), такъ что даже братъ Мартина, полковникъ, былъ скандализованъ этой выходкой; или бросаться съ плачемъ къ ногамъ совсѣмъ непримиримому канцлеру Чарторыскому, который отстраняя такое челобитье, говорилъ съ ироніей и вѣроятно съ неприємнымъ ощущеніемъ: «по наружности ваша милость—вѣжливы и покорны, а внутри горды и завзяты, какъ самъ чортъ» (II. 241). Наряду съ обычными низкими поклонами, шла лесть устная и письменная, въ прозѣ и въ стихахъ. Муза нашего стольника не была никогда дѣвственною въ этомъ отношеніи; въ немъ сказывается послѣдній представитель панегирической эпохи іезуитовъ и провозвѣстникъ эры придворныхъ стихотворцевъ-нахлѣбниковъ короля Станислава-Августа. Вмѣстѣ съ гимномъ Пречистой Дѣвы (IV. 297) писалъ онъ стихи въ честь князя-гетмана, въ которыхъ перечислялъ родственные союзы дома Радзивилловъ съ королевскими фамиліями (II. 148), оду въ честь князя-канцлера литовскаго (IV. 310). Точно такъ онъ торопится однажды передѣлать, съ парафразами во славу Станислава-Августа, посланіе Горация къ Августу императору: «Cum tot sustineas et tanta negotia solus» (IV. 289—301)<sup>1)</sup>, и даже къ гончей сучкѣ, которую дарить, присоединяетъ стихи: «гончую сучку рѣзую и довольно рослую—пишетъ авторъ—за которую самъ заплатилъ 10 червонныхъ золотыхъ, да еще далъ стога сѣна, я подарилъ подеоморію Понятовскому и къ подарку приложилъ стихи».

Само собою разумѣется, что со стараніями и протекціями шло вмѣстѣ исканіе милостей и выпрашиваніе средствъ. Для поддержки партіи, хотя бы она была и гетманская, требовалось денегъ, а гетманъ Браницкій былъ скупъ, такъ что рассказываетъ Матушевичъ —

---

<sup>1)</sup> Когда все держится тобой и столько дѣла свершаешь ты одинъ.

«я ему цѣлую руки, а онъ отплачиваетъ—только цѣлуя меня въ шею, наконецъ далъ просительныя письма, и такъ я отъ него ушелъ въ большомъ прискорбіи» (IV. 92). Надо было выпрашивать денегъ на каждый расходъ въ общемъ интересѣ, вымаливать заслуженное и уговариваться впередъ, подавать записки (II. 299), а привлеченный подаркомъ въ составъ партіи не могъ быть слишкомъ разборчивымъ въ своихъ приѣмахъ при исполненіи того, что ему велѣли дѣлать и при служеніи своему вождю. Политика заставляла покупать совѣсть людей, вербуя сторонниковъ для партіи. «Но деньги, которыя я разсылалъ—говоритъ Матушевичъ—не дѣйствовали бы еще достаточно, если бы я не увеличивалъ ихъ цѣну ласками, поклонами, угощеніемъ (III. 94). Первымъ правиломъ на сѣздѣ сеймика или трибунала было подкупить за деньги кого-нибудь въ противномъ лагерѣ, чтобы онъ сообщалъ о томъ, что тамъ затѣвалось». Въ борьбѣ съ противниками считались дозволительными такіе приемы, которые мы бы назвали уловками дикихъ. Характерны въ этомъ смыслѣ отношенія между Матушевичемъ и Сосновскимъ—секретаремъ вел. кн. литовскаго, котораго Ю. Бартошевичъ, опираясь на запискахъ Матушевича, изобразилъ въ самыхъ темныхъ краскахъ. Человѣкъ фальшивый, жадный, интриганъ, *subjectum asperum et posivum* <sup>1)</sup>—какъ его называлъ гетманъ Браницкій—Сосновскій предпринялъ, по приказанію князя-канцлера литовскаго, во время сессіи сеймика въ Брестѣ въ 1758 г., совершить покушеніе на личность Матушевичей, бывшихъ противниками канцлера, то есть если не убить ихъ, то искалѣчить (III. 4). Съ этой цѣлю, Сосновскій сдѣлалъ Матушевичамъ визитъ и пригласилъ ихъ на ужинъ, который долженъ былъ принять кровавый оборотъ. Люди враждебной Матушевичамъ партіи условились искать съ ними за ужиномъ—«оказіи», какъ говорилось въ то время, т. е. повода къ насилію, подѣ

---

<sup>1)</sup> Грубое и вредное существо.



предлогомъ полученнаго оскорбленія, и затѣмъ просто изрубить ихъ саблями. Къ счастью, пріятели, узнавъ о злодѣйскомъ намѣреніи, поспѣли во время къ нему на помощь и начавшееся уже смятеніе прекратилось, а Матушевичи спаслись изъ этой западни. По нынѣшнимъ понятіямъ, послѣ такого измѣнническаго дѣйствія, Матушевичъ могъ, хотя бы и не мстить Сосновскому, но по меньшей мѣрѣ—навсегда прекратить всякія съ нимъ сношенія. Но въ то время смотрѣли на такія дѣла иначе. На слѣдующій же день, Матушевичъ вступилъ въ разговоръ съ Сосновскимъ объ обыкновенныхъ предметахъ *in omni suavitate* <sup>1)</sup>, не требуя даже объясненія; черезъ два года, окончательно обойдясъ безъ такого объясненія, оба эти дѣльца, знавшіе другъ друга насквозь, возобновили дружественныя взаимныя отношенія, а такъ какъ Сосновскій занималъ болѣе высокѣе положеніе чѣмъ Матушевичъ, то послѣдній являлся депутатомъ на избирательный сеймъ, уже—подъ эгидою Сосновскаго. «Пріѣхавъ въ Варшаву—пишетъ авторъ (1764), отправился я къ секретарю В. княжества Лит. Сосновскому, чтобы первый поклонъ принести своему благодѣтелю» (IV. 298). Подобная снисходительность у автора записокъ означала въ сущности притупленіе нравственнаго чувства, то есть нѣчто близкое къ полному нравственному паденію.

Обладая замѣчательнымъ во всякомъ случаѣ и богатымъ изобрѣтательностью умомъ, человѣкъ этотъ не имѣлъ никакихъ идеаловъ, и большія свои дарованія издержалъ на мелкія интриги, посвятивъ множество заботъ и труда на достиженіе мелкихъ цѣлей личнаго эгоизма. Каждая черта того вѣка, въ которомъ онъ жилъ, знакома намъ, но замѣчателенъ тотъ фактъ, что сравнивая наши чувства, съ тѣми, какія одушевляли людей XVIII столѣтія, мы не находимъ въ себѣ ничего съ ними общаго. На одной сторонѣ мы видимъ лишь господство узкихъ, грубо-практическихъ взглядовъ, мелкихъ жиз-

---

<sup>1)</sup> Въ тонѣ вполне пріятномъ.

ненныхъ задачъ, отсутствіе всякой заботы о будущемъ, въ тогдашнемъ мнимомъ республиканцѣ — рѣшительный недостатокъ чувства человѣческаго достоинства. На другой, предъ нами—одни безбрежные идеалы, витаніе въ поднебесной лазури, при наличности условій самыхъ неблагопріятныхъ для сколько-нибудь практическаго дѣйствія; но вмѣстѣ съ тѣмъ, во всемъ умственнымъ складѣ и душевномъ настроеніи преобладаетъ особая, характерная черта, та самая, которую прекрасно охарактеризовалъ Словацкій—въ примѣненіи къ одному лицу (Адаму Чарторыскому), но которая можетъ быть отнесена къ цѣлому поколѣнію—«лишь онъ одинъ заслуживалъ названье—благородный; онъ мукой сердца, чистотой стремленій, хотъ безуспѣшныхъ, своею тихой, гордой и великой скорбью, унылой давнею какой-то славой, заслуживалъ названья — благородный»!

И вотъ въ цѣломъ сочиненіи Матушевича напрасно стали бы мы искать хотя бы малѣйшей тѣни той «тихой, гордой скорби»; а безъ нея личность автора, со всѣми его собственными приключеніями и неудачами, столь же мало можетъ вызывать въ насъ интересъ къ себѣ, какъ напримѣръ фигура акробата и его упражненія на протянутомъ канатѣ. Приключенія эти удовлетворяютъ только—любопытство. Представимъ ихъ обзоръ, чтобы закончить наше знакомство съ личностью автора записокъ.

### III.

Матушевичи, по своей родовой традиціи, были приверженцами дома Сапѣговъ. Отъ Фридерика Сапѣги великаго-канцлера литовскаго, получилъ Мартинъ Матушевичъ свою должность въ брестскомъ староствѣ. Но такъ какъ восходящимъ въ то время солнцемъ представлялась «фамилія», т. е. домъ Чарторыскихъ съ ихъ родственниками, Понятовскими, то молодой секретарь брест-

скій старался подслужиться къ князю Михаилу Чарторьскому, и зятю его, подскарбію литовскому, Флемингу, тѣмъ болѣе, что получалъ отъ нихъ вознагражденіе за описи и исполненіе декретовъ по ихъ экономическимъ дѣламъ въ градскомъ судѣ (I. 156). Эти отношенія къ Чарторьскимъ, съ которыми канцлеръ Сапѣга находился въ постоянномъ соперничествѣ, были достаточнымъ поводомъ къ тому, чтобы Матушевичъ лишился милости канцлера и въ особенности — жены его, рожденной Радзивиллъ. Авторъ рассказываетъ, что «канцлеръ уже тронулся моими слезами, уже сталъ говорить милостиво, когда канцлерша, княгиня Сапѣга, вошла въ комнату, въ превеликомъ гнѣвѣ, и отличаясь завзятостью своей и прегрубыми манерами, стала ругать меня послѣдними словами и кричать» (I. 161). Желая удалить Матушевича изъ градскаго управленія, Сапѣга хотѣлъ сдѣлать его подкоморіемъ (предводителемъ дворянства) брестскимъ. Тогда Матушевичъ, потерявъ надежду оправдаться передъ канцлеромъ, принялъ призывъ партіи Чарторьскаго и открыто присоединился къ ней (I. 70). Чарторьскій обходился съ нимъ какъ съ величайшимъ любимцемъ, публично выказывалъ ему свое благоволеніе, цѣловалъ въ голову, осыпалъ похвалами (I. 237), но будучи мастеромъ въ извлеченіи изъ людей пользы для себя, ничего не давалъ ему, держалъ его постоянно въ ожиданіи милостей и награжденій. Однако Матушевичъ не принадлежалъ къ числу людей, которыхъ можно было привязать одними ласками. Когда и подкоморство ему не досталось, а взамѣнъ получилъ онъ только званіе брестскаго стольника, когда затѣмъ, послѣ смерти Сапѣги, староство брестское перешло къ Флемингу, а тотъ, побуждаемый врагомъ Матушевичей, Быстрымъ, не подтвердилъ Матушевича въ секретарствѣ, а назначилъ другое лицо, то Матушевичъ охладѣлъ къ кн. Чарторьскому, который въ это время сдѣлался великимъ канцлеромъ литовскимъ. Сообразивъ, что ему слишкомъ невыгодно издерживаться на угощенія при сеймиковыхъ

сѣздахъ и рисковать безъ всякаго вознагражденія (I. 250), Матушевичъ началъ систематически заявлять себя будто-бы независимымъ, и даже говорилъ открыто, что радуется неудовольствію на него новаго канцлера, которое освобождаетъ его отъ услугъ, требовавшихъ и труда, и расходовъ (I. 260).

Услуги эти иногда состояли въ томъ, чтобы въ судѣ посредническомъ или въ судебной комисіи судить не по совѣсти, но согласно съ интересомъ покровителя. И вотъ, когда въ одной изъ такихъ комисій, а именно—въ волынской, разбиралось дѣло дворянина Кучевского съ королевской экономіей, которой представителемъ являлся подскарбій (казначей) Флемингъ, то Матушевичъ повелъ дѣло такъ ловко, что экономія его проиграла, а рѣшеніе вышло въ пользу Кучевского, съ дочерью котораго между тѣмъ, еще до окончанія сессіи комисіи, обручился братъ Матушевича (I. 267). Въ глазахъ канцлера Чарторыскаго, которому Флемингъ приходился зятемъ, это дѣло только прибавилось къ нѣсколькимъ, бывшимъ уже у него на счету поступкамъ Матушевича, и потому князь сталъ только ждать случая отомстить ему и такой случай представился на брестскомъ сеймикѣ 1754 года. Флемингъ не сумѣлъ удержаться на немъ въ качествѣ предсѣдателя и въ виду возставшаго противъ него дворянства, сталъ бѣжать, упалъ, и получилъ нѣсколько позорныхъ ударовъ саблями плашмя, пока гайдуки его успѣли его подхватить подъ руки и унести изъ церкви, гдѣ собирался сеймикъ (I. 41). Правда, Мартина Матушевича вовсе не было на сеймикѣ, а находился тамъ только братъ его, полковникъ, но весь срамъ, какому подвергся подскарбій былъ приписанъ вліянію Матушевичей и придумано примѣнить къ нимъ средство, которое было въ обычаяхъ того времени, а именно—подвергнуть сомнѣнію ихъ дворянское достоинство, а стало быть и политическія права. Для этого требовалось, чтобы кто нибудь, принадлежащій къ сословію, выступилъ формально съ такимъ воз-

раженіемъ противъ участія обвиняемаго на сеймикѣ, или, какъ говорилось «задалъ ему *imparitatem* (неравенство)». И вотъ, къ Матушевичамъ, которыхъ родъ былъ извѣстенъ въ Литвѣ въ продолженіи не одного вѣка, примѣнено было это средство. Нѣкій Іосифъ Витановскій, мелкій дворянинъ, который мальчикомъ былъ въ услуженіи у Мартина Матушевича и былъ имъ однажды высѣченъ за воровство, выставилъ бабу, крестьянку Гинчукъ, служившую Витановскимъ, которая показала, что она приходится Матушевичамъ тѣткой, такъ какъ они происходятъ отъ крестьянина Матиса. Бабу эту привезли къ канцлеру, въ его имѣніе Волчинъ, и канцлеръ поселилъ ее въ своемъ фольваркѣ Кринкѣ (II, 84), и потомъ даже купилъ ее (II. 131). Самъ онъ не думалъ выступать лично, и передалъ бы все веденіе дѣла Витановскимъ. По заявленію о *imparitas*, дворянскія права Матушевичей были бы временно приостановлены, и имъ приходилось бы позвать къ суду кого-либо изъ Витановскихъ, а этого тогда можно бы было припрятать куда-нибудь подальше, такъ что Матушевичи могли бы добиться только заочнаго надъ нимъ приговора и затѣмъ гоняться за вѣтромъ въ полѣ, а между тѣмъ выжидать своей реабилитаціи года четыре, а то и больше, оставаясь пока *civiliter mortui* (II. 163) <sup>1)</sup>.

Опасность эта предстала какъ разъ въ то время, когда отецъ Матушевича умеръ, а онъ самъ собирался жениться на вдовѣ мечника Хелховскаго, знатной дамѣ, изъ дома Щитовъ, носившей званіе кастелянки мстиславской. Матушевичи въ это время примкнули уже къ радзивилловской партіи и имѣли связи съ Мнишхомъ (II. 38, 64), короче—приобрѣтали значительное положеніе въ обществѣ. Прежде всего, нашъ Мартинъ устроилъ отцу пышныя похороны, такъ что заупокойныя службы продолжались цѣлую недѣлю, а участвовало въ ихъ отправленіи, щедро вознагражденное многочисленное ду-

---

<sup>1)</sup> Въ состояніи гражданской смерти, т. е. лишенія правъ.

ховенство, именно: 324 духовныхъ лица латинскаго обряда, да 150 грекоуніятскаго. Вся внутренность церкви была покрыта гербами и надписями, свидѣтельствовавшими о блестящихъ родственныхъ связяхъ Матушевичей (II, 90, 91). Справившись съ этимъ дѣломъ, Мартинъ Матушевичъ рѣшилъ на отважный шагъ: онъ призываетъ къ суду самого князя — канцлера Чарторыскаго, требуя, чтобы тотъ выставилъ оную бабу—клеветницу, Анну Шимчиху Гинчукову къ разбирательству литовскаго трибунала въ Минскѣ и отвѣчалъ за то оскорбленіе чести, какое претерпѣваютъ Матушевичи вслѣдствіе держательства оной бабы канцлеромъ въ его имѣніи. И дѣйствительно, благодаря покровительству Карла Радзивилла, предсѣдательствовавшаго въ трибуналѣ и бывшаго тогда еще только мечникомъ литовскимъ, дѣло приняло благопріятный для Матушевичей оборотъ. Обѣ стороны пустили въ ходъ всевозможныя уловки. Изъ 20 поданныхъ голосовъ только половина принадлежала сторонникамъ Радзивилла, но большинство всетаки составилось, хотя и сомнительное, за отводомъ одного изъ депутатовъ, наиболѣе враждебнаго Матушевичамъ, такъ что у приверженцовъ Чарторыскихъ убылъ одинъ голосъ. Такимъ образомъ, состоялось рѣшеніе суда, которое, устранивъ вопросъ объ отвѣтственности канцлера, постановляло однако, что онъ обязывается представить бабу Гинчукъ къ суду (II. 160). Это былъ большой успѣхъ, но непродолжительный, а къ тому же удвоившій опасность положенія Матушевичей. Канцлеръ воспылалъ безпредѣльнымъ гнѣвомъ и сталъ самъ призывать Матушевичей къ суду, а какъ при послѣдующихъ сессіяхъ составы трибунала были уже подъ полнымъ вліяніемъ «фамиліи», то Матушевичамъ было безопаснѣе подвергнуться заочному осужденію, чѣмъ являться на судъ. Магнатъ повелъ открытую войну съ дворяниномъ, который одновременно и кланялся магнату, падая ницъ передъ нимъ, умолая о милосердіи, и вступалъ во всевозможные союзы, направленные противъ магната.

Наконецъ, Матушевичъ челобитьемъ своимъ надоѣлъ канцлеру, и въ то же время вмѣшались въ дѣло самъ король и другіе могущественные посредники, такъ что состоялось кое-какъ склеенное примиреніе. Содѣйствовало ему еще и такое обстоятельство, что канцлерская партія сильно обидѣла двухъ вліятельныхъ въ Литвѣ людей—Богуша и Абрамовича, которые были за одно съ Матушевичемъ, и вмѣстѣ съ нимъ вступили въ соглашеніе съ канцлеромъ. Но Матушевичу канцлеръ въ душѣ всетаки не простилъ, а только отказался отъ мести. Что касалось Матушевича, то онъ съ крайнимъ сожалѣніемъ, долженъ былъ также отказаться отъ того удовольствія, котораго усиленно домогался, именно: чтобы та крестьянка Гинчукъ, которую онъ между тѣмъ приобрѣлъ въ собственность, заплативъ за нее прежнему ея владѣльцу Телетицеому, была выдана ему, Матушевичу, и высѣчена розгами рукою палача у позорнаго столба въ Брестѣ (II. 286).

Но обратимся къ тѣмъ связямъ, въ какія вступилъ авторъ «Записокъ» во время своей войны съ канцлеромъ.

Ему удалось найти доступъ къ великому гетману литовскому Радзивиллу и вскорѣ ловкій дѣлецъ сдѣлался у него правою рукою, казначеемъ его по расходамъ на собраніяхъ сеймиковыхъ, раздавателемъ его милостей и агентомъ по дѣламъ гетмана при дворѣ. Бывая вслѣдствіе того въ Варшавѣ на поклонъ къ партіи придворной, то есть къ надворному коронному маршалу Мнишху—зятю министра Брюля, и къ епископу Солтыку, Матушевичъ, при этомъ случаѣ обдѣлывалъ и свои дѣла, и даже помышлялъ переѣхать въ Дрезденъ, чтобы находиться постоянно вблизи двора, въ интересѣ какъ гетмана, такъ и своего собственномъ. По одной изъ тѣхъ случайностей, которыя могли бывать только въ тогдашней Польшѣ, этотъ человѣкъ, повсюду искавшій покровителей и денегъ, встрѣтился въ Бѣлостокѣ съ другимъ человѣкомъ, который искалъ людей, чтобы имъ раздавать чужія деньги. Это былъ швейцарецъ Бэкъ, секретарь великаго корон-

наго гетмана Браницкаго и вмѣстѣ—французскій агентъ, сверхъ того, какъ это оказалось впоследствии, онъ же состоялъ еще тайнымъ корреспондентомъ короля прусскаго. (III. 61). Этотъ Бэкъ имѣлъ порученіе—набирать приверженцевъ для Франціи, противъ русской партіи Чарторыхскихъ. А такъ какъ Матушевичъ охотно бы вступилъ въ союзъ противъ канцлера съ самымъ адомъ, да еще даромъ, то предложенія со стороны Бэка были для него все равно что находка вклада на большой дорогѣ. И вотъ, потекло французское золото щедро разбрасываемое для усиленія партіи враждебной канцлеру.

Въ то время партія эта была уже не сапѣговская, но главнымъ образомъ—радзивилловская, и тогдашніе нравы были таковы, что люди, къ ней принадлежавшіе считали даже почетнымъ для себя опираться на такой иностранный «союзъ». Легко приобретаемая, деньги эти и раздавались далѣе слишкомъ щедро, такъ что даже иные изъ сторонниковъ самой «фамиліи» жаждали заполучить изъ нихъ сколько нибудь и для себя. Такъ, родственникъ Матушевича и какъ будто сердечный другъ его, ковенскій маршалъ Забѣлло, показывавшій видъ, что держитъ его сторону, а самъ получившій тайно и измѣнническимъ способомъ отъ Флеминга деньги и даровую аренду Рѣжицы, которая входила въ составъ государственной экономіи, усиленно домогался отъ Матушевича тысячи червонцевъ изъ французскихъ денегъ. Когда же Матушевичъ сорвалъ съ него маску, показавъ, что знаетъ всѣ его продѣлки, то Забѣлло рассказалъ въ свое оправданіе анекдотъ о подстаростѣ упицкомъ и подкоморіи троцкомъ, которые оба получали взятки съ противныхъ сторонъ и наконецъ, наскучивъ перебиваніемъ ихъ другъ у друга, сказали себѣ: чего тутъ ссориться, пусть лучше и ты бери, и я бери, и будетъ ладно. «Но я не захотѣлъ быть такимъ *беркой*»—заключаетъ авторъ (II. 220).

Такимъ образомъ Забѣлло французскихъ денегъ не получилъ, но зато выдалъ тайну сторонниковъ Франціи, а сокровище, между тѣмъ, исчерпалось, магнаты скупи-



лись на расходы, такъ что при каждомъ сеймикѣ—дабы не дать канцлерчикамъ совсѣмъ подавить противную имъ партію, Матушевичъ долженъ былъ приплачивать значительныя суммы изъ собственного кармана, какъ тотъ игрокъ, который, втянувшись, не можетъ забастовать, а идетъ все на новыя ставки. Самая радзивилловская партія начала расклеиваться по недостатку ума и единогласія у ея вождей. Сперва умеръ (1760 г.) вельможа большой руки, но мелкаго разума, а вмѣстѣ неуживчивый и жестокій, содержавшій нѣсколько тысячъ человѣкъ войска, а въ тюрьмѣ своей множество заключенныхъ, Іеронимъ Радзивиллъ, великій хорунжій литовскій (III. 85, 86.); и вотъ, въ его бумагахъ (о ужасѣ для великаго гетмана литовскаго Радзивилла) нашлись доказательства тѣсной его связи съ Чарторыскими, устроенной епископомъ Ріокуромъ (III. 172). Потомъ и самъ вел. гетманъ литовскій, воевода виленскій, Михаилъ Радзивиллъ, у котораго было правиломъ непремѣнно держаться короля, человѣкъ мало-проницательный, но практически опытный (III. 175), отправился вслѣдъ за хорунжимъ, почти наканунѣ рѣшающей минуты, т. е. кончины короля.

Наступило время междуцарствія. «Фамилія» уже давно готовилась къ этому моменту, но противниковъ ея событіе это застало какъ бы врасплохъ. Въ этой партіи, которая считала себя старо-республиканскою <sup>1)</sup>, каждый шелъ своимъ путемъ, не заботясь о другихъ: въ Руси Потоцкій, воевода кіевскій, въ Литвѣ Браницкій, вел. гетманъ коронный и Карлъ Радзивиллъ (получившій прозвище отъ поговорки своей—*Ranie kochanku*). Гетманъ былъ съ Чарторыскимъ въ родствѣ, но и въ давней ссорѣ; по симпатіямъ своимъ—французъ, въ политикѣ—консерваторъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и крайне заботливъ о томъ, какъ бы не уменьшить миллионныхъ сво-

---

<sup>1)</sup> Такъ какъ противилась преобразованіямъ, направленнымъ къ укрѣпленію королевской власти т. е. къ ограниченію дворянской анархіи.

ихъ доходовъ. Карлъ Радзивиллъ былъ скандалистъ, любитель приключеній и насилія; съ нимъ надо было порою ждать по недѣлямъ, чтобы переговорить, найдя его въ трезвомъ видѣ. Имъ управлялъ по произволу Паць—въ то время подстольникъ вел. кн. литовскаго, убаюкивая его призрачнымъ ожиданіемъ союза съ домомъ Массальскихъ, которые были тѣсно связаны съ княземъ—канцлеромъ. То гетманъ, то воевода виленскій Карлъ Радзивиллъ писали Матушевичу, требуя отъ него совѣта и помощи, но этотъ послѣдній былъ уже не въ такомъ возрастѣ и не въ такомъ настроеніи, чтобы дѣлать что нибудь даромъ на пользу партіи или изъ за милостивыхъ отношеній къ себѣ вельможъ. Онъ зналъ, что у Радзивилла ему не выдержать, а потому подsunулъ ему другаго, болѣе разсудительнаго руководителя, взаимъ Паца, именно—Богуша. Но весь умъ и тактъ, какими обладалъ Богущъ не помѣшали однако, что князь стрѣлялъ въ него изъ пистолета въ Преповѣ, въ Венгріи, а потомъ атаковалъ его, въ его домѣ, вооруженною силою (IV. 305). Съ гетманомъ Браницкимъ Матушевичъ поставилъ вопросъ напрямки: «видя прогрессъ гетманской партіи неудовлетворительнымъ, партію же Чарторыхскихъ—берущую верхъ, и имѣя на себѣ долгъ обезпечить жену и дѣтокъ», онъ просилъ, чтобы гетманъ, если желаетъ его услугъ, переуступилъ ему радзивилловское имѣніе Орля, заложенное Браницкому въ суммѣ 300 тысячъ злотыхъ (IV. 205).

Браницкій на такія условія не согласился, а Матушевичъ, предвидя паденіе своихъ благодѣтелей и опасаясь, какъ бы самымъ своимъ пребываніемъ у Браницкаго не возбудить еще болѣе противъ себя Чарторыхскихъ, посѣщилъ въ Варшаву и сидѣлъ тамъ, обрекши себя какъ бы на добровольный арестъ, дабы избѣгнуть подозрѣній, чѣмъ и далъ поводъ канцлеру сказать, что если ужъ Матушевичъ отъѣхалъ, то должно быть гетманъ не имѣетъ надежды устоять (II. 218). Наступила буря, среди которой тонули и большіе корабли. Браницкій

ушелъ черезъ Карпаты въ Бардіовъ, а Радзивиллъ въ Валахію. Но лодка Матушевича находилась уже въ безопасномъ портѣ; держась за полу новаго своего покровителя, Сосновскаго, онъ спокойно смотрѣлъ на избраніе и коронованіе Станислава Августа. Всегда покорный, всѣмъ кланявшійся, чувствовавшій себя въ безопасности, но въ тоже время осужденный уже, какъ показалось, на бездѣтельность, Матушевичъ заключилъ свой дневникъ на начавшемся 1765 году. Не продолжалъ онъ своихъ «Записокъ» и впослѣдствіи, когда, въ силу внезапной переменѣ ролей и дѣйствовавшихъ на политической сценѣ лицъ, ему, усердному католику, пришлось участвовать въ конфедераціи въ пользу диссидентовъ и изъ приверженца Франціи преобразиться въ сторонника той державы, которая прежде поддерживала партію Чарторыскихъ.

Переходъ этотъ онъ, навѣрное, совершилъ безъ всякой внутренней борьбы, рѣшился на него моментально, съ такой же легкостью, какъ прежде переходилъ отъ партіи Лещинскихъ къ партіи саксонской, отъ Чарторыскаго къ Радзивиллу. Втеченіи всей жизни, Матушевичъ шелъ не за принципами, а за лицами, и ни однимъ дѣломъ, ни однимъ мнѣніемъ не высказалъ своего собственнаго убѣжденія или предпочтенія въ великомъ вопросѣ борьбы между наступавшею реформой и оборонявшейся анархіей. Не можетъ быть сомнѣнія, что онъ самъ примкнулъ бы къ партіи реформы, если бы князь-канцлеръ далъ ему своевременно положеніе и родъ дѣятельности, которые бы соотвѣтствовали его дарованіемъ и честолюбію. Вѣдь похвалилъ же онъ, въ запискѣ своей, составленной во время междуцарствія (1764) и не подписанной авторомъ, — даже книгу о. Конарскаго и принципъ сеймовыхъ постановленій большинствомъ голосовъ (*praepararunt in viris honestioribus assensum pluralitati votorum libri reverendi patris Konarski scholarum piarum, eruditissime nuper editi* <sup>1)</sup>). Конечно, Матушевичъ не признался бы

<sup>1)</sup> Приступленіе къ началу большинства голосовъ было подготовлено въ лучшихъ людяхъ книгами преподоб. отца Конарскаго.

передъ Чарторыскимъ въ этомъ своемъ отзывѣ, да и назначеніемъ самой записки было пустить къ свѣдѣнію дворовъ версальскаго и вѣнскаго такую инсинуацію: «какъ бы эта гордая, алчная и лукавая фамилія князей Чарторыскихъ, занявъ престолъ, не обезпечила его себѣ насильственными средствами наследственно и, обставивъ себя союзами съ Россіей, Пруссіей и Австріей, не стала опасной для всей Европы» (IV. 189—192). Познакомившись уже достаточно съ личностью автора, узнавъ какъ онъ дѣйствовалъ и каковы были его цѣли, мы имѣемъ понятіе о той сторонѣ сочиненія, въ которой онъ, вольно и невольно, обрисовалъ самъ себя. Перейдемъ теперь къ той сторонѣ книги, въ которой отражаются событія того историческаго періода и, не дѣлая ихъ обзора, ограничимся тѣми замѣчаніями, какія вызываетъ самый рассказъ о нихъ Матушевича.

#### IV.

Въ повѣствованіи этомъ проходитъ передъ нашими глазами, какъ въ смѣнахъ живыхъ картинъ, вся Польша XVIII столѣтія въ періодъ до воцаренія Станислава-Августа. И мы должны сказать, что самая злая, дышащая негодованіемъ и презрѣніемъ сатира не могла бы представить дѣятелей того времени въ худшемъ свѣтѣ, чѣмъ какими ихъ показываютъ намъ эти простыя, веденныя безъ преднамѣренія «Записки», эта откровенная исповѣдь въ приключеніяхъ тревожной и полной усилій жизни, излагаемыхъ спокойно, безъ смущенія, безъ желчи и нареканій. Въ словахъ—напыщенность чувствъ, въ разсказываемыхъ дѣлахъ—полное безстыдство; грязная чувственность и себялюбіе, едва прикрытыя обрывками старыхъ религіозныхъ и политическихъ идеаловъ, до того уже износившихся, что остались отъ нихъ однѣ лишь фразы. По смерти короля, даже такого, какимъ былъ Августъ III, повторяется, по привычкѣ а вовсе

не по убѣжденію, что король это—*primum movens*<sup>1)</sup>; что «послѣ этого благодѣтельныйшаго изъ монарховъ, республика можетъ быть уподоблена тѣлу лишенному главы своей, дому безъ хозяина; двѣ (политическія) составныя части: сенатъ и рыцарское сословіе безъ третьей— короля, не представляютъ полнаго естества республики» (IV 162). Оплакиваемый такимъ образомъ король, по тѣмъ же «Запискамъ», былъ весьма набоженъ, ежедневно слушалъ обѣдню на колѣняхъ, имѣлъ страсть къ охотѣ и къ операмъ, щедро раздавалъ милостыню, но вмѣстѣ съ тѣмъ сторонился отъ всякой работы и заботъ государственныхъ (I. 120). Благодѣтельный этотъ, кроткій, не-гнѣвлимый король терпѣливо выслушивалъ обращенныя къ нему польскія рѣчи, коихъ неразумѣлъ (I. 105), читалъ только тѣ прошенія, которыя писаны по французски (II. 247), и исполняя единую важную функцію, какую оставилъ за собой—раздачу милостей и денегъ, подписывалъ, ее читая, повелѣнія (привилегіи), которыя ему подкладывалъ подкупленный камердинеръ. Вслѣдствіе того, происходили забавные случаи. Такъ, однажды король съ гнѣвомъ сказалъ епископу виленскому, что данный отцу его, вел. гетману литовскому Массальскому, патентъ на волковыское старѣство, полученъ обманомъ (IV. 8). Въ другой разъ, Тизенгаузъ, близкій другъ Чарторыскихъ (въ 1763 г.), которому Удальрикъ Радзивиллъ уступилъ за деньги должность секретаря вел. кн. литовскаго, для полученія подписи короля на патентѣ, далъ сто червонцевъ любовницѣ его камердинера, а камердинеръ вложилъ этотъ патентъ въ число бумагъ, приготовленныхъ къ подписанію короля на особомъ столѣ. Король подписалъ и эту бумагу, а канцлеръ Чарторыскій приложилъ къ ней печать. Этимъ путемъ Тизенгаузъ, сдѣлался секретаремъ литовскимъ безъ вѣдома короля, который, находясь въ открытой войнѣ съ «фамилією», никогда бы добровольно этого повелѣнія

---

<sup>1)</sup> Вождь народа, дающій всему направленіе.

не дать. Когда затѣмъ у Тизенгауза потребовали отъ имени короля объясненія, кѣмъ принесенъ былъ къ королю его патентъ, то секретарь литовскій отшутился, слагая вину на ручнаго вѣрона, который прилеталъ къ окну короля и получалъ мясо и хлѣбъ (IV. 10). Чрезъ этого соломеннаго короля инныя силы давали направленіе дѣламъ, приводя его въ движеніе по своему произволу. Это были—продажныя руки графа Брюля, безразсудная и запальчивая воля Мнишха, котораго почти всѣ находили противнымъ (IV. 120).

Вся карьера Брюля, при чтеніи «Записокъ», проходитъ передъ нашими глазами, начиная съ того времени, когда онъ былъ фаворитомъ «фамиліи», состоявшимъ на ея жалованьи, подслуживался ей, а она выхлопотала ему дворянское право гражданства (*indugenat*) въ Польшѣ, на основаніи фальшивыхъ документовъ и родословныхъ, признанное рѣшеніемъ трибунала пѣтрковскаго. Когда Брюль въ послѣдствіи сдѣлался министромъ Августа III, то на немъ сперва еще оставалось тяжелое бремя требованій Чарторыхскихъ. Вел. канцлеръ литовскій сердито вынуждалъ отъ него разныя назначенія, дулся на него и угрожалъ. Но затѣмъ, Брюль высвободилъ свою шею изъ подъ ярма «фамиліи» и еще повредилъ имъ въ мнѣніи короля. «Поѣхалъ онъ (канцлеръ лит.) со мной въ каретѣ — пишеть Матушевичъ—на ассамблею къ Брюлю (I. 25), Брюль, узнавъ о прибытіи князя-канцлера и князя-воеводы русскаго, вышелъ не скоро и, избѣгая привѣтствій съ ними, тотчасъ сѣлъ за карты, даже не взглянувъ въ ту сторону, гдѣ находился канцлеръ, а игралъ такъ долго, что Чарторыскій, не дождавшись конца, уѣхалъ (1752 г.)». Вскорѣ потомъ, Брюль заодно съ гетманомъ Браницкимъ вырвалъ изъ рукъ Чарторыскихъ лакомый кусокъ — Острогскую ординацію (маіоратъ). «Фамилія» обидѣ не забывала и въ 1762 г. дождалась удобнаго момента. Въ одинъ и тотъ же день произошли двѣ сцены. Одна—на сеймѣ, гдѣ потребовали исключенія Брюля-сына, генерала артилеріи, депутата отъ го-

рода Варшавы: стольникъ литовскій-депутатъ подольскій предъявилъ ему *imparitatem* и потребовалъ, чтобы онъ, какъ не-дворянинъ, былъ исключенъ изъ сейма, а радзивилловская партія съ Карломъ Радзивилломъ во главѣ, защищала Брюля. Другая сцена была за обѣденнымъ столомъ. Въ то время, какъ въ палатѣ депутатовъ, *in sacrario libertatis* <sup>1)</sup>, блистали обнаженные сабли и шпаги, произошло словесное столкновеніе за обѣдомъ у вел. кор. гетмана Браницкаго, между Брюлемъ-отцомъ и канцлеромъ литовскимъ, который, намекая на пѣтрковское рѣшеніе, угрожалъ: «если я могъ это сдѣлать, то могу и раздѣлать» (IV. 208). Едва прошли два мѣсяца и король умеръ, а черезъ двѣ недѣли послѣ него, умеръ и Брюль-отецъ. Чернь въ Дрезденѣ хотѣла разорвать его трупъ на куски, все его имѣніе было конфисковано курфиршескою казною, а гардеробъ его былъ распроданъ въ Варшавѣ съ аукціона евреями за ничтожныя деньги. Что касалось Брюля-сына, то когда стольникъ литовскій, Станиславъ Понятовскій, надѣлъ корону, младшій Брюль бросился ему въ ноги и лежалъ на землѣ крестомъ, благодаря короля за ту великую милость, исходатайствованную Ксаверіемъ Браницкимъ, что ему возвращено было званіе генерала артилеріи, котораго онъ былъ уже лишенъ. «У видѣвшихъ это униженіе — говоритъ Матушевичъ — слезы выступили въ глазахъ»; и прибавляетъ: «и сдѣлано это было съ цѣлью огорчить Потоцкаго, воеводу кіевскаго, котораго дочь была за этимъ Брюлемъ» (IV. 301).

Дворъ, вообще, не внушалъ уваженія при такомъ первомъ министрѣ (Брюлѣ), который до того былъ алченъ, что во время сильнѣйшей своей борьбы съ Чарторыскими, все-таки принималъ отъ нихъ денежные подарки за проведеніе дѣлъ (II. 192); при другомъ королевскомъ совѣтникѣ Мнишхѣ, зятѣ Брюля, надумомъ и ограниченномъ, который и мѣста раздавалъ только лю-

---

<sup>1)</sup> Въ святилищѣ свободы.

дямъ бездарнымъ (Ш. 49) и епископъ Солтыкъ, который держался этой ничтожной придворной партіи, о которой громко говаривали: Чарторыскіе какъ только прослышатъ о какомъ-нибудь мошенникѣ, тотчасъ посылаютъ за нимъ и приглашаютъ въ свою партію, а дворъ лишь услышитъ о дуракѣ, сейчасъ посадить его въ сенатъ.

Въ сравненіи съ такой придворной партіей нельзя было отказать во внѣшнемъ величіи и блескѣ той, окруженной восточной роскошью, польской, особенно литовской аристократіи, которой могущество уже находилось наканунѣ упадка, этими пышными, поставленными почти на королевскую ногу дворами въ Волчинѣ, Бѣлостокѣ, Коднѣ, Несвѣжѣ. «Ежегодно на Ивановъ день (гетманскія именины у Браницкаго въ Бѣлостокѣ) пріѣзжали съ поздравленіемъ два депутата отъ люблинскаго трибунала, одинъ духовный, другой свѣтскій и приносили рѣчи, а затѣмъ получали подарки: духовный—табакерку изъ чистаго золота, набитую сотнею червонцевъ, а свѣтскій—золотую саблю и 50 червонцевъ. Затѣмъ—пальба изъ орудій и ружей въ знакъ поздравленія, производимая чрезъ полковую пѣхоту и придворныхъ гетманскихъ венгровъ съ янычарами, а равно и драгунъ. Послѣ—проповѣдь, за которою слѣдовалъ банкетъ. По окончаніи обѣда, подавали лучшаго вина столько, что хоть въ бродъ иди по разливному морю; игралъ оркестръ, давалась комедія съ балетомъ, а въ заключеніи ужинъ и танцы до поздней поры. Иностранцы признаютъ, что гетманъ, окруженный всякимъ великолѣпіемъ, ведетъ жизнь истинно-королевскую» (II. 212). Въ «Запискахъ» приводится на первомъ планѣ цѣлый рядъ портретовъ гетмановъ. Онъ начинается со слышанныхъ авторомъ еще въ родительскомъ домѣ преданій о Казимірѣ Сапѣгѣ, воеводѣ виленскомъ, вел. гетманѣ литовскомъ, который однажды, ѣдучи на поклонъ къ королю Яну III, переправлялся съ сопровождавшею его толпою черезъ Вислу, изъ Праги къ замку, цѣлый день, и зная что король его ждетъ, въ шутку поѣхалъ въ свой собственный палацъ;



на другой же день отправился въ королевскій замокъ со свитой столь многочисленной (при немъ въ каретѣ съ нимъ сидѣли три епископа), что, войдя въ замокъ, они должны были только проходить сквозь апартаменты, не останавливаясь, ибо не могли бы помѣститься (I. 20). Это было еще передъ олькеницкою стычкою, со шляхтою, которая надломила силу могущественнаго дома.

Во времена Матушевича были уже иныя, болѣе яркія звѣзды на литовскомъ горизонтѣ. Подканцлеръ Сапѣга держалъ сторону «фамиліи», а старинныя традиціи властной аристократіи имѣли своихъ представителей въ гетманахъ: Янѣ-Клеменсѣ Браницкомъ—коронномъ и Радзивиллѣ (по прозвищу «Рыбка») —литовскомъ. Владѣтель Бѣлостока и кандидатъ на польскую корону, Янѣ-Клеменсѣ былъ въ сущности человекъ мягкій, даже слабый, и поддавался разнымъ вліяніямъ: черезъ жену онъ былъ въ свойствѣ съ «фамиліею», а черезъ пріятеля Чарторыскихъ, своего ближайшаго руководителя Мокроновскаго былъ солидаренъ съ французскою политикой—противъ русской, которую представляли Чарторыскіе; наконецъ, своими привычками и самыми своими недостатками, онъ былъ связанъ со старою формою республики. Въ партіи консервативной, во главѣ которой онъ сталъ по смерти Радзивилла-«Рыбки», ощущался недостатокъ не въ матеріальныхъ средствахъ, но въ согласіи и единствѣ дѣйствій; всякъ тамъ политизировалъ на свою руку. Но въ рѣшительный моментъ, во время междуцарствія, Браницкому потребовались и деньги на войну съ Чарторыскими; не хотѣлось ему выпустить изъ рукъ гетманской власти, которую пытались подсебъ, какъ слишкомъ разросшееся дерево. Однако, понеся безъ войны поражение на сеймѣ, гдѣ конфедерація отняла у него гетманскую булаву, поставивъ войска подъ начальство командующаго (regimentarza) Чарторыскаго, воеводы русскаго, Браницкій безцѣльно выступилъ съ войскомъ изъ Варшавы чрезъ Подгурже въ Лискъ, совершая тѣмъ самымъ актъ мятежный, а когда владѣтель Лиска, другъ

самого гетмана—воевода волынской, Оссолинский, сталъ его немилосердно обирать (IV. 230), подавая ему дорогіе счеты за все поставляемое, тогда Браницкий ушелъ въ Венгрію, въ Бардіовъ. Затѣмъ потихоньку отрекаясь отъ своего же протеста, онъ, послѣ королевскаго избранія, возвратился къ себѣ въ Бѣлостокъ и, не рѣшаясь уже показаться въ столицу, выслалъ въ Варшаву жену (IV. 293), а еще самъ спрашивалъ Матушевича: «а вы чего туда торопитесь? Вѣрно для выслушанія приказа-ній?»—«Плохо не слушать ихъ»—отвѣтилъ прозорливый Матушевичъ, который уже давно принялъ свои мѣры, чтобы покинуть утопавшій корабль своей безтолковой партіи.

Но жена гетмана оказалась гораздо энергичнѣе его. Разъ, на обѣдѣ у себя въ домѣ, она, защищая, по какому-то дѣлу, своего брата, едва не бросилась на Брюля: «если съ братомъ приключится что дурное, то на твоей особѣ мой домъ того искать будетъ и не быть тебѣ въ Польшѣ» (III. 207). Такъ и въ дѣлѣ по возстановленію гетманской власти, «видѣлъ я—пишетъ авторъ—какъ, стараясь о томъ и имѣя у себя на обѣдѣ короля, она начала плакать, весьма будучи исхудалой и истощенной. Король, удостовѣряя ее, что былъ бы готовъ сдѣлать ей угодное, слагалъ вину на князя-канцлера, а князь—на своего брата, воеводу русскаго, какъ маршала конфедераціи и командующаго войсками; и такимъ образомъ, одинъ обращалъ ее къ другому». Но всѣ эти просьбы и слезы не привели ни къ чему, какъ и оппозиція единственныхъ защитниковъ гетманской власти, выступившихъ на сеймѣ, а именно Массальскихъ—противъ вновь учрежденной войсковой комисіи. Массальскій самъ былъ вел. гетманомъ литовскимъ, какъ Браницкий—короннымъ; держа за одно съ Чарторыскими и конфедераціею, онъ не успѣлъ и оглянуться, какъ кафтанъ, спитый для Браницкаго, былъ надѣтъ и на него. Разсердившись, онъ пересталъ бывать въ засѣданіяхъ сейма. Зато, продолжалъ говорить сынъ его, епископъ виленскій, впо-

слѣдствіи повѣщенный толпою, человѣкъ надменный, модникъ, ходившій во фракѣ, и цѣдившій свои слова какъ вѣщанія оракула. Онъ выступилъ на сеймѣ въ защиту той же темы, въ патетическихъ и выработанныхъ рѣчахъ, которыя для насъ звучатъ весьма странно, такъ какъ онъ защищалъ сохраненіе въ цѣлости государственной должности—выставляя ее въ видѣ частной собственности, требуя ненарушимости булавъ въ рукахъ ихъ владѣльцевъ, въ родѣ пожизненнаго имѣнія. «Въ чемъ же ты виноватъ, дорогой отецъ»... или: «о когда самыя кедры падаютъ на землю, то какъ же не трепетать хворосту...» (IV. 315). Всѣ эти старанія были напрасны: сеймъ утвердилъ верховную войсковую комиссію. Глядѣла на это, изъ своей ложи, супруга гетмана; а когда все совершилось, то она произнесла: «пусть же васъ всѣ черти поберутъ»—и тотчасъ отъѣхала въ свой палацъ».

Быть можетъ, консервативно-олигархической партіи удалось бы оказать болѣе сильное сопротивленіе, еслибы дожилъ до междоусобицы опытный въ дѣлахъ, хотя и не особенно умный, Михаилъ Радзивиллъ, великій гетманъ литовскій. «Добродушный, не мстительный, этотъ магнатъ соблюдалъ два правила: всегда держаться короля и не раздражать Россіи. Правда, что поэтому его не боялись и не цѣнили ни дворъ, ни Чарторыскіе. Но тѣмъ не менѣе, онъ пользовался значеніемъ въ странѣ. При небольшомъ умѣ, отсутствіи инициативы и разныхъ недостаткахъ, происходившихъ отъ самаго воспитанія, отъ того, что Радзивилловъ отъ самой колыбели окружала лесть, въ этой слабой, но доброй натурѣ выдавались хорошія черты давнихъ магнатовъ, которые изъ поколѣнія въ поколѣніе занимали высшія должности: гуманность, благосклонность къ низшимъ и щедрость, склонность къ благотвореніямъ. Значеніе, какое имѣлъ Михаилъ Радзивиллъ въ странѣ обнаружилось въ той радости, какая охватила враговъ его дома, когда гетманъ, присутствуя, изъ одной вѣжливости, при вѣздѣ въ Вильно—Массальскаго, вступавшаго въ управленіе

епархією, простудился и послѣ кратковременной болѣзни умеръ (III. 76), а во главѣ дома сталъ мечникъ литовскій Карлъ Радзивиллъ (Ranie koschanku). Въ «Запискахъ» Матушевича портретъ этого героя легендарныхъ разсказовъ доселѣ популярныхъ въ Литвѣ, относится именно къ началу безславной политической роли Радзивилла и не совсѣмъ похожъ на тотъ типъ, какой сохранило позднѣйшее устное и литературное преданіе. Лѣта и опытность могли, конечно, впоследствии нѣсколько умѣрить его темпераментъ и смягчить наиболѣе рѣзкія черты въ его характерѣ. Но въ этотъ первоначальный періодъ его политической дѣятельности, по даннымъ Матушевича, весьма точнымъ и вполне историческимъ, князь Карлъ представляется не только дурно-воспитаннымъ и сумасброднымъ чудакомъ, но еще такимъ человѣкомъ, съ которымъ имѣть дѣло было и непріятно, и даже небезопасно, такъ какъ въ его дикихъ выходкахъ отражалась склонность къ жестокости, свойственной, впрочемъ, и инымъ членамъ Радзивилловскаго дома, за исключеніемъ гетмана. Такъ, Радзивиллу хорунжему ничего не стоило велѣть разстрѣлять офицера за малый проступокъ, не взирая на мольбы всей его семьи о помилованіи (II. 85), а Радзивиллъ-крайчій былъ поставленъ подъ опеку родственниковъ, за то, что устроилъ себѣ гаремъ, въ который поступали дѣвушки, воспитываемыя для этой цѣли въ его фольваркахъ, да еще за то, что жену и дѣтей держалъ подъ ключемъ, въ великомъ неудобствѣ и смрадѣ, а также за разныя насилія, нападенія, сожиганіе строеній, словомъ за безчисленные «криминалы», за которые иной человѣкъ давно бы поплатился жизнью (I. 201).

Князь Карлъ былъ въ 1755 г. маршаломъ трибунала въ Минскѣ и когда бывалъ пьянъ (что случалось нерѣдко), то «обыкновенно становился violentus» — пишетъ Матушевичъ (II. 169). — «Послѣ одного обѣда, которымъ онъ угощалъ своихъ товарищей — депутатовъ, онъ велѣлъ позвать въ столовую двѣнадцать драгунъ и приказалъ

имъ дать залпъ изъ карабиновъ въ потолокъ, затѣмъ вошли барабанщики и сурники, начали бить въ барабаны, заиграли на дудкахъ: пискъ, стукъ, поднялась пыль отъ обрушившейся печи, и вдобавокъ крики пьющихъ, — все это представило сцену подобную аду. Въ заключеніе, тѣхъ депутатовъ, которые принадлежали къ канцлерской партіи посадили насильно въ карету, запряженную отменно злыми лошадьми, послѣ чего кучеру и фореитору князь приказалъ слѣзть, а бѣшеныхъ жеребцовъ пустить, путая ихъ щелканьемъ бича и стрѣльбою» (I. 170). Еще хуже князь Карлъ поступилъ съ Пржисѣцкимъ, депутатомъ полоцкимъ (т. е. депутатомъ въ трибуналѣ). Правда, его обвиняли въ томъ, что по дѣлу Матушевичей онъ бралъ деньги одновременно и отъ Радзивилла, и отъ канцлера. Подъ утро, когда Пржисѣцкій возвращался домой, шестеро княжескихъ слугъ, переодѣтые въ рясы, будто монахи конгрегаціи св. Анны, высыпали ему больше трехсотъ ударовъ плетми, упрекая его въ безправственной жизни и во взяточничествѣ, такъ что потомъ фельдшера должны были сшивать ему истерзанную кожу и мясо (II. 180). «Бить князь любилъ и трудно описать — говоритъ авторъ — какія безразсудства онъ творилъ, напившись пьянъ (IV. 82): стрѣлялъ въ людей носился на конѣ, или отправлялся въ каплицу и пѣлъ тамъ *godzinki* <sup>1)</sup> до тѣхъ поръ, пока не выкричался и не отрезвѣлъ. Никогда онъ не пилъ изъ стакана умѣренной величины и понемногу, а непременно изъ такого, въ который входила кварта вина, и выпивалъ его сразу. Вина къ нему возили постоянно и выпивались онѣ невыдержанныя, сладкія, еще и не отстоявшіяся, ибо расходовались немедленно; а пили ихъ только съ верху, остальное же, мутное, отдавали гайдукамъ и простонародью. На новыи 1764 годъ, какъ разъ передъ избраніемъ короля, всѣ предводители анти-канцлерской

---

<sup>1)</sup> Пѣсни въ честь Божіей Матери, разложенныя на «часы».

партіи собрались къ гетману, въ Бѣлостокѣ, на совѣтъ. Князь напился, заставилъ Мокроновскаго сѣсть на коня, и оба вѣхали верхомъ по каменной лѣстницѣ, выложенной мраморомъ, въ залъ, на оперетку. Тутъ оперетки князь не слушалъ, а подсѣлъ къ одной венгерской полковницѣ и сталъ ей рассказывать весьма двусмысленныя вещи. Послѣ оперетки, во дворцѣ гетмана, князь при- ставалъ къ его супругѣ: «вѣдь братъ вашъ, милостивая государыня <sup>1)</sup>, стольникъ литовскій — дуракъ! кто его станетъ возводить на польскій престолъ?» За ужиномъ, князь сталъ пить еще, что видя, мы встали, а онъ по- ѣхалъ въ городъ, гдѣ, собравъ музыкантовъ со скрип- ками и цимбалами, остался ночевать» (IV. 142).

При такомъ препровожденіи времени, съ княземъ нельзя было ни о чемъ толкомъ переговорить, тѣмъ болѣе, что разсудительныхъ совѣтовъ онъ не слушалъ, да еще за даваніе ихъ обрывалъ, какъ-то случилось съ тогда- шнимъ кастеляномъ брестскимъ Абрамовичемъ (VI. 79). Порядочные люди его оставили, а остались, которые хо- тѣли пользоваться и одни сплетничали на другихъ; когда- же откуда нибудь получались деньги, то они, сговорив- шись между собой, расхватывали ихъ подъ пьяную руку. Богушъ, бывшій главнымъ столпомъ радзивилловской партіи и единственный человѣкъ, котораго окружавшіе князя люди охотно признавали руководителемъ, поспѣ- шно прибылъ изъ Вильна—извѣстить князя о смерти его отца, а когда Радзивиллъ началъ печалиться, громко выражая свою скорбь, Богушъ посовѣтовалъ ему вы- нить стаканъ вина, потомъ еще стаканъ, и тогда под- сунулъ ему къ подписи бумагу, въ которой за какіе-то, будто-бы невыплаченные Богушу гетманомъ 60,000 злотыхъ, Богушу предоставлялось въ пожизненную аренду имѣніе Дубинки, приносившее въ годъ 30,000 зл. дохода (III. 177). Тѣмъ неменѣе, Богушъ былъ единственнымъ че-

---

<sup>1)</sup> Станиславъ Понятовскій.

ловѣкомъ, который умѣлъ сдерживать князя своими почти нахально выражаемыми убѣжденіями. Но и онъ не выдержалъ, такъ какъ серьезно оскорбилъ Радзивилла, рѣшивъ какое-то дѣло, председательствуя въ трибуналѣ, въ качествѣ вице-маршала, не по мысли князя. Когда Богушу дали знать о неудовольствіи послѣдняго, то онъ пріѣхалъ въ Негнѣвиче, гдѣ находился князь и хотѣлъ обращаться по прежнему, какъ свой человѣкъ. Но князь наоборотъ, принявъ его со всѣмъ уваженіемъ, подобавшимъ вице-маршалу, посадивъ его на первомъ мѣстѣ, отъ частной же аудіенціи уклонился, а между тѣмъ велѣлъ закладывать коляску, чтобы ѣхать на охоту. Богушъ хотѣлъ, чтобы и его взяли съ собой, но князь отвѣтилъ ему: «такъ какъ вы такъ заботливо соблюдаете законъ и справедливость, то вамъ лучше, согласно присягѣ, немедленно возвратиться въ трибуналъ» (IV. 54).

Послѣ этой опалы Богуша, руководителемъ Радзивилла сдѣлался интриганъ подстолий литовскій Паць, который пилъ вмѣстѣ съ княземъ и до такой степени низкопоклонничалъ предъ нимъ, что когда всѣ пѣли «godzinki» къ Пресв. Дѣвѣ, и когда доходили до стиха: «и къ мудрости направъ въ сенатѣ разсужденья» — весь дворъ вставалъ и кланялся Радзивиллу <sup>1)</sup>). Вся политика Паца направлена была къ заключенію союза Радзивилловъ съ Массальскими, который былъ невозможенъ, такъ какъ Массальскіе, люди хитрые, желали напротивъ того — разорить Радзивилловъ, чтобы прислужиться Чарторыскимъ и затѣмъ воспользоваться чѣмъ либо самимъ изъ колоссальнаго Радзивилловскаго состоянія. Болѣе проницательные люди давно убѣдились, что Массальскіе только отводятъ глаза и обманываютъ, наконецъ понялъ это и самъ князь Карлъ, только ужъ слишкомъ поздно. Конечно, онъ рѣшился тотчасъ-же расправиться по своему, то есть прямо затянуть самъ себѣ на шеѣ петлю, ко-

---

<sup>1)</sup> Какъ члену сената по званію воеводы виленскаго.

торая уже издавна готовилась его врагами. Онъ былъ въ Вильнѣ въ это время. Былъ въ гостяхъ у г-жи Тышкевичъ, и тамъ забавлялся стрѣльбою въ цѣль. Послѣ этой забавы, онъ отправился ко дворцу епископа виленскаго <sup>1)</sup>, напелъ двери запертыми, велѣлъ ихъ выломать, догналъ гдѣ-то Массальскаго, который хотѣлъ уѣхать отъ него изъ дому, грозилъ епископу саблей, называя ее кропильницею, напомнилъ ему о судьбѣ Св. Станислава, и пообѣщалъ ему, что продастъ какой-нибудь фольваркъ, но поѣдетъ въ Римъ судиться съ епископомъ (IV. 250). Послѣ этого скандала въ Вильнѣ, у всѣхъ приверженцевъ дома Радзивилловъ опустились руки; епископъ велѣлъ отправить въ церквахъ *Te-Deum* за избавленіе отъ угрожавшей опасности. Надъ Радзивиллами собиралась гроза, надо было уходить передъ декретомъ конфедераціи, отстрѣливаясь спасаться за границу; при этомъ случаѣ можно было себѣ позволить разорить принадлежавшій зятю канцлера Чарторыскаго—Тизенгаузу, Тересполь, но зато предоставить еще худшему разоренію Бялу, владѣніе Радзивилловъ и всякія другія ихъ имѣнія. Весь этотъ походъ за границу, въ изгнаніе, съ вѣрными слугами Радзивилловскаго дома, съ Богушемъ и двумя амазонками, представляется весьма поэтичнымъ въ повѣствованіи француза Рюльера. Но къ реалистичному разсказу о томъ же, у Матушевича, поэзія Рюльера относится такъ, какъ героическая картина изъ походовъ Александра Великаго, въ стилѣ Пуссена—къ какому-либо эскизу Колло или къ одной изъ абрузскихъ сценъ Сальватора-Розы. Амазонки же, о которыхъ упомянуто, были: Теофиля, сестра князя Карла—дама, которая еще въ Негнѣвичахъ разбивала топоромъ шкафъ, гдѣ было вино, когда ей не дали ключей (IV. 40); брата она бросила въ Олыкѣ, и вывезла въ каретѣ въ Львовъ Моравскаго—гусарскаго капитана, уприсивъ затѣмъ львов-

---

<sup>1)</sup> Нынѣшній императорскій дворецъ.



скаго архіепископа, чтобы онъ разрѣшилъ свадьбу безъ оглашеній (IV. 40). Другая амазонка была сама княгиня Радзивилль Тереза, рожденная Ржевуская. За границей, она испытала ревность мужа, подозрѣвавшего ее въ склонности къ Богушу. По этому поводу, князь стрѣлялъ въ Богуша изъ пистолета; сама же госпожа воеводина виленская благополучно возвратилась въ Варшаву, пѣла тамъ и танцевала, рассказывала королю нескромныя аллегоріи, желая втереться въ его милость, дотога что необходимый князь-канцлеръ литовскій (Чарторыскій) называлъ ее въ глаза такъ, что того неудобно написать (IV. 305).

Непріятному впечатлѣнію, какое производятъ всѣ эти печальныя фигуры, соотвѣтствуетъ, съ другой стороны, нападеніе вѣроновъ на имѣнія и состояніе Радзивилла, на освободившіяся, принадлежавшія ему старѣства и званія. Евреямъ, въ Тересполь, которыхъ Радзивилль разгромилъ, было велѣно показать подъ присягою убытокъ, опредѣленный ими въ 540 тысячъ золотыхъ, и за эту сумму предоставлена была имъ половина принадлежавшаго Радзивилламъ графства Бялы съ окрестностями (IV. 243). Сумму въ 100 тысячъ талеровъ изъ подымной подати съ радзивилловскихъ имѣній собралъ Бржостовскій, маршалъ конфедераціи. «Пригласилъ насъ — пишетъ Матушевичъ — Пржездецкій на старое вино; Пржездецкій былъ рефендаріемъ вел. кн. литовскаго, а потомъ — подканцлеромъ, онъ же былъ одинъ изъ упомянутыхъ вѣроновъ. Когда мы пріѣхали, онъ былъ въ халатѣ тканомъ, не шитомъ, холщевомъ, какіе дѣлаютъ тамъ, подъ Пинскомъ. Меня просили сказать что-нибудь, по поводу этого шлафрока хозяина, тогда я неосторожно выразился такъ, что шлафрокъ оный — какъ риза Господа Христа — тканъ, но не шитъ, а когда Пилатъ былъ обвиненъ передъ Тиверіемъ за лихоимство въ Палестинѣ, то онъ, идя къ императору, надѣлъ на себя ризу Христову, и тѣмъ убожествомъ охранилъ себя отъ цесарскаго гнѣва. Шутка эта была неосторожна ибо

оная Палестина означала тутъ разграбленіе радзивилловскихъ имѣній. Смѣяться-то, всѣ смѣялись, но мы оба—рефендарій и я—смѣялись принужденнымъ смѣхомъ, онъ—потому, что шутка попала ему въ больное мѣсто, а я—потому, что сдѣлалъ глупость» (IV. 288).

## V.

Матушевичъ былъ свидѣтелемъ того, какъ падали одинъ за другимъ эти кедры ливанскіе, подгнившіе внутри, но паденіемъ своимъ придавливавшіе широко вокругъ себя скромный хворостъ мелко-дворянскаго быта. Къ такому хворосту принадлежалъ, собственно говоря, и самъ авторъ «Записокъ», но онъ сумѣлъ устроиться такъ, что вышелъ сухъ изъ воды, а между тѣмъ сердце у него лежало все-таки—къ означеннымъ могучимъ кедромъ, ибо онъ чувствовалъ отвращеніе и опасеніе къ той силѣ, которая ихъ сваливала. Мартинъ Матушевичъ, лично, былъ вполне доволенъ прежнимъ порядкомъ вещей и анархіей, этотъ порядокъ сопровождавшей. Отъ князя-канцлера его отвращало не только то, что тотъ самъ былъ къ нему дурно расположенъ, но еще и то, что, пристава къ партіи канцлера, партіи реформы, пришлось бы отречься отъ шляхетской свободы, отъ возможности вестъ политику на свою руку, переходить свободно отъ одного кормильца къ другому, пришлось-бы отречься отъ служенія одновременно нѣсколькимъ господамъ. Партія Чарторыскихъ, образывавшаяся по выдержанному принципу, управлялась «фамиліею» почти самовластно, и требовала отъ своихъ приверженцевъ такого послушанія, такой дисциплины, которыя были несносны для людей, привыкшихъ къ совсѣмъ инымъ условіямъ, и для которыхъ такія привычки сдѣлались второй натурой. Партія Чарторыскихъ имѣла именно то, чего въ продолженіи вѣковъ недоставало цѣлому народу: послѣдовательную политику въ осуществленіи реформъ. Конечно, она имѣла и слабыя сто-

роны: преобразованія нельзя было совершить тѣми средствами, какими партія располагала. Начиная сверху, несочувственное большинству преобразование она принуждена было секретничать, недоговаривать послѣднихъ своихъ словъ, должна была запутываться въ дипломатическіе компромиссы.

Уже главная точка опоры партіи была—заграницей; средствомъ дѣйствія была дипломатія, дѣйствовавшая въ невѣрномъ и даже наивномъ предположеніи, что гдѣ-то найдутся такіе благодѣтели, которые искренно помогутъ ввести улучшенія. Между тѣмъ, для осуществленія реформы, приходилось и внутри государства занять такое положеніе, чтобы господствовать надъ всѣмъ, а для этого казались дозволенными всякія средства, неисключая подкупа и даже насилія; впрочемъ, въ этомъ отношеніи соперничали обѣ стороны. Но преобразование — преобразованиемъ, а все-таки было видно, что преобразователи были и сами лично заинтересованы въ своемъ дѣлѣ, что ихъ манилъ блескъ монархической власти. Какъ бы то ни было, надо признать, что политика «фамиліи» въ то время была единственной возможной для спасенія, скажемъ болѣе — была вполне патріотической. Но Матушевичъ не могъ оцѣнить ни значенія ея, ни ея патріотичности: онъ видѣлъ только, что въ Республикѣ устанавливается весьма чувствительное притѣсненіе; а потому, оплачивая зубъ за-зубъ, нарисовалъ намъ канцлера въ видѣ какого-то демона. А между тѣмъ, несмотря на ненависть автора и односторонность представленнаго имъ портрета, фигура канцлера въ самыхъ «Запискахъ» является болѣе сочувственной и внушительной, чѣмъ лица, съ нимъ боровшіяся и Матушевичемъ одобряемая — такъ велика въ канцлерѣ сила выдержанности и энергія характера. Даже наиболѣе рѣшительные противники канцлера должны были признавать вѣрность нѣкоторыхъ сравненій его и изрѣченій (VI. 245), напр. когда онъ говорилъ о «звонкахъ на ошейникѣ», или упоминая о приступленіи Салѣги, полевого гетмана

литовскаго къ конфедераціи (1764), говорилъ: «всеравно что четверть листа къ дести приложилъ» (IV. 229).

Однимъ изъ худшихъ свойствъ того вѣка было притворство (*dissimulatio*). Типическій его примѣръ представляется въ анекдотѣ, включенномъ въ «Записки», о бывшемъ виленскомъ воеводѣ Людвикѣ Поцѣѣ, который говорилъ: «когда кто-нибудь броситъ въ меня камнемъ, я камень припрячу; броситъ потомъ другой и третій, я и тѣ сохранию, а когда придетъ время, тогда, бросая внезапно всѣми этими камнями въ противника, я навѣрное попаду въ него» (I. 20). Канцлеръ былъ по крайней мѣрѣ воленъ отъ притворства: онъ рѣзалъ правду въ глаза. Однажды въ Волчинѣ справлялась свадьба дочери Флеминга съ кн. Адамомъ Чарторыскимъ, сыномъ воеводы русскаго, генераломъ земель подольскихъ, и на ту свадьбу пріѣхали (1761 г.) между прочими: вел. гетманъ литовскій Радзивиллъ и близкій пріятель его дома Абрамовичъ, кастелянъ брестскій. Канцлеръ, по своему обыкновенію, началъ говорить гетману несовсѣмъ пріятныя вещи, напр: что, строя себѣ повсемѣстно дворцы, онъ не умѣлъ устраивать въ нихъ порядка. Тогда Абрамовичъ сказалъ, что это легко тому, кто имѣетъ одну только резиденцію, чѣмъ самымъ уколовъ князя-канцлера, что у него нѣтъ столькихъ резиденцій, какъ у Радзивилловъ. Тогда канцлеръ сказалъ, что его бѣда въ большомъ числѣ посредниковъ—арендаторовъ или державшихъ его имѣнія на залоговомъ правѣ, какъ Абрамовичъ; иначе, управляя самъ, онъ бы, навѣрное, получалъ неменѣе 20% отъ своего капитала. Такъ канцлеръ не прощалъ даже гостямъ какія-либо критическія выходки (III. 145). Во всякомъ случаѣ, вся партія реформы, партія Чарторыскихъ, была основана на дисциплинѣ; партія эта принимала въ свой составъ и аристократовъ новыхъ, людей «безъ чести и вѣры», шедшихъ исключительно за добычей—какъ оригиналъ Флемингъ, подскарбій литовскій, и Массальскіе—расточители, и магнатовъ чистой крови, недовольныхъ дворомъ, какъ подканцлеръ литовскій Са-

пѣга, и даже — перебѣжчиковъ изъ лагеря олигархическаго. «Всѣхъ, кого дворъ глупымъ своимъ образомъ дѣйствій оскорбитъ или оттолкнетъ — говорилъ канцлеръ — я соединяю съ собою и въ настоящее время имѣю болѣе числомъ, и болѣе могущественныхъ сторонниковъ, чѣмъ дворъ, который распоряжается раздаваніемъ королевскихъ милостей» (III. 145). Даже такіе столпы партіи олигархической, какъ Іеронимъ Радзивиллъ, были въ уговорѣ съ Чарторыскими во время междуцарствія (1764 г.). Одинъ изъ трехъ предводителей радзивилловской лиги, гордый воевода кievскій Потоцкій, измѣняя своимъ, вступилъ въ сношенія съ Чарторыскими и прислуживался имъ, сообщая наиболѣе тайныя рѣшенія своей партіи (III. 214). Иные изъ самыхъ близкихъ приверженцевъ «фамиліи», даже принадлежавшіе къ ней по родству, такъ напр. Левъ Сапѣга, подканцлеръ, зять канцлера, скучали этой дисциплиной, этимъ тяжкимъ ярмомъ и пробовали отъ него освободиться. Но это была рискованная игра, и Левъ Сапѣга испыталъ то на себѣ, въ какое трудное положеніе его поставилъ тесть-канцлеръ (III. 90 — 99). Умирая, Сапѣга говорилъ: «благодарю Господа своего Бога, что глаза мои не увидятъ того, что будетъ съ республикой по смерти короля, если князь-канцлеръ переживетъ его величество <sup>1)</sup>».

Для Чарторыскихъ политика была выше родства: вслѣдствіе того разстроились ихъ отношенія съ гетманомъ Браницкимъ, потомъ съ подканцлеромъ Сапѣгой, а наконецъ они пожертвовали и Флемингомъ, состоявшимъ съ ними въ двойномъ свойствѣ, но несмотря на то, принужденномъ ими уступить званіе литовскаго подскарбія (казначей) — Бржостовскому, (IV, 290, 302). «Записки» Матушевича можно назвать регистромъ столкновеній и побѣдъ «фамиліи», которой умъ и выдер-

---

<sup>1)</sup> Левъ Сапѣга, благодѣтель виленскихъ бернардиновъ, похороненъ подъ красивымъ памятникомъ въ церкви св. Михаила въ Вильнѣ, недавно запертой.

жанность постоянно одерживали верхъ надъ многочисленными, но безтолковыми противниками. Въ послѣднемъ избраніи короля (Станислава Августа) Чарторыскіе одерживаютъ побѣду на всей боевой линіи—событіе, на которомъ и оканчиваются «Записки» Матушевича.

Правда, побѣда Чарторыскихъ была обманчивая, непрочная, и тотчасъ послѣ нея, всплыли на верхъ всѣ ихъ невѣрныя предположенія, иллюзіи и невѣроятные расчеты ихъ политики, разочарованія и въ дипломатіи, и въ союзникахъ, которые только и жаждали освобожденія своего отъ зависимости, и наконецъ — въ самомъ бывшемъ стольникѣ литовскомъ. Такъ много было приложено усилій и такъ незначителенъ полученный результатъ—*nascitur mus*. Какъ въ лабораторіи Фауста, изъ сгущенныхъ паровъ вышелъ бродячій схоластикъ, такъ изъ всей подготовительной работы конфедерации и тучи чужестранныхъ денегъ появился, граціозно раскланиваясь на всѣ стороны, панъ стольникъ литовскій — совершеннѣйшій актеръ, какого произвелъ XVIII вѣкъ во второй своей половинѣ, актеръ такъ хорошо проникшійся своей ролью, что въ эффектной его игрѣ можно было принять за правду—и сильную власть въ мягкой рукѣ, и королевскія чувства, которыя у него были на языкѣ, но не въ сердцѣ. Король этотъ, повидимому, чувствовалъ глубоко и важность момента, и святость своего призванія; во время коронаціи его пришлось поить лавровыми каплями и оттирать духами (IV. 286), а передъ принесеніемъ присяги о соблюденіи договорныхъ пунктовъ (*pacta conventa*) онъ произнесъ столь трогательную рѣчь, что почти всѣ плакали, всѣми овладѣла надежда, что монархъ съ такими дарованіями сѣмѣетъ хорошо царствовать (IV. 286). Манеры были въ самомъ дѣлѣ королевскія, а шутить онъ изволилъ остроумно. Напр. подвыпившій подкоморій Глинка, приверженецъ Чарторыскихъ, проситъ куска хлѣба, то есть старѣства, а король ему: «постараюсь, чтобы ваша милость не пили на-тощакъ» (IV. 300). Между тѣмъ, этому Адонису въ

коронѣ со всѣхъ сторонъ дѣлають глазки прелестныя и кокетливыя дамы. Въ то время у короля были всего только двѣ привязанности: одна — къ женѣ литовскаго полеваго гетмана, которая заявляла даже желаніе быть открыто объявленной метрессою короля; другая — къ дочери Сапѣги, воеводы мстиславскаго. И между двумя этими дамами происходила конкуренція (IV. 303). Въ богатой коллекціи портретовъ, какую даетъ намъ Матушевичъ, послѣдній изображаетъ Понятовскаго, но это — не наиболѣе удачный. Въ «Запискахъ» очертанъ только восходъ этого солнца, начало его долговременнаго пути.

Галерея портретовъ у Матушевича разнообразится множествомъ жанровыхъ картинокъ и анекдотовъ, которыми иллюстрируются характеры и обычаи вѣка. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Алчные Массальскіе, гетманъ и епископъ, вывозятъ изъ Новогрудка тѣло умершаго тамъ сына перваго и брата втораго, маршала трибунала (1763 г.) тайно, какъ будто везутъ серебро и посуду — для того только, чтобы избавить себя отъ расхода на парадную церковную службу и звонарей (IV. 7). Въ числѣ послѣднихъ приверженцевъ Лещинскаго, державшихся въ Кёнигсбергѣ, находилась Мокроновская, итальянка, по отцу — Кастель; и вотъ ксендзъ по ея поводу сказалъ проповѣдь на текстъ: *venit mulier de Castello in civitatem peccatrix* (I. 54) <sup>1)</sup>. Къ Мокроновскому не благоволилъ гетманъ Браницкій, подозрѣвая его, что будучи влюбленъ въ его, гетмана, жену, онъ выдавалъ «фамиліи» секреты гетманской партіи. Разъ Мокроновскій, взявъ въ руки бутылку шампанскаго, сталъ спрашивать Мнишха, надворнаго маршала и совѣтника короля Августа III, какъ онъ желаетъ, чтобы разливали вино: по министерски — то есть пѣну другимъ, а себѣ вино, или добросовѣстно — вино безъ пѣны? Маршалъ сердился, зато жена гетмана, (рожденная Поня-

---

<sup>1)</sup> Приде блудная жена изъ замка во градъ.

товская), которой наконецъ надоѣли цѣлую недѣлю дивившіяся совѣщанія враговъ ея дома, такъ была довольна конфузомъ Мнишха, что у нея даже цвѣтъ лица поправился (IV. 50). Подскарбій Флемингъ, который такъ позорно былъ угощенъ саблями плашмя на сеймикѣ, является въ «Запискахъ» забавнымъ чудакомъ. Когда онъ парадно въѣзжалъ въ Брестъ-Литовскъ, для вступленія въ свое званіе старосты, то его встрѣтилъ старшина рѣчью; Флемингъ прервалъ ее, хладнокровно сказавъ по нѣмецки: «я бы слушалъ, да лошади не желаетъ», и двинулъ ее впередъ (I. 245)<sup>1)</sup>. Когда онъ злился, то лѣвая щека его тряслась; къ исповѣди и причастію приступалъ онъ совершенно разсѣянно (II. 193), а когда что нибудь приводило его въ замѣшательство, то подскарбій повертывался къ гостямъ спиною и четверть часа стоялъ, уткнувъ голову въ стѣну (II. 294); иной разъ принимался бить жидовъ (III. 79), а то встрѣтивъ на улицѣ нищую, которая къ нему обратилась, началъ колотить ее палкой, такъ что его насилу удержалъ шедшій съ нимъ самъ канцлеръ Чарторыскій (II. 59).

На сеймикъ въ Ковнѣ, собравшійся для избранія депутата, пріѣхалъ одинъ кандидатъ, Скорульскій, съ толпой друзей и—съ гробомъ, чтобы сейчасъ хоронить его, если онъ не будетъ избранъ (III. 160). Членъ палаты депутатовъ отъ Смоленска—Дылевскій, на сеймовомъ засѣданіи возблагодарилъ Бога за миръ въ христіанствѣ, по тому поводу, что онъ примѣтилъ въ трибунѣ—іезуита, сидящаго рядомъ съ піаромъ. Тотъ же Дылевскій рассказывалъ, что старшиною у литовскихъ лютеранъ состоитъ Грабовская и посвящаетъ ихъ проповѣдниковъ словами: «прими духа изъ подъ фартуха»;

---

<sup>1)</sup> Когда Карлъ Сапѣга во время сеймика въ Брестѣ, прислалъ въ городъ свои экипажи, но самъ не пріѣхалъ, извинившись геморроемъ, то Флемингъ, разозлившись, сказалъ громко: «а что-же въ экипажахъ—Drek»? (I. 247).



онъ же наконецъ, придумалъ такое разрѣшеніе еврейскаго вопроса, чтобы всѣхъ жидовъ, молодыхъ и старыхъ оскотить, «вслѣдствіе чего оная нація *insensibiliter* переведется» (I. 195). Такими мелкими, безчисленными анекдотами и мимоходными штрихами дополняются у Матушевича изображеніе событій и картина нравовъ. Обычное теченіе жизни и очередь разныхъ приключеній періодически обращались вокругъ двухъ главныхъ, центральныхъ и ежегодныхъ фактовъ—засѣданій сеймика и засѣданій трибунала. Тотъ матеріалъ по характеристикѣ нравовъ, который собранъ Рёпеллемъ въ его послѣднемъ сочиненіи («*Polen um die Mitte des 18 Jahrhunderts*») представляется незначительнымъ въ сравненіи съ массою матеріала собраннаго у Матушевича. Читая его, мы какъ бы стоимъ передъ самымъ, находящимся въ дѣйствиіи механизмомъ политической жизни, и намъ не трудно подмѣтить несложные секреты этого движенія.

## VI.

Наружный образъ сеймиковъ достаточно знакомъ, и нѣтъ нужды напоминать такихъ подробностей, что на нихъ нерѣдко разсѣкались головы и порубались носы. Но основное условіе для того, чтобы сеймикъ могъ состояться представлялось въ успѣхѣ совѣщаній, предшествовавшихъ засѣданіямъ; если на нихъ не состоялось соглашеніе, то сеймику предстояло уже только быть «сорваннымъ», то есть опротестованнымъ и несостоявшимся. Тогда уже искусство заключалось въ томъ, чтобы сеймикъ открыть безъ немедленнаго протеста и тотчасъ же распустить его, не приступая къ выбору маршала, т. е. предсѣдателя, такъ какъ именно по этому поводу обыкновенно и возникало смятеніе и обнаженіе сабель (II. 83). Прибѣгали къ разнымъ уловкамъ, чтобы обмануть противную партію:—открыть сеймикъ, избрать депутатовъ и тотчасъ же закрыть засѣданія, чтобы против-

ники не успѣли спохватиться. Вотъ напр. въ Мозырѣ, въ 1743 г. предполагено было избрать на сеймикѣ въ депутаты Сапѣгу, въ послѣдствіи подканцлера, а противились этому Радзивиллы. Сеймикъ долженъ былъ собираться въ городскомъ замкѣ, у старосты Оскерки. Староста пригласилъ къ себѣ въ гости всѣхъ, кого слѣдовало. Когда начались танцы, то противники порасходились; въ это время Оскерко велѣлъ музыкѣ замолчать, открылъ сеймикъ обычной формулой, предложены были имена кандидатовъ, тотчасъ выбранныхъ, и затѣмъ сеймикъ закрылся, а танцы возобновились съ большимъ оживленіемъ (I. 138). Въ Ковнѣ, въ 1761 г. маршалъ Забѣлло, вмѣстѣ съ кастеляномъ витебскимъ Сируцемъ шли медленно, будто бы въ церковь, къ бернардинамъ, и передъ Забѣллою несли жезлъ; противная имъ партія поспѣшила занять мѣста въ церкви; между тѣмъ, дойдя до нее, жезлъ, а за ними и маршалъ повернули сквозъ калитку—къ замку, лежавшему въ развалинахъ, въ безлюдномъ мѣстѣ. Тамъ въ одинъ моментъ произошли — открытіе сеймика, провозглашеніе депутатовъ, принесеніе послѣдними благодарности и уже затѣмъ, войдя въ церковь, побѣдители распорядились, чтобы было пропѣто *Te Deum*. Канцлерская партія попыталась—было протестовать, но приверженцы маршала, схвативъ перваго попавшагося противника—Козѣровскаго, «персону довольно огромную», такъ его вздули, что прочіе притихли и даже не внесли протеста въ градскомъ судѣ (III. 115).

Особенно важною представлялась финансовая сторона всей процедуры. Втеченіи всего десяти лѣтъ, Матушевичъ сдѣлалъ огромные успѣхи въ опытности и недобросовѣстности по этой части. Въ 1754 г. онъ еще твердо рѣшался — не вдаваться слишкомъ глубоко въ сеймики ни отъ кого не зависѣть и не становиться никому поперекъ дороги, а лишь охранять *bonum ordinem*. Между тѣмъ, уже въ 1757 г. онъ участвовалъ, въ качествѣ второстепеннаго агента, въ важныхъ совѣщаніяхъ Радзивилловской партіи о будущемъ сеймикѣ. «Была

подписка на расходы по сеймикамъ для избранія депутатовъ; князь гетманъ (Мих. Радзивиллъ) далъ 100 тысячъ золотыхъ; князь хорунжій (Іеронимъ Радзивиллъ) далъ 50 тысячъ; вел. маршалъ литовскій (Огинскій) — 25 тысячъ; дали и иные, а въ совокупности собрана была сумма 200 тысячъ, которую и оставили на хранение у Грабовскаго, старосты дудскаго. Тотчасъ разнесся слухъ о такой контрибуціи и дошелъ до канцлера» (II. 256). Но вскорѣ оказалось, что на такую машину какъ формированіе трибунала—мало 200 тысячъ. Тогда обратились къ инымъ источникамъ и прежде всего—къ французской субсидіи, сокровищу, ключъ отъ котораго случайно находился въ рукахъ у Матушевича. Возроженія совѣсти успокоивались легко: «неужто это было въ самомъ дѣлѣ — государственное преступленіе для людей, находившихся въ столь тяжелой опрессіи — принимать что-либо отъ короля французскаго, столь великаго, получать отъ щедротъ его пособіе, безъ всякихъ хотя бы наименьшихъ условій?» (II. 316). Деньги эти распредѣлялись по спискамъ между воеводствами и уѣздами; каждый округъ имѣлъ въ предѣлахъ уѣзда человѣка, которому довѣрялъ, который руководилъ дворянствомъ (II. 282); въ уѣздѣ каждый человѣкъ *verbosus* и *ex lingua venalis* <sup>1)</sup> имѣлъ свою болѣе или менѣе опредѣленную денежную цѣну; но сверхъ того, надо было еще позаботиться о винахъ и кушаньяхъ, нанять, червонцевъ за 25, тайнаго пріятеля, сирѣчь шпіона въ противной партіи и приготовить отступное для соперника избираемаго кандидата (III. 5). Когда собранныхъ подпискою денегъ не хватало, приходилось уже, не оглядываясь назадъ, приплачивать изъ своихъ, въ той надеждѣ, что авось возвратятъ ихъ или французскій король, или гетманъ, или хорунжій. Такъ, «брестскій сеймикъ (1758 г.)—писалъ со скорбью Матушевичъ — стоилъ мнѣ 423 червонца и 30 копѣнъ ржи, кромѣ иныхъ припасовъ. Французскій

---

<sup>1)</sup> Говорунъ съ продажнымъ языкомъ.

министръ денегъ мнѣ не возвратилъ, князь-гетманъ (Радзивиллъ) сдѣлалъ кислую мину на одно упоминованіе о добавочномъ еще расходѣ (III. 35). Щедрѣе явился князь хорунжій (Іеронимъ Радзивиллъ): тотъ далъ 3 тысячи золотыхъ—остатокъ изъ подписанной въ Ивѣ суммы, да еще прибавилъ впослѣдствіи 1 тысячу золотыхъ, и наконецъ объявилъ, что, хотя у него есть доходы, но монетнаго двора у него нѣтъ» (III. 45). Такъ и въ 1759 г. Матушевичъ приплатилъ на брестскій сеймикъ изъ своего кармана 92 червонца, а въ 1760 г. вышло у него на тотъ же предметъ, сверхъ припасовъ и вина— 2 тысячи тынфовъ (въ тынфѣ 1 золотой и 8 грошей) (III. 65). Съ нимъ было какъ съ игрокомъ, который чѣмъ далѣе играетъ, тѣмъ сильнѣе втягивается въ игру. За 1761 г. онъ пишетъ: «я разослалъ, согласно съ обычными вознагражденіями, 2 тысячи тынфовъ для сбора приверженцевъ на сеймикъ по избранію депутатовъ въ сеймъ (III. 119), дабы партія наша не разсыпалась». Такая же сумма была роздана и въ 1762 г., какъ обычная, «для того, чтобы друзья наши, усмотрѣвъ, что имъ ничего не даютъ, и на сеймикъ ихъ не водятъ, и потерявъ надежду, не обратились завтра же къ партіи Флеминга, и встрѣтя тамъ однажды хорошій пріемъ, не покинули насъ навсегда, такъ что бы мы и остались безъ дворянства *et sine popularitate*» <sup>1)</sup> (III. 160). На сеймикахъ направленіе давали лично заинтересованные въ выборахъ, больше всѣхъ дѣйствовали нанятые, а посредственно — тѣ, кого удалось склонить не подарками, но во всякомъ случаѣ — приглашеніями и угощеніемъ. Главное дѣйствіе всегда происходило за кулисами. Вотъ какъ поступали державные избиратели. Посмотримъ теперь, какъ дѣйствовали избираемые, а въ особенности — тѣ изъ нихъ, кому доставались въ руки мечъ Оемиды и вѣсы правосудія.

Составъ и устройство судовъ не соотвѣтствовали

---

<sup>1)</sup> Безъ популярности.

основнымъ законамъ государственной и общественной статистики. Суды должны быть въ государствѣ тѣмъ, что маятникъ въ часахъ и костяной остовъ въ тѣлѣ: той частью организма, которая наименѣе подвергается измѣненію, равномѣрнымъ регуляторомъ, властью наиболѣе независимою отъ борьбы партій, даже отъ вѣяній общественнаго мнѣнія; они должны представлять собой поставленнаго на возвышеніи посредника, наблюдающаго за тѣмъ, чтобы повседневная борьба, взаимодѣйствіе единичныхъ людей и цѣлыхъ партій происходили законно, въ предѣлахъ точно указанныхъ законами. Очевидно, что наши давніе суды, начиная отъ трибуналовъ, такимъ условіямъ не отвѣчали. Всякая перемѣна, каждый кризисъ въ республикѣ приостанавливали отправленіе постоянныхъ судебныхъ мѣстъ и вводили въ дѣйствіе суды временные: такъ называемые *kapiturowe* <sup>1)</sup> и конфедератскіе <sup>2)</sup>. Но и въ обыкновенное время пульсъ судебного отправленія прерывался, такъ какъ судопроизводство происходило только въ опредѣленные засѣданія (каденціи), и кромѣ того, избраніе членовъ трибунала на сеймикахъ ежегодно ставило трибуналы въ зависимость отъ текущей борьбы партій, отъ стремленій, и взаимнаго отпора разныхъ интересовъ. Отправленіе юстиціи было въ высшей степени партійное и пристрастное. Выборъ маршала, подъ вліяніемъ интригъ и подкуповъ—вотъ чѣмъ каждая партія старалась прежде всего обезпечить за собой трибуналъ, въ которомъ маршалъ предсѣдательствовалъ.

Такъ напр. въ 1759 г. составъ трибунала принадлежалъ партіи Флеминга, то есть рѣшительное большинство получили въ немъ приверженцы «фамиліи» и подскарбія. И въ маршалы, канцлеръ предназначалъ сво-

---

<sup>1)</sup> Отъ словъ *libera captura*, такъ какъ во время междоусобицы приостановлялось дѣйствіе закона ограждавшаго неприкосновенность личности (дворянской).

<sup>2)</sup> Или маршальскіе во время королевскаго избранія.

его кандидата Іодко. Но гетманъ Радзивиллъ прислалъ въ Вильно 40.000 злотыхъ, чтобы повернуть дѣло въ свою сторону. Богущъ, бывшій прежде земскимъ нота-ріусомъ, но смѣщенный партією Чарторыскихъ, сманев-рировалъ такъ ловко, что когда, принеся присягу, де-путаты (члены трибунала) собрались для избранія мар-шала, большинство голосовъ оказалось за Ясинскимъ, ком-мисаромъ бѣльскихъ имѣній Радзивилловъ (II. 294). Впослѣдствіи конфедераты, опустошивъ Бялу, отдѣляли этого же Ясинскаго нагайками, припоминая ему преж-нее величіе (IV. 239). Маршалъ имѣлъ большое вліяніе на теченіе дѣлъ въ трибуналѣ. Мечника литовскаго (Карла Радзивилла), когда онъ былъ маршаломъ, депу-таты боялись, потому что онъ просто мальтретировалъ ихъ. Въ Минскѣ (1741 г.) въ дѣлѣ Сапѣговъ съ Ябло-новскими, маршалъ трибунала Массальскій, видя *plu-ralitatem adversam*<sup>1)</sup>, три дня и три ночи не приступалъ къ подачѣ голосовъ, такъ что сами депутаты бросились съ саблями на своего маршала (I. 114). Другой Мас-сальскій, будучи маршаломъ, увидѣвъ, что большинство высказалось противъ его мнѣнія, такъ озлился, что у него на лицѣ и на рукѣ выступили черныя пятна (IV. 4). Маршалъ Юдицкій, находясь подъ вліяніемъ даннаго обѣщанія, не хочетъ приступить къ разсмотрѣ-нію дѣла Сапѣги съ Новосельскимъ, не прочитываетъ его заголовка по реэстру и болѣе пяти минутъ стоитъ, мѣняясь въ лицѣ, и не зная, что дѣлать; наконецъ онъ призвалъ дѣло и тогда Сапѣги съ досадою вышли изъ трибунальской палаты (I. 111). Маршалы трибуналовъ поддавались вліяніямъ, а иногда и подаркамъ. Такъ мар-шалъ Юзефовичъ далъ Матушевичу клятвенное обѣща-ніе пустить дѣло г-жи Рушицъ, сестры автора, съ Па-цомъ (1763 г.), но получилъ отъ епископа Массаль-скаго тысячу талеровъ и отъ Паца дорогой поясъ со 100 червонцевъ—и не призвалъ дѣла (IV. 12).

---

<sup>1)</sup> Что большинство было враждебно.

Если возможно было подкупать маршала, то тѣмъ болѣе членовъ. Самъ Мнишехъ, королевскій маршалъ надворный попался однажды почти на мѣстѣ преступленія, когда онъ совершалъ подкупъ въ люблинскомъ трибуналѣ, по дѣлу Корецкаго съ Малаховскимъ (1758 г. III. 50—54). И въ трибуналѣ каждое дѣло рѣшалось за кулисами, раньше, чѣмъ наступала его очередь призыва по реэстру; иногда стороны, взвѣсивъ свои силы, сами приходили къ соглашенію, каково долженствовало быть рѣшеніе. Если результатъ дѣла былъ важенъ для партіи, то депутаты обязывались подъ страшными клятвенными формулами не измѣнять ей (II. 166). Иногда большое значеніе имѣлъ и одинъ голосъ. Повѣренному канцлера, Фронцкевичу, было крайне нужно, чтобы Зенковичъ остался предсѣдателемъ скарбоваго суда (1755 г.), для этого надо было устранить отъ разбирательства судебного дѣла депутата Іосифа Володковича. Увидѣвъ изъ дома Флеминга, что Володковичъ проѣзжаетъ верхомъ, Фронцкевичъ вышелъ и пригласилъ его зайти; но какъ только появился Володковичъ, приверженцы канцлера бросились на него и нанесли ему 26 ранъ саблями; въ числѣ рубившихъ его было трое его товарищей — депутатовъ; Фронцкевичъ былъ осужденъ на смертную казнь (II. 141). Впрочемъ, пускались въ ходъ и менѣе трагическія средства. «Дѣло длилось три недѣли—пишетъ въ одномъ мѣстѣ Матушевичъ—наконецъ, когда депутату радзивилловской партіи, Горницеому, задали слабительнаго, такъ что онъ не былъ въ состояніи явиться на засѣданіе, то однимъ голосомъ большинства о. коадьюторъ виленскій выигралъ дѣло объ опекахъ надъ имуществомъ своихъ племянниковъ и ими самими» (1742 г. I. 117). Обыкновеннымъ и почти неизбѣжнымъ при тяжбахъ пріемомъ было хожденіе къ депутатамъ, обниманіе ихъ колѣнъ, обѣщаніе и ношеніе имъ подарковъ, угощеніе. Когда въ Вильнѣ трибуналъ разсматривалъ дѣло ловчаго литовскаго Забѣллы со Страшевичами (1762), то маршаломъ былъ Массальскій.

Будучи небогаты деньгами, онъ очень часто навязывался на обѣды къ Пюро, старостѣ румшишскому, который жилъ въ Пюромонтѣ на Снипишкахъ <sup>1)</sup>, и «глодая чужіе обѣды и ужины, депутатовъ на нихъ не приглашалъ» — говоритъ авторъ, который былъ пріятелемъ ловчаго и депутатомъ, и затѣмъ прибавляетъ: «послѣ того, сталъ я самъ держать открытый столъ, порядочный и обильный; стали бывать за нимъ у меня депутаты, не только радзивилловской, но и чаторыской партій; и ловчій бывалъ съ ними въ одной компаніи; столько депутатовъ общали намъ голоса, что мы стали надѣяться» (III. 181). Онъ же говоритъ о трибуналѣ 1757 г. въ Новогрудкѣ: «по приказанію канцлера они бы отступили и отъ христіанской вѣры» (II. 281).

Когда таковы бывали судьи, то что же сказать объ адвокатахъ? Вотъ какую характеристику даетъ авторъ о консультаціи, состоявшихъ при трибуналѣ юристовъ: «Пржіялговскій — грубіанъ (кровесовѣтчикъ); Яковицкій — явный поддѣлыватель, однажды уже изгнанный судомъ изъ сословія, но потомъ вновь принятый изъ милости, мошенникъ и нахаль; Полховскій — хоть не такой мастеръ, за то бездушный и безстыдный человѣкъ; при нихъ — Пневскій, повѣренный канцлера, который полученную отъ него инструкцію считалъ закономъ. Нельзя и выразить, какъ нахально они обходились со мной» (II. 285). При такихъ условіяхъ, когда случалось, что судья проявлялъ независимость, то это получало значеніе особаго геройства. Подобный случай Матушевичъ рассказываетъ о себѣ, когда онъ былъ членомъ трибунала. «Въ Новогрудкѣ (1763 г.), прочли въ засѣданіи заголовокъ дѣла Огинскаго, вел. маршала литовскаго, противъ воеводы виленскаго, Радзивилла. Отъ лица воеводы поданъ былъ затѣмъ отводъ *ex quo senator*, по причинѣ отъѣзда его на *senatus consilium* <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Предмѣстье Вильны, гдѣ встарину были мизы.

<sup>2)</sup> По тому мотиву, «что онъ — членъ сѣната» — по отъѣзду для присутствованія въ сенатѣ.



въ Варшаву; а въ уставѣ прямо сказано, что этотъ мотивъ для отсрочки можетъ быть представленъ только въ такомъ случаѣ, если сенаторъ находится въ засѣданіи сейма. Когда на меня пришла очередь подать мнѣніе, я крѣпился съ рѣшеніемъ; съ одной стороны я опасался своего воеводы, единого моего покровителя, а съ другой—поступивъ вопреки ясному закону, боялся согрѣшить предъ Богомъ. Кто меня видѣлъ въ эту минуту, сказывалъ потомъ, что я даже перемѣнился въ лицѣ; наконецъ, однако, поручивъ себя защитѣ Господа Бога, я отклонилъ представленный воеводою отводъ. Когда декретъ былъ прочтенъ, я радовался, что не согрѣшилъ Богу. Вел. маршалъ литовскій пригласилъ меня послѣ того на обѣдъ, но я извинился, давъ ему понять, что ту сентенцію свою я произнесъ не ему въ угоду, но ради справедливости» (IV. 16).

Чѣмъ основательнѣе были падавшія на судей обвиненія въ продажности, тѣмъ сильнѣе оскорблялся трибуналъ каждымъ отзывомъ въ этомъ смыслѣ и тѣмъ былъ склоннѣе всякаго, кто посмѣлъ посягнуть на судебный авторитетъ—подвергнуть заключенію и присудить къ наказанію *ex termino tacto* <sup>1)</sup>). Дѣвица Борковская выразила въ частномъ письмѣ жалобу, что по дѣлу ея съ Живултами, Радзивиллы, поддерживая ея противниковъ, подкупили трибуналъ посредствомъ ужиновъ и иныхъ услугъ. Письмо это (1742 г.), такъ возбудило противъ нее членовъ новогрудскаго трибунала, что онъ постановилъ даму эту взять подъ стражу, доставить къ суду и судить какъ клеветницу. Однако, во время предостереженная, Борковская спаслась къ доминиканкамъ и просидѣла въ монастырѣ нѣсколько недѣль (I. 112). Такъ какъ партія, которая имѣла большинство въ трибуналѣ, могла притѣснять своихъ противниковъ путемъ суда, то иногда нарочно устраивались западни, въ такомъ родѣ, чтобы вызвать какое нибудь насиліе, а потомъ привлекать кого-

---

<sup>1)</sup> Немедленно.

либо къ уголовному суду за мнимое оскорбленіе трибунала или его маршала. Много подобныхъ измѣнъ и убійственныхъ ловушекъ разсказано въ «Запискахъ». Приведемъ примѣры.

Іосифъ Володковичъ и Морскій проѣзжали верхомъ мимо монастыря миссіонеровъ въ Вильнѣ, а передъ нимъ стояла карета Массальскаго, маршала трибунала. Конюхи маршала, съ наглостью лакеевъ знатнаго пана, нѣсколько разъ стегнули коня, бывшаго подъ Морскимъ. Этотъ послѣдній, человѣкъ горячій, самъ однако не поднималъ на нихъ руки, но проѣхавъ мимо, велѣлъ своему конюху выстрѣлить на воздухъ изъ пистолета заряженаго только порохомъ; зарядъ былъ давнишній и пистолетъ разорвало. На другой день, Массальскій предъявилъ на Володковича и Морскаго обвиненіе, что они стрѣляли по каретѣ маршала трибунала. Володковичъ и Морскій бѣжали за границу, осужденные къ отсѣченію головъ, а конюхъ, у котораго въ другихъ пистолетахъ, дѣйствительно, оказались холостые заряды, содержался на гауптвахтѣ въ продолженіи двухъ трибунальскихъ сессій, страшемый пыткой и умеръ бы съ голода, еслибы ему милосердныя души не посылали милостыни (III. 190). Въ такой же опасности для жизни находился два раза ловкій и прозорливый Богущъ: однажды, когда онъ шелъ (1757 г.), къ маршалу трибунала, подскарбію Флемингу—какъ на вѣрную смерть, убѣжденный, что тамъ найдутъ какой-нибудь поводъ придраться къ нему, арестуютъ и отдадутъ подъ судъ; поэтому, онъ взялъ съ собой пистолетъ, чтобы убить Флеминга, если бы пришлось плохо и не погибнуть одному (II. 281). Въ другой разъ, когда маршаломъ былъ Массальскій (1762 г.), Богущъ обходилъ депутатовъ, прося ихъ о благопріятномъ рѣшеніи по дѣлу Забѣллы со Страшевичами, отъ имени мечника литовскаго. Тогда Массальскій съ бѣшенствомъ укорялъ его за веденіе интригъ, а потомъ, въ присутствіи епископа, принято было рѣшеніе, чтобы, когда Богущъ придетъ, депутатъ смоленскій Ейдзятровичъ далъ

ему «оказію», словами или толкнувъ его, къ ссорѣ, послѣ сего Богуша бы арестовали и привлекли по уголовному обвиненію. Но Богушъ, провѣдавъ о томъ, уѣхалъ въ Варшаву, гдѣ друзья трунили надъ нимъ, что шея у него толстая и крѣпкая (Ш. 184).

Въ «Запискахъ» Матушевича раскрывается съ новой, доселѣ неизвѣстной стороны, извѣстная во всей Литвѣ исторія Михаила Володковича, разстрѣляннаго въ Минскѣ въ 1760 году. Здѣсь она представляется совсѣмъ иначе, чѣмъ въ «Запискахъ Квестаря» Ходзьки <sup>1)</sup>, а именно— въ видѣ предумышленнаго судебного убійства. Предсѣдательствовалъ въ трибуналѣ вице-маршалъ Морикони. Весь составъ трибунала былъ на обѣдѣ у Володковича, который, угощая товарищей, самъ напился и пріѣхалъ позднѣе въ засѣданіе. Заставъ своихъ товарищей за совѣщаніемъ—играющими въ карты, между тѣмъ, какъ секретари составляли постановленіе, Володковичъ велѣлъ подавать вина и просилъ, чтобы въ совѣщательную комнату впустили флейтчиковъ и барабанщиковъ трибунальской стражи, съ тѣмъ, чтобы они играли «туши» къ провозглашаемымъ тостомъ. Тогда Морикони грубо возразилъ, что это «развратная манера», а Володковичъ, сбросивъ со стола карты и деньги, сказалъ: «а это—шудерское дѣло» и потомъ, выхвативъ саблю, сталъ срубать фитили на горѣвшихъ свѣчахъ, при чемъ слегка исцарапалъ руку депутату Длускому, стоявшему сзади. Затѣмъ раздался звонокъ, призывавшій въ залъ стороны, для выслушанія рѣшенія, а на слѣдующій день за обѣдомъ у Паца и по его старанію состоялось примиреніе между Володковичемъ, Морикони и Длускимъ. Но это соглашеніе таило въ себѣ измѣну; Морикони разослалъ письма къ врагамъ Володковича—Пржездѣцкому, князю канцлеру, маршалу трибунала Сапѣгѣ, въ которыхъ рассказывалъ, будто Володковичъ ударилъ его, Морикони, въ лицо, разрубилъ маршальскій жезлъ и посягалъ даже

---

<sup>1)</sup> Obrazy Litewskie.

на стоявшее на столѣ распятіе. Получивъ отвѣты и подробныя инструкціи отъ Чарторыскаго, Флеминга и даже отъ Іеронима Радзивилла, который въ ту пору дѣйствовалъ за одно съ канцлеромъ, Морикони сговорился съ депутатами, какимъ образомъ погубить Володковича. Когда этотъ послѣдній появился въ засѣданіи трибунала, Длускій предложилъ очистить залу; по удаленіи сторонъ, Длускій формально внесъ въ совѣтъ жалобу на порѣзаніе ему руки Володковичемъ. Не опредѣливъ, въ чемъ состояло оскорбленіе, нанесенное при этомъ суду и не назначивъ Володковичу защитника, Морикони пустилъ на голоса смертный приговоръ. Этотъ приговоръ былъ одобренъ и прочтенъ, послѣ чего вбѣжала, заранѣе приготовленная трибунальская стража, осужденному вложили дѣпи на руки и ноги, отвели въ тюрьму, гдѣ приковали его къ стѣнѣ, и въ ту же ночь, послѣ двухъ часовъ, Володковичъ былъ разстрѣлянъ (III. 70).

Если, такимъ образомъ, оковы и разстрѣланіе или обезглавленіе могли неожиданно пасть на родовыхъ дворянъ, дворянъ «такъ называемыхъ кармазиновъ», то чему же подвергались простолюдины? Свидѣтели изъ простолюдинъ допрашивали слѣдующимъ образомъ: «а ты, Хведоръ Ящукъ, скажи правду, а то можешь побывать въ рукахъ у палача»; если онъ не признавался, то его пытали, а если признавался, то его также пытали, дабы еще болѣе убѣдиться въ справедливости его показанія—тѣмъ, что онъ и подъ пыткой не отступился (I. 131). Надъ простыми людьми глумилась даже трибунальская стража. Въ 1762 году, въ такомъ большомъ городѣ какъ Вильно, по наущенію нѣкоего Нѣмчиновскаго, солдаты захватывали людей ни въ чемъ не виновныхъ и брали съ нихъ выкупъ за освобожденіе отъ карцера; нападали даже на домъ порядочныхъ мѣщанокъ, обвиняя ихъ въ занятіи распутствомъ, такъ что мѣщанки съ дочерьми стали спасаться на время трибунальскихъ засѣданій въ монастыри. Нѣмчиновскій же такими вымогательствами нажилъ болѣе 10 тысячъ (III. 202). Злоупотребленій въ судебномъ дѣло-

производствѣ было множество: поддѣлывались реестры (I. 7), предъявлялись ложныя завѣщанія (Забѣлло ловчій лит. III. 189), уничтожались подлинныя (Оссолинскій, сынъ хорунжаго велюнскаго II. 7); въ договорной записи существенныя слова писались самымъ тонкимъ перомъ, для удобства подчистки и замѣны ихъ иными словами (Ивановскій, староста минскій съ евреями II. 69); фокусническимъ приѣмомъ подмѣнивались однѣ бумаги другими (III. 121). Брестскій гродскій судья, сказавшись больнымъ, по дѣлу Матушевича, предпочелъ подтвердить потомъ это фальшивое показаніе присягою, такъ какъ самолюбіе не дозволило ему просить объ увольненіи отъ присяги (I. 100). Референдарій Пржездзѣцкій общалъ Гуйскому 100 червонцевъ за отказъ отъ апелляціи въ бракоразводномъ дѣлѣ, но выѣзжая отъ него, Гуйскій получилъ отъ его кассира свертокъ въ узелѣ, завязанномъ множествомъ нитей, въ которомъ потомъ оказалось только 30 червонцевъ (I. 102). Завелся уже обычай, не разъ практиковавшійся въ началѣ столѣтія магнатами, что сынъ отказывался отъ наслѣдства въ имѣніи отца, а потомъ являлся на конкурсъ въ качествѣ кредитора, съ обязательствами, выданными матери (Сапѣга, впоследствии воевода смоленскій I. 147). Духовныя суды были продажны не менѣе свѣтскихъ; часто упоминается объ обвиненіяхъ, падавшихъ на духовныя лица въ злоупотребленіяхъ и преступленіяхъ. Безпрестанно встрѣчаются черты грубыхъ и нечестныхъ нравовъ, какъ напримѣръ въ обираниі евреевъ. Деньги вообще играли въ томъ вѣкѣ гораздо большую роль, чѣмъ въ наше, столь обвиняемое за матеріализмъ время, просто потому, что гораздо болѣе было вещей, продававшихся на деньги: рѣшенія судей, голоса депутатовъ на сеймѣ, почти всѣ должности и званія, служившія постоянными предметами сдѣлокъ между продавцами и покупателями. Такъ напр. Матушевичъ, купивъ самъ для себя должность брестскаго писаря у старосты Сапѣги за 600 червонцевъ, беретъ у него же бочку вина за

то, чтобы оставить мѣсто нотаріуса (реента) за Ласковскимъ, а такъ какъ вино оказалось дурное, то получаетъ взаменъ 15 червонцевъ. Понятовскій, воевода мазовецкій, продалъ должность подскарбія литовскаго Соллогубу за 100 тысячъ злотыхъ; «фамилія» купила у Брюля за 600 червонцевъ званіе стольника литовскаго для будущаго короля (П. 119).

Сводя въ цѣлое мелкія черты, заимствуемыя изъ мемуаровъ Матушевича, мы не можемъ не прійдти къ заключенію, что не только въ смыслѣ упадка независимости и разложенія, проникшаго въ учрежденія, но и въ отношеніи нравственномъ вообще, въ половинѣ XVIII вѣка въ Польшѣ было плохо, такъ плохо, что хуже сдѣлаться уже и не могло. Конечно, оцѣнка можетъ быть только сравнительная, а сравненіе здѣсь возможно — съ нашимъ временемъ, съ иными странами и, наконецъ, съ болѣе отдаленнымъ прошлымъ въ самой Польшѣ. Нынѣ понятія столь измѣнились, въ сравненіи съ тогдашними, что многое въ томъ, не столь далеко въ прошломъ представляется намъ просто невѣроятнымъ. Правда, намъ могутъ казаться привлекательными такія условія жизни, которыхъ теперь недостаетъ: шумъ, движеніе, дѣйствіе массами, просторъ для проявленій оригинальности типовъ, какъ и для заявленія убѣжденій въ многочисленныхъ совѣщательныхъ собраніяхъ. Но мы не были бы въ состояніи ни низойдти на уровень тогдашнихъ понятій, ни войти въ тонъ чувствованій того времени. Зло было очевидно, но за исключеніемъ немногихъ, болѣе проницательныхъ людей, никто не желалъ переменъ; всѣ жили, не заботясь о завтрашнемъ днѣ, не думая о какой-либо перспективѣ въ будущности. Такъ, гетманъ Радзивиллъ (1756 г.), когда оказалось, что въ трибуналъ попали одни только сторонники Флеминга — «сдѣлался печаленъ, но произнесъ съ резигнаціей — *victor dat leges*»; то есть — въ сущности примирился съ случившимся, въ той надеждѣ, что на будущій годъ, обработавъ сеймикъ въ свою пользу, будетъ такъ же

тѣснить канцлерчиковъ, какъ составившійся въ тотъ моментъ флеминговскій трибуналъ могъ притѣснять приверженцевъ Радзивилловъ (II. 206). На коронаціонномъ сеймѣ Юндзиллъ внесъ предложеніе о преобразованіи сеймиковъ, но это былъ гласъ вопіющаго въ пустынь. Проектъ его провалился, вслѣдствіе короткаго возраженія, что пришлось бы шляхтѣ отправляться прямо съ сеймика въ тюрьму и сидѣть тамъ постоянно (IV. 312). Не одно наше нравственное, но и эстетическое чувство многимъ въ тогдашнихъ нравахъ и обычаяхъ было бы поражено неприятно. Не по вкусу пришлась бы намъ, навѣрное, и тогдашняя размашистость, фамиллярность и безцеремонность въ шуткахъ, которая такъ была близка съ грубой непристойностью. Каковы напр. этотъ гетманъ Радзивиллъ, который, принимая короля въ лагерѣ, такъ напился, что не могъ удержаться въ сѣдлѣ (I. 154), или знатныя дамы, которыя бранятся какъ рыночныя торговки, или услышавъ чрезъ окно неприличныя шутки придворныхъ конюховъ, передаютъ эти выходки одна другой, такъ что онѣ дошли какъ весьма забавныя до самого короля Августа III.

Къ менѣе рѣшительнымъ заключеніямъ и приговорамъ привело бы насъ, конечно, сравненіе — съ порядками, нравами и обычаями, существовавшими въ иныхъ странахъ, въ разныя времена. Такъ продажничество въ судахъ и вообще взятки практиковались не въ одной Польшѣ XVIII вѣка; продажа офицерскихъ мѣстъ въ Англіи держалась до нашего времени, какъ узаконившійся обычай; примѣровъ измѣнническихъ нападеній и насилій всякаго рода можно найти въ исторіи Италіи, тогдашней и позднѣйшей, гораздо болѣе; самодурство вельможъ или временщиковъ также проявлялось въ разныхъ странахъ; нравственность XVIII столѣтія, напр. при французскомъ дворѣ, конечно, не была выше, если съ *Rais* аих *cerfs* Людовика XV, куда родители-дворяне иногда просили объ опредѣленіи своихъ дочерей, у насъ приходится сопоставлять только гаремъ крайчаго Радзивилла

изъ похищенныхъ дѣвушекъ; а насчетъ грубости въ шуткахъ и вообще въ словахъ иныхъ знатныхъ дамъ, изобилуютъ примѣрами всѣ французскіе мемуары, начиная отъ Брантома и кончая временами Директоріи. Географическое сравненіе, повторяемъ, почти невозможно, какъ невозможно взвѣсить совокупности частныхъ, характерныхъ случаевъ или примѣровъ.

Но есть иное сравненіе, наиболѣе поучительное въ смыслѣ исторіософическомъ, въ примѣненіи къ объясненію хода развитія даннаго общества. Это—сравненіе его нравственнаго состоянія въ извѣстный историческій моментъ—съ тѣмъ, каково оно было прежде, анализъ сравнительныхъ свойствъ того момента, раскрытіе чтó онъ представлялъ собою: успѣхъ или упадокъ въ дѣйстви учрежденій и въ общественныхъ нравахъ? Положимъ не всегда и упадокъ нравовъ влечетъ за собой политическую смерть; онъ бываетъ явленіемъ временнымъ, исправимымъ, а объ исправимости его могутъ свидѣтельствовать дальнѣйшіе признаки, хотя бы появившіеся уже послѣ того, какъ общественное зданіе рухнуло, подмытое водой или ниспровергнутое землетрясеніемъ. Но тѣмъ не менѣе, для цѣлой и законченной характеристики опредѣленнаго историческаго періода всего важнѣе рѣшеніе вопроса, чѣмъ онъ былъ: успѣхомъ или упадкомъ? На этотъ вопросъ, по отношенію къ первой половинѣ XVIII вѣка у насъ можетъ быть данъ рѣшительный отвѣтъ — это было время упадка.

## VII.

«Записки» Матушевича представляютъ характерный pendant и вмѣстѣ поправку къ дворянскому роману Ржевускаго—«Листопадъ», къ «Литовскимъ Картинамъ» Ходзьки, къ значительной части произведеній Винцентія Поля, къ цѣлому циклу сочиненій Сигизмунда Качковскаго, сосредоточивающихся около «Мартина Нечуи».



Утрата, преданіе, и за ними—поэзія покрыли золотыми лучами множество вещей низкихъ и грубыхъ, вдохнули современныя намъ, сильныя чувства души скорбящей или восторженной въ единичные образы и цѣлыя массы изъ того прошлаго, которое ничего похожаго въ себѣ не испытывало, такъ какъ условія тогдашняго быта были совсѣмъ иныя. Много надо было страданій, горечи и разочарованій, чтобы могъ явиться тотъ поэтъ, который написалъ исполненныя скорби слова: «посѣвъ чувствъ невышенныхъ никогда не поспѣетъ» (Мальчевскій). Но возможно ли было появленіе такой скорби, хотя бы даже мерцаніе ея среди людей того времени, до такой степени занятыхъ лишь собою, такъ откормленныхъ, столь хорошо тѣшившихся среди крика и шума, въ пьянствѣ и дракахъ, такъ всецѣло преданныхъ мелкимъ своимъ честолюбіямъ и интригамъ, что всякая забота иного рода удовлетворялась бы для нихъ кое-какимъ замазываньемъ трескавшихся стѣнъ и выгнувшихся уже наружу строилъ общественнаго зданія?

Дѣлая эти замѣчанія, мы должны, однако, оговориться, что нашу характеристику примѣняемъ лишь къ XVIII вѣку, и то—только къ первой его половинѣ, до того времени, котораго послѣдними представителями являются Барскіе конфедераты и до первыхъ признаковъ нравственнаго поворота къ лучшему. Этотъ поворотъ въ мемуарахъ Матушевича еще не предчувствуется, но наблюдательный и зоркій глазъ автора примѣтилъ и засвидѣтельствовалъ такой фактъ, что его время было временемъ упадка, приниженія и разложенія нравственности, переходъ къ худшему—въ нравахъ и порядкахъ. Такихъ мѣстъ, въ которыхъ это сознаніе выражается, въ «Запискахъ» Матушевича, правда, не много, но они знаменательны. Такъ въ 1763 г. стольника ковенскаго Хелховскаго публично упрекали, что имъ внесены были въ ковенскій уѣздъ денежные подкупъ и лихоимство, которыхъ тамъ прежде не бывало никогда (IV. 2). *«Въ то время паны еще не прибирали такъ къ своимъ*

*рукамъ сеймиковъ* (I. 64)», говоритъ Матушевичъ, очерчивая лучшій, въ нравственномъ отношеніи, въ его коллекціи портретъ—Николая Забѣллы, ковенскаго маршала, *человѣка великаго, достойнаго*, къ которому пріѣзжали издалека, чтобы съ нимъ познакомиться—такъ какъ онъ вызывалъ къ себѣ уваженіе и столь рѣдкимъ уже, по времени, представлялся образцомъ гражданской добродѣтели и совѣсти. Братьевъ Забѣлло было трое, всѣ съ возвышенной душой сильные и вліятельные; жили они дружно. Изъ нихъ Николай былъ старшимъ. Онъ былъ опытный политикъ. Для того, чтобы ему не разстраивали сеймиковъ, онъ умѣлъ удовлетворять обѣ партіи, обыкновенно проводя въ депутаты на трибуналъ по одному приверженцу той и другой партіи. Избраніе же въ депутаты на сеймъ онъ старался устраивать для себя или кого-нибудь изъ своей семьи, а отъ выбора въ депутаты на трибуналъ *уклонялся*. Пользуясь большимъ вліяніемъ, онъ въ одномъ году, проводилъ въ маршалы трибунала—депутата одной партіи, а въ слѣдующемъ — другой. Щадя такимъ образомъ соперничающихъ между собой магнатовъ, онъ всѣхъ умѣрялъ, и каждая сторона была довольна тѣмъ, что въ свою очередь могла рассчитывать на ковенскій сеймикъ. Этотъ «великій» *человѣкъ* самъ ни отъ кого не зависѣлъ, о полученіи аренды изъ государственныхъ имуществъ не старался, жилъ умѣренно, собственными доходами, а на сеймики всегда являлся съ большимъ числомъ пріятелей.

Рядомъ съ этимъ внушительнымъ образомъ истиннаго «земца», образомъ, который въ то время уже поражалъ своей необычайностью и импонировалъ, «какъ рыцарскій курганъ среди убогой деревушки» (Сырокомля), можно бы поставить нѣсколько меньшихъ фигуръ, взятыхъ изъ тѣхъ-же «Записокъ». Отецъ Матушевича, религіозный, уклонявшійся отъ публичности, не алчный, часто дарилъ одеждой бѣдныхъ шляхтянокъ, такъ чтобы никто не зналъ, часто давалъ потихоньку и цѣлую пригоршню денегъ (II. 24). Воевода виленскій, вел. гетманъ литовскій

Михаилъ Вишневецкій однажды сдѣлалъ М. Матушевичу такое замѣчаніе: «ты еще молодъ, тебѣ надо стараться приобрести сочувствіе въ воеводствѣ, не возбуждай же противъ себя, разстраивая сеймики (I. 114)». Янъ-Клеменсъ Браницкій, человѣкъ слабого характера, представляется однако въ «Запискахъ» съ той хорошей, по тогдашнему времени, стороны, что ни въ какомъ случаѣ не хотѣлъ и прикоснуться къ деньгамъ, притекавшимъ изъ за границы (III. 14). Вотъ нѣсколько образцовъ изъ сферы дѣятельности общественной, къ которымъ мы можемъ присоединить два-три примѣра окруженныхъ общимъ уваженіемъ матронъ, передъ которыми долженъ преклониться читатель «Записокъ». Г-жа Плятеръ, рожденная Бржостовская, жена воеводы мстилавскаго, была извѣстна святостью своей и милосердіемъ, держала домашнюю аптеку и узнавъ о какомъ-либо проѣзжемъ больномъ, брала его къ себѣ, врачевала его молитвами, лекарствами и доставленіемъ ему удобствъ, а потомъ давала ему на дорогу денегъ (I. 118). Госпожа Радзивиллъ, жена гетмана, была готова пособить каждому гостю и держала при себѣ около двадцати воспитанницъ, съ которыми проводила время въ скромныхъ развлеченіяхъ, сама сочиняя разныя пѣсни и музыку, и выбравъ подходящіе голоса, устраивала благозвучное пѣніе (IV. 4). Госпожа Морштынъ, урожденная Потоцкая, жена воеводы инфлянтскаго и дочь славнаго Вацлава, автора «Argenidy» и «Wojny Chocimskiej», сама постоянно управляла хозяйствомъ, была весьма бережлива, но гдѣ было нужно, не жадѣла расходовъ, оказывала много благотвореній бѣднѣйшимъ монастырямъ (III. 22). Вотъ и весь тотъ пучекъ образцовъ утѣшительныхъ, какой мы можемъ связать изъ фактовъ, которые приводятся въ «Запискахъ» и тонуть въ нихъ среди цѣлой массы явленій противоположнаго свойства.

Въ заключеніе, представляется еще, всетаки, вопросъ: имѣемъ ли право безусловно осудить цѣлый періодъ съ относящимся къ нему обществомъ на основаніи по-

казаній этого новаго свидѣтеля? Или-же мы должны усомниться въ его правдивости и заподозрить, что онъ оклеветалъ своихъ современниковъ? Ни то, ни другое. Матушевичъ наблюдалъ вѣрно и очертилъ съ точностью что видѣлъ—полное разложеніе, гниль, бывшую на поверхности. Но въ глубину взоръ его не проникалъ, о томъ, что находилось въ сердцевинѣ, подъ этою корой, онъ не догадывался, не думалъ объ этомъ, какъ обозрѣвающий страну туристъ—если онъ не геологъ—не думаетъ объ укрытыхъ подъ ея почвой ископаемыхъ богатствахъ, о слояхъ каменнаго угля, продуктѣ первобытной флоры, какіе могутъ лежать тутъ-же въ землѣ, скрытые всего на нѣсколько сажень подъ поверхностью. Въ душѣ народовъ и обществъ, какъ и въ душѣ единичнаго человѣка, покоятся необозримыя залежи понятій, чувствъ и унаслѣдованныхъ свойствъ, въ видѣ скрытномъ, какъ будто спящихъ, изъ коихъ малая лишь частица переходитъ въ силу дѣятельную, вызываемая благоприятными условіями и обстоятельствами, которыя пробуждаютъ и вызываютъ къ дѣйствию то, что было погружено въ сонъ и оставалось незримымъ.

У насъ такъ долго занимались розыскиваніемъ полнаго сходства между жизнью старо-польскою вообще и нашею собственно, что о различіяхъ не было и помина, стало быть не могло быть рѣчи и о томъ, когда именно основныя черты такого различія возникли. Дѣйствительно, есть связи сильныя и жизненныя, которыя и насъ соединяютъ со старой Польшей, и изъ ихъ числа мы можемъ указать здѣсь на святость семьи, на отношенія родственныя, на живую религіозную вѣру, изъ коей, какъ и въ старину, истекаютъ добрыя дѣла. Но если подвергнемъ точному анализу тотъ мотокъ мыслей и чувствованій, изъ котораго прядется нить душевной жизни современнаго человѣка, то окажется, что преобладающій въ нихъ матеріалъ имѣетъ происхожденіе значительно позднѣйшее, сравнительно съ временемъ мемуаровъ Матушевича. Настроеніе души измѣнилось, жизнь

облагородилась, вслѣдствіе сильныхъ нравственныхъ потрясеній, сквозь какія мы прошли въ послѣднюю четверть прошлаго столѣтія, вслѣдствіе усилій къ поднятію образованія въ эпоху Станислава-Августа, а наконецъ и въ результатъ разныхъ превратностей судьбы втеченіи настоящаго вѣка. Во многихъ отношеніяхъ мы — *liberi posthumi*, то есть дѣти родившіяся по смерти отцовъ, среди развалинъ рухнувшаго государственнаго зданія. Наилучшими изъ нашихъ желаній и стремленій мы обязаны времени гораздо болѣе къ намъ близкому, чѣмъ половина XVIII столѣтія и ничто такъ не вредитъ намъ и въ такой мѣрѣ не препятствуетъ прогрессу и нравственному совершенствованію, какъ именно давніе недостатки и дурныя привычки, отъ которыхъ намъ слѣдуетъ освободиться. Если взглянуть на «Записки» Матушевича съ этой точки зрѣнія, то надо признать, что открытіе ихъ является въ пору, обѣщаетъ пользу, такъ какъ онѣ могутъ содѣйствовать къ исправленію нашихъ взглядовъ на недавнее прошлое, научить насъ смотрѣть на него реальнѣе, а стало быть вѣрнѣе.

(Конецъ 1876 г.)

---



# Нѣсколько словъ о Кавелинѣ,

произнесенныхъ въ административномъ отдѣленіи Юридическаго Общества  
при С.-Петербургскомъ Университетѣ въ засѣданіи 11 мая 1885 г.





## Нѣсколько словъ о Кавелинѣ,

произнесенныхъ въ административномъ отдѣленіи Юридическаго Общества  
при С.-Петербургскомъ университетѣ, въ засѣданіи 11 мая 1885 года.

---

Мм. Гг. Въ послѣднемъ засѣданіи московскаго Юридическаго Общества, какъ намъ извѣстно изъ газетъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ и талантливѣйшихъ ученыхъ русскихъ юристовъ, *С. А. Муромцевъ*, а за нимъ и его товарищи, выразили горячими, сильно прочувствованными словами, скорбь объ уtratѣ, понесенной всею Россіею, скоронившею на дняхъ Константина Дмитріевича Кавелина. — Эту потерю мы чувствуемъ сугубо. Кавелинъ принадлежалъ въ гораздо большей степени Петербургу, нежели Москвѣ: въ Петербургѣ родился Кавелинъ; въ Москвѣ провелъ онъ только свою раннюю молодость; конецъ же этой молодости, начиная отъ 30 лѣтъ, весь зрѣлый и преклонный его возрастъ до дня смерти на 67 году, прошли среди насъ въ Петербургѣ. Онъ былъ однимъ изъ основателей нашего Юридическаго Общества, и всегда охотно посѣщалъ наши засѣданія. Я помню, съ какимъ удовольствіемъ онъ въ нынѣшнемъ еще году вспоминалъ о выслушанномъ имъ докладѣ Л. З. Слонимскаго о поземельной собственности, развивавшемъ

нѣкоторыя идеи, которымъ онъ всегда сочувствовалъ.— Намъ памятенъ еще и собственный докладъ К. Д. Кавелина въ гражданскомъ отдѣленіи по поводу кодификаціи нашего гражданского права, и диспутъ по этому вопросу съ другимъ изъ нашихъ ученыхъ, диспутъ — который пресѣченъ былъ, не дойдя до своего конца, потому что противникъ Константина Дмитриевича, по странному недоразумѣнію, поставилъ споръ на личную почву, объясняя критику Кавелина эгоистическими мотивами. Личное достоинство не дозволило умершему отвѣчать, онъ только улыбнулся иронически, да и въ самомъ дѣлѣ онъ былъ бы послѣднимъ изъ всѣхъ, кого можно было бы заподозрить въ какихъ-либо эгоистическихъ разчетахъ.— Всѣ въ одинъ голосъ говорятъ: это былъ человекъ *цѣльный*. Да, онъ и былъ таковъ: кого любилъ, того всѣмъ сердцемъ любилъ; кто былъ ему противенъ, того онъ сильно и страстно ненавидѣлъ, но и эта любовь, и эта ненависть, никогда не возбуждались личными соображеніями, а всегда опредѣлялись и руководимы были понятіями общественнаго, народнаго или общечеловѣческаго добра. Кавелинъ меньше привязывался по натурѣ своей къ людямъ, нежели къ идеямъ. — Я помню, какъ не разъ приходилось ему, не озираясь и повидимому не особенно печалась, разставаться съ людьми, съ которыми онъ жилъ десятки лѣтъ, когда ихъ пути расходились съ его собственнымъ подъ прямымъ угломъ на общественной аренѣ; но зато какой же онъ былъ вѣрный товарищъ и заступникъ всякаго, въ комъ онъ не извѣрился, кого считалъ принадлежащимъ къ одному лагерю, въ комъ замѣчалъ одушевленіе идеями добра.— Онъ былъ прежде всего моралистъ, строгій цѣнитель поступковъ, воплощенная, ходячая общественная совѣсть. — Онъ былъ неисчерпаемымъ источникомъ громадной, благотворной нравственной силы, которую расточалъ кругомъ себя съ необычайною щедростью.— Кто имѣлъ счастье быть съ нимъ лично знакомымъ, тотъ не могъ не знать, какъ благотворно дѣйствовало всякое общеніе

съ этимъ безпримѣрно общительнымъ и отзывчивымъ человѣкомъ; какъ благотворны были его указанія, его совѣты; какъ широкъ былъ кругъ его вліянія на современниковъ. Наибольшая часть его «я» уходила на это непосредственное вліяніе на людей, и сравнительно меньшая часть проявлялась въ трудахъ, которые, однако, настолько содержательны, что, благодаря имъ однимъ, имя покойнаго перейдетъ къ далекому потомству, за нимъ обезпечено безсмертіе.—Еслибы каждый изъ насъ—нельзя сказать, чтобы изъ насъ немногихъ (это число довольно значительно), знавшихъ лично Константина Дмитріевича, рассказали только свои съ нимъ сношенія, то я увѣренъ, что получился бы образъ умершаго болѣе живой и рельефный, чѣмъ тотъ, который могутъ дать самыя его произведенія.—Позвольте мнѣ, мм. гг., дать первый примѣръ такой личной исповѣди и передать вамъ три особенно памятные для меня моменты моихъ отношеній къ великому покойному.

Константинъ Дмитріевичъ зналъ меня по моей диссертациі «*pro venia legendi*», 1852 г.: *Объ отношеніяхъ супруговъ по имуществу, по древнему польскому праву*. Вступивъ въ с.-петербургскій университетъ въ 1857 году на кафедру, онъ вскорѣ потомъ поставилъ мою кандидатуру на кафедру уголовного права. Ему я обязанъ, что я занялъ этотъ постъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе трехъ лѣтъ, я видался съ Константиномъ Дмитріевичемъ почти ежедневно. Подъ его вліяніемъ разсѣялись въ умѣ моемъ послѣдніе остатки прежняго міросозерцанія, усвоены приемы научнаго изслѣдованія. Кавелинъ былъ рѣшительный противникъ всякаго «метафизическаго абсолюта»; въ послѣдніе годы онъ еще спорилъ противу допущенія въ область умозрѣнія Спенсера элемента «непознаваемаго». — Онъ былъ предводитель, настоящій leader и средоточіе нашего кружка въ университетѣ; съ нимъ мы отстаивали въ 1861 г., противъ предполагаемой тогда ломки, старый университетъ; съ нимъ мы подали въ отставку, съ нимъ потомъ мы работали въ комиссіи

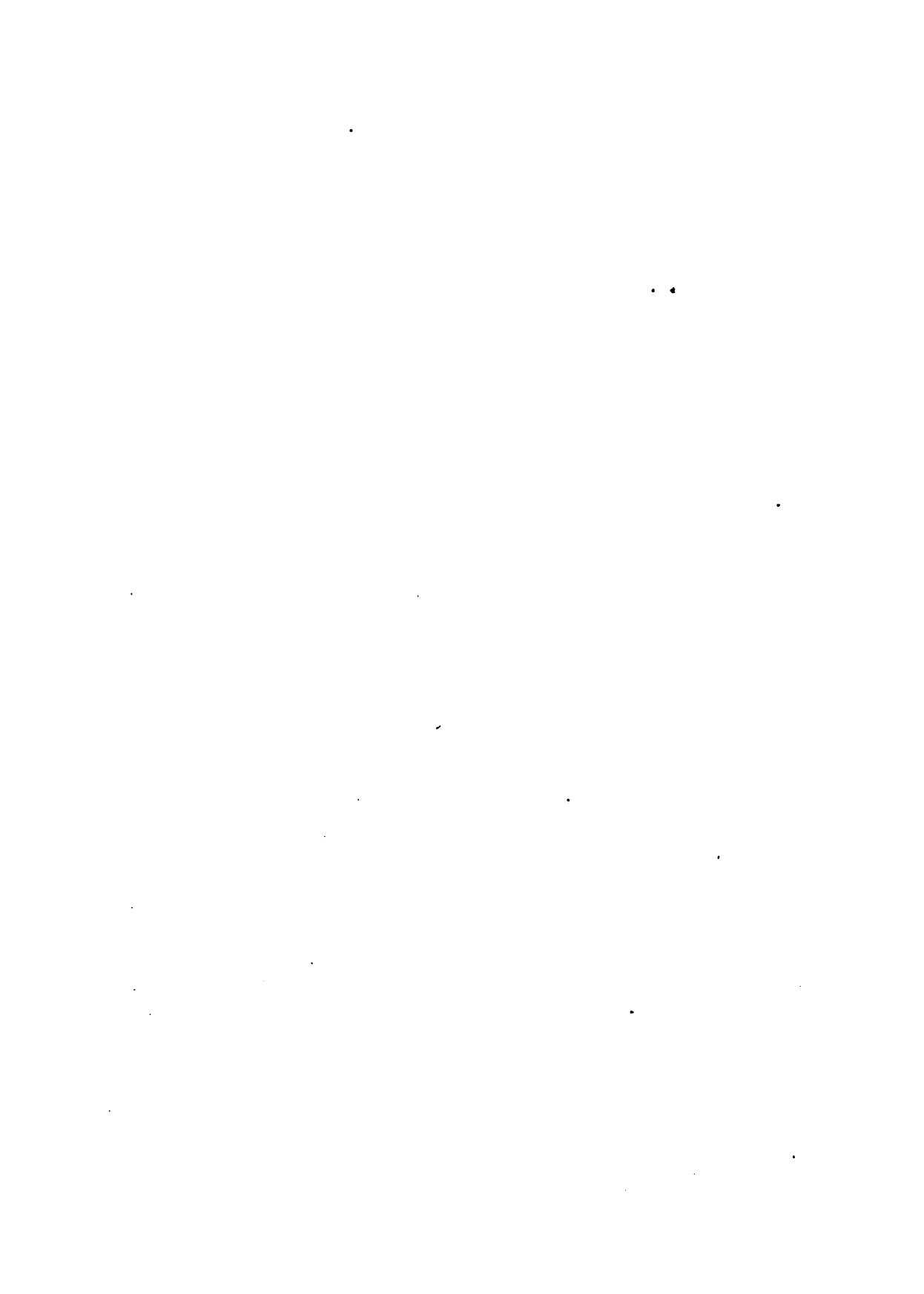
по составленію новаго университетскаго устава. Для меня лично Константинъ Дмитріевичъ былъ всегда любимый и глубоко уважаемый учитель.

Второй памятный моментъ моихъ отношеній къ покойному относится къ концу 1858 и началу 1859 г. Въ его квартирѣ, при его горячемъ и ободряющемъ содѣйствіи, возникъ планъ изданія нѣсколькими въ С.-Петербургѣ осѣдлыми поляками, съ которыми Кавелинъ былъ особенно друженъ, польской газеты «Słowo», въ духѣ такъ называемомъ теперь «примирительномъ», то-есть съ направленіемъ къ отысканію условій дружнаго и братскаго въ культурномъ отношеніи сожителства, которое бы замѣнило нетерпимость, самосѣданіе и взаимное самоистребленіе, составлявшія до тѣхъ поръ отличительную черту нѣкоторыхъ междуславянскихъ отношеній. — Когда, по послѣдовавшимъ для новаго органа невгодамъ, издатель его подвергся заключенію, Кавелинъ хлопоталъ объ освобожденіи его; въ томъ же смыслѣ дѣйствовалъ тогда и Тургеневъ, какъ видно изъ опубликованныхъ посмертныхъ о немъ воспоминаній и его переписки.

Третій моментъ въ моихъ воспоминаніяхъ касается послѣдняго литературнаго труда Константина Дмитріевича Кавелина: «Задачи этики». — Этому труду умершій придавалъ большое значеніе: онъ въ него вложилъ самыя задушевные свои мысли, и былъ сильно озабоченъ тѣмъ, чтобы сочиненіе не проскользнуло только по поверхности общества, но остановило на себѣ вниманіе и нашло оцѣнку. По содержанію труда мы спорили съ Константиномъ Дмитріевичемъ, и онъ взялъ съ меня слово, которое я считаю завѣтомъ, формулировать не устно, а письменно, мои противъ его «Задачъ этики» возраженія. — Въ книжкѣ Кавелина, когда я ее читаю, онъ воскресаетъ весь, съ его типическими чертами, съ особенностями его міросозерцанія. — Онъ несомнѣнно человѣкъ «сороковыхъ годовъ»; человѣкъ, котораго убѣжденія окончательно сложились въ тотъ періодъ развитія русской мысли, когда общій стволъ ея еще не развѣтвился

вполнѣ на западничество и на славянофильство, оттого, что въ немъ были черты и того, и другого направленія. — Согласно съ лучшими людьми своего поколѣнія обоихъ направленій, онъ вѣрилъ, что европейскій западъ быстро идетъ къ своему концу, что новое вино—выработанная имъ культура—не можетъ храниться въ вѣтхихъ мѣхахъ; онъ вѣрилъ, что есть мѣха новые для этого вина. Что эти новые мѣха—славянство, а во главѣ его доработавшееся до своеобразной государственности русское племя,—это для Кавелина было очевидно уже по одному тому, что на этой «бѣлой страницѣ» до сихъ поръ ровно ничего не написано. Весь умственный трудъ ученаго и гражданина направленъ былъ къ разгадкѣ того, что будетъ въ будущемъ на этомъ листѣ написано. Отвѣтъ подсказывала ему собственная его жизнь, которая такъ сложилась, что вся вертѣлась около одного главнаго по его времени событія: освобожденія крестьянъ,—«*мужицкое царство*», миръ селъ, въ противоположность съ отходящимъ *миромъ городовъ*.—Мы, люди позднѣйшіе, воспитанные при иныхъ условіяхъ, не могли безусловно предаваться этимъ идеаламъ. И западъ не представляется намъ столь одряхлѣвшимъ и отжившимъ,—и спорили мы о качествахъ новаго вина, и на «бѣломъ листѣ» являлись на нашихъ глазахъ слегка рисующіяся черты, иногда и неприглядныя, далеко не соответствующія искомому идеалу; и смущало насъ то, что «царство мужицкое» можетъ быть таковымъ, только пока оно некультурно, и перестанетъ быть мужицкимъ, коль скоро сдѣлается мало-мальски культурнымъ. — Мы очевидно расходились съ Константиномъ Дмитриевичемъ въ понятіяхъ о близости ожидаемаго обновленія міра, но его сильное упованіе увлекало и насъ, и приучало насъ жить мысленно въ XX и XXI столѣтіи. Будемъ уповать въ то лучшее будущее,—это самый достойный способъ почитать память великаго упователя, о неожиданной кончинѣ котораго мы нынѣ можемъ только глубоко скорбѣть.

---



# О П у ш к и н ѣ.

Рѣчь произнесенная 31 Января 1887 года въ С.-Петербургѣ на  
поминальномъ обѣдѣ по поводу исполнившагося пятидесятилѣтія  
со дня кончины Пушкина.





## О Пушкинѣ.

Рѣчь произнесенная 31-го января 1887 года на поминальномъ обѣдѣ по поводу исполнившагося пятидесятилѣтія со дня кончины Пушкина.

---

Въ 1835 году Пушкинъ былъ въ послѣдній разъ въ своемъ Михайловскомъ, гдѣ, по его словамъ, онъ «прожилъ отшельникомъ два года незамѣтно». Онъ описалъ свою деревню, и въ гору поднимающуюся дорогу, размытую дождемъ. Возлѣ нея стоятъ три сосны «одна поодаль, двѣ другія другъ къ дружѣ близко»:

Онъ все тѣ же.

Но около корней ихъ устарѣлыхъ,  
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,  
Теперь младая роща разрослась;  
Зеленою семей кусты тѣснятся  
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти.

Здравствуй племя

Младое, незнакомое! Не я  
Увижу твой могучій, поздній возрастъ,  
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ  
И старую главу ихъ заслонишь  
Отъ глазъ прохожаго.

Племя молодое, незнакомое — это мы, еще ходившіе въ рубашечкахъ или ползавшіе на четверенкахъ, когда

умеръ поэтъ. Теперь и мы сѣдые, усталые, сослужившіе службу и ждущіе, когда насъ смѣнятъ на часахъ. — Были-ли мы, въ самомъ дѣлѣ, то племя сильное, могучее, котораго ожидалъ поэтъ — это вопросъ, хотя я не думаю, чтобы намъ слѣдовало самимъ на себя клеветать: и мы кое-что сдѣлали. Какъ гусаръ у Пушкина, можемъ о себѣ сказать: «и мы видали виды». — Я не знаю, чувствовалъ-ли бы Пушкинъ, что онъ въ своей семьѣ, еслибы онъ между нами вдругъ явился. Его можетъ быть покорило бы отъ нашей приземистой положительности, отъ нашей сухой и нѣсколько черствой дѣловитости, отъ того, что на многое мы бы и не откликнулись сочувственно, напримѣръ на его слова: «ста низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ»! Наконецъ, его-бы могла оттолкнуть наша демократическая грубость, его, бѣлоручку, аристократа, по тонкому вкусу настоящаго грека. Одно лишь примирило-бы его и сплотило-бы его съ нами: уваженіе къ его памяти, страстная къ нему любовь, которая не угасаетъ, но роста будетъ съ вѣками: теперь онъ высится надъ нами какъ холмъ, а лѣтъ черезъ пятьдесятъ, я увѣренъ, что слава его будетъ, какъ пирамида Хеопса. Самое его имя производитъ магическое дѣйствіе на массы. Стоишь предъ народомъ точно въ лѣсу, гдѣ ни листокъ не шелохнется, или у моря въ тиши; произнесешь это слово и толпа заколыхается точно волны, она отвѣтитъ тѣмъ привѣтливымъ шорохомъ листьевъ или тѣмъ глухимъ протяжнымъ гуломъ валовъ, которые такъ любилъ поэтъ. — Я полагаю, что такой откликъ торжественный, неунылый, привѣтливый, приличествуетъ вполнѣ поэту, который былъ по преимуществу веселый человѣкъ, весь жизнь, весь радость, котораго остроуміе похоже было на непрерывно дѣйствующій фонтанъ.

Мы собрались съ тѣмъ, чтобы достойно чествовать великаго поэта. Но какъ его чествовать достойно? Я полагаю, что наша задача выполнима только тогда, когда мы его чествовать будемъ только правдою, только искренностью

чувства, сопоставленіемъ его произведеній, намъ извѣстныхъ, и чувствъ, нами ощущаемыхъ при чтеніи этихъ произведеній, съ личностью поэта, съ извѣстными намъ біографическими данными, раскрытіемъ стоящаго за произведеніями живаго лица, со всѣми его доблестями и слабостями, съ его темпераментомъ и характеромъ. Я иного чествованія и не понимаю. Я подымаю бокалъ за настоящаго Пушкина, такого, именно, какимъ его воспроизвела критическая исторія литературы настоящаго, какимъ его еще точнѣе воспроизведетъ она въ будущемъ;—вмѣстѣ съ тѣмъ я устраняю всѣ сказочныя представленія о Пушкинѣ, нынѣ ходячія, между столь-же любящими его, но увлекающимися людьми. Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того полумифическаго Пушкина, какимъ онъ былъ изображенъ въ одной изъ извѣстныхъ рѣчей, произнесенныхъ 8-го іюня 1880 г.; до «всечеловѣка», не то Христа, не то святого духа Параклита, обладавшаго дивною, невиданною и никогда не встрѣчавшеюся способностью воплощать свой народный духъ въ духъ другихъ народовъ и въ этомъ смыслѣ народнаго. Такая способность перевоплощенія была-бы на мой взглядъ лишь высшею степенью подражательности, а Пушкинъ былъ лучше и выше того — онъ былъ самъ собой. Я не могу поставить его между первоклассными міровыми геніями, но этихъ геніевъ не много—всего три или четыре: Гомеръ, Дантъ, Шекспиръ и, можетъ быть, Гёте. Во второмъ уже ряду стоятъ: Байронъ, Шиллеръ, Альфредъ Мюссе, Мицкевичъ, Викторъ Гюго, Гейне; въ этой, все-таки великой семьѣ помѣщается и Пушкинъ.

Я устраняю и другое невѣрное представленіе о Пушкинѣ: не могу я видѣть въ немъ образецъ великаго гражданина, образецъ героя. Для героизма необходимы два условія: устойчивость въ убѣжденіяхъ и рѣшимость отстаивать свое убѣжденіе до конца, хотя-бы пришлось очутиться въ совершенномъ одиночествѣ. Возьмемъ двухъ современниковъ, двухъ друзей: Пушкина и того, о которомъ онъ писалъ: «Онъ въ Римѣ былъ-бы Брутъ, въ Аѳинахъ

Периклесь». Оба были люди весьма умные, но по талантливости между ними нѣтъ никакого сравненія. Я не сочувствую ни уму Чаадаева, ни тому окончательному выводу, къ которому онъ, отчаявшись въ будущемъ своего народа, пришелъ въ «Философическомъ письмѣ», но я утверждаю, что его дѣйствія имѣли всѣ признаки смѣлаго героическаго протеста. Пушкинъ не былъ по натурѣ способенъ плыть противъ теченія, его несла съ собою всякая поступательная общественная волна, онъ былъ самымъ могучимъ художественнымъ выразителемъ господствующаго чувства своего времени, онъ былъ единственно и исключительно только поэтъ и не болѣе, какъ поэтъ!

Но за-то, какой дивный и геніальный поэтъ! Для Россіи онъ то-же что Дантъ для италіанцевъ, что Кохановскій для поляковъ въ XVI столѣтіи:—онъ создатель поэтическаго языка. До него существовала какая-то свирѣль или что-то похожее на деревенскую гармонію; вдругъ созданъ дивный инструментъ, неподобный по красотѣ звуковъ. Уже Брандесъ замѣтилъ, что у нѣкоторыхъ европейскихъ народовъ литературный ренесансъ запоздалъ на нѣсколько вѣковъ, что такимъ запоздалымъ ренесансомъ были Гёте и Шиллеръ у нѣмцевъ. Въ Россіи воплощеніемъ такого-же литературнаго ренесанса является Пушкинъ почти единолично, человѣкъ способный мыслить и страдать выразительно, столь выразительно, что звуки его лиры волнуютъ насъ столь-же сильно, какъ и его современниковъ, и что каждый изъ насъ чувствуетъ, что вдохновляясь имъ, онъ становится и чище и выше.—Онъ настоящій чародѣй, онъ одинаково привлекателенъ во всѣ періоды своей жизни, и въ своей бурной байроновской молодости, и въ своемъ зрѣломъ возрастѣ, когда пришибленный жизнью онъ писалъ (1835):

уже судьба  
Меня борьбой неровной истомила,  
Я былъ ожесточенъ. Въ уныніи часто  
Я помышлялъ о юности моей,

Утраченной въ безплодныхъ испытаніяхъ,  
О строгости заслуженныхъ упрековъ,  
И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства.

Хотя въ гражданскомъ смыслѣ слова онъ не всегда былъ вѣренъ тому, что онъ писалъ въ одномъ изъ своихъ первоначальныхъ набросковъ къ «Памятнику», — что «въ слѣдъ Радищеву возславилъ я свободу», — я долженъ замѣтить, что была другая свобода, которой онъ всю свою жизнь былъ вѣренъ: свобода мысли, независимости поэтического творчества, которую въ «свой жестокий вѣкъ» изображалъ собою Пушкинъ до могилы. Хотя онъ сказалъ Жуковскому: «весь былъ-бы его», но по натурѣ своей онъ никогда не могъ быть ничей, онъ былъ вольная, рѣзвая птичка, которая по натурѣ своей не могла быть никакъ приручена. Это свое качество онъ превосходно изобразилъ:

Никому

Отчета не давать; себѣ лишь самому  
Служить и угождать. Для власти, для ливрен  
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;  
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ  
Дивясь божественнымъ природы красотамъ  
И предъ созданіями искусствъ и вдохновенія  
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленія:  
Вотъ вольность! вотъ права!

Предлагая тостъ за вѣчную память Пушкину, какъ я его понимаю, я не на столько самоувѣренъ, чтобы выдавать мое представленіе о немъ за безусловно вѣрное и правильное. Пусть каждый изъ присутствующихъ меня дополнить и исправить. Я напому, что во всякомъ искреннемъ представленіи о поэтѣ есть доля истины и напому сказку Боккачіо, воспроизведенную Лессингомъ въ «Натанѣ Мудромъ» о кольцахъ, изъ которыхъ одно только было настоящее, съ драгоценнымъ камнемъ, а другія съ поддѣльными, но никто не знаетъ какое настоящее. — Я предлагаю мое, какъ настоящее, но очень можетъ быть, что меня разубѣдятъ.

---



Винцентій Поль

и его поэзія.





# Винцентій Польш

и его поэзія.

---

## I.

Въ малораспространенныхъ своихъ запискахъ о польской литературѣ XIX в., В. Польш порицаетъ ту, основанную на временныхъ теоріяхъ рутину, съ какою литература излагается въ книгахъ, и отдѣльныя ея произведенія разбираются въ газетахъ. Теоріи, говоритъ Польш, принадлежатъ времени и понятіямъ въ немъ господствующимъ, а только факты переходятъ въ исторію (Лекція I). Изгнать рутину, сплетенную изъ предубѣжденій и поверхностныхъ теорій, можетъ лишь критика. Но критика въ наши дни имѣетъ многочисленныхъ враговъ. Одинъ изъ ея обвинителей (Луневскій, «Niwa» № 34. 1876.) говоритъ слѣдующее: «критицизмъ особаго рода, возникшій въ послѣднее время, немилосердно обходится съ нашей поэзіей; перетряхнувъ архивы прошлаго, онъ призываетъ великихъ нашихъ художниковъ къ отвѣту предъ нравственнымъ и умственнымъ обличемъ настоящей минуты». И такъ, съ одной стороны, жалуются на рутину, основывающуюся на

теоріяхъ условныхъ и отцвѣтшихъ, а съ другой — на критицизмъ, за то, что онъ судить на основаніи новыхъ теорій. Главную же вину самыхъ этихъ теорій указываютъ въ томъ, что онѣ съ преступной дерзостью зовутъ умершихъ великихъ художниковъ слова къ суду предъ настоящей минутой, которая однакоже составляетъ единственное возможное судьбище, всегда открытое, не знающее пропуска сроковъ. Нѣтъ вопроса, сужденнаго хотя бы десять разъ, по которому не была бы возможна и иногда необходима аппеляція къ этому суду.

Нельзя же обходиться совсѣмъ безъ критики, а критика не можетъ не теоризировать: она должна каждое поэтическое произведеніе разлагать на составныя его элементы, объяснять обстоятельства и условія, сопровождавшія его возникновеніе и, лишивъ его тѣхъ яркихъ красокъ, какими его разцвѣчивало страстное чувство, указать въ ясномъ, прозрачномъ видѣ содержаніе его, въ ничѣмъ не окрашенномъ свѣтѣ основной его идеи. Критика систематизируетъ накопившіяся сокровища поэтическаго творчества, облегчаетъ извлеченіе изъ нихъ полезнаго, отбрасываетъ то, что выдохлось и потеряло значеніе, разгоняетъ вредную тьму слѣпыхъ подражателей. Въ критикѣ лежитъ гарантія умственной независимости и самостоятельности общества передъ великими монархами мысли, которыхъ господство бываетъ крѣпко и долговременно и продолжается иногда теченіи жизни нѣсколькихъ поколѣній, но при этомъ, приносить пользу лишь тогда, если оно основано не на рабскомъ обожаніи, но на непрерывной провѣркѣ основаній къ ихъ признанію. Критика имѣетъ право желать, чтобы ее выслушивали спокойно и безъ предубѣжденія. Ее возможно опровергнуть, но не иначе, какъ обличивъ ошибки и пробѣлы въ ея теоріяхъ, а главнымъ образомъ—въ ея методахъ и ея приѣмахъ изслѣдованія.

Во имя этихъ, несомнѣнныхъ правъ критики, авторъ настоящаго очерка проситъ выслушать спокойно

предлагаемый имъ этюдъ, посвященный одному изъ значительнѣйшихъ представителей польской поэзіи, человѣку, скончавшемуся еще недавно и безспорно принадлежащему къ немногочисленному сонму бессмертныхъ. Это была личность прекрасная, внушительная, привлекавшая всѣхъ, кто имѣлъ счастье знать ее и притомъ столь истинно польская, что никто не предположилъ бы въ ней и капли нѣмецкой крови. Неголевскій былъ правъ, когда въ рѣчи, произнесенной при погребеніи поэта сказалъ: «на Вавель—его!», ибо посреди почивающихъ тамъ давнихъ людей, которыхъ мы видимъ въ статуяхъ изъ порфира или песчаника, послѣдній этотъ пришелецъ въ соборѣ на Вавелѣ <sup>1)</sup> оказался бы между своими, не ниже ни одного изъ нихъ, высѣченный изъ одного съ ними матеріала».

Было время, когда на всемъ пространствѣ, гдѣ звучитъ польскій языкъ, Польша являлась наиболѣе читаемымъ, любимымъ и популярнымъ поэтомъ. Справедливо замѣчено, что непосредственно за смертью Адама Мицкевича, наступилъ моментъ, когда никто изъ живыхъ не цѣнился такъ высоко, какъ В. Польша. Это всеобщее признаніе отразилось въ «Окликѣ» Кондратовича (1855. VI 325), написанномъ въ тонѣ на-половину шуточномъ, на-половину серьезномъ. Игру словъ Тржицескаго въ похвалѣ Рею—«*ty rej wodzisz*» <sup>2)</sup>—Кондратовичъ передѣлалъ въ примѣненіи къ Польшу:

«Ты Польша—пѣвецъ единственный сарматскаго поля; ты просторенъ какъ поле отъ края и до края,—и пѣсню твою сарматская несетъ удалая—съ нею знакомо эхо въ далекихъ краяхъ, отъ Карпатъ и Повислія до Невы и лапландскихъ рубежей».

Въ тотъ моментъ, когда писались эти слова, солнце нашей поэзіи уже близилось къ закату, и затѣмъ скры-

---

<sup>1)</sup> Вавель—холмъ въ Краковѣ съ королевскимъ замкомъ и соборомъ, гдѣ находятся гробницы королей и многихъ знаменитыхъ людей.

<sup>2)</sup> «Ты предводительствуешь».

лось за горизонтъ; послѣ Поля не родился у насъ ни одинъ великій поэтъ. Не смотря на то, въ настоящее время почти каждый критикъ считаетъ долгомъ значительно сбавить изъ прежняго удивленія къ послѣднему трубадуру дворянскаго эпоса и понизить сравнительную оцѣнку его поэзіи. Взгляды измѣняются съ перемѣной точки зрѣнія. Путешественникъ, когда восходитъ на высокую гору, не видитъ ничего кромѣ ея вершины, которая заслоняетъ предъ нимъ линію всего хребта и острія главныхъ возвышенностей. Но когда онъ возвратится въ долину, зритель открываетъ въ дали цѣлую перспективу господствующаго горнаго края, а на его фонѣ усматриваетъ родъ возвышенностей меньшихъ и, между этими двумя планами, угадываетъ пониженіе почвы. Вотъ именно такой впадиной въ исторіи польской поэзіи XIX столѣтія представляются памятные годы 1846 — 1848, дѣлящіе какъ бы черной полосой исторію эту на два несходныхъ періода.

Такая перемѣна должна была произойти сама собой. Мицкевичъ, какъ поэтъ, замолкъ послѣ 1834 года, а наиболѣе великіе и даровитѣйшіе за нимъ пѣвцы наши — Словацкій и Красинскій — ударились въ туманную метафизику или погрузились въ мистицизмъ. Событія и умственное движеніе въ Европѣ только придали болѣе рельефности неизбѣжному, даже и безъ нихъ, различію въ нашей поэзіи между флорою перваго періода и флорою періода послѣдующаго, наступившаго, какъ бабье лѣто, послѣ раннихъ холодовъ, которые предвѣщали осень.

И это дополнительное лѣто было въ самомъ дѣлѣ похоже на осень ясную, ровную, безъ крайностей температуры, безъ далекихъ идеаловъ, безъ всякихъ поэтическихъ порывовъ въ будущее. Въ этомъ періодѣ, послѣ того, какъ уяснилась несостоятельность летанія въ воздухъ на крыльяхъ метафизической дедукціи, и практическихъ попытокъ къ перестройкѣ общества по теоріямъ демократіи и социализма, господствовали одни консервативные элементы: религіозность, всегда торжест-

вующая послѣ умственныхъ катастрофъ, упрочившееся преданіе и стародавніе обычаи. Понятно, что неопредѣленное развитіе этихъ силъ и ихъ преобладаніе надъ элементами прогрессивными вело бы общество къ окостенѣнію, значило бы то же самое, что жить насчетъ основнаго капитала и постепенно его проживать.

Среди общества прогрессирующихъ и обновляющихся, моменты возобладанія старой традиціи всегда означаютъ собой періоды переходные, втеченіи которыхъ трудно судить по тому, что видимо на поверхности—о томъ, что происходитъ въ глубинѣ, такъ какъ одновременно идетъ двойная работа, и жизнь разбрасывается въ разныхъ направленіяхъ. И у насъ — въ періодѣ, о которомъ мы ведемъ рѣчь, идеалы общества оставались, повидимому, прежніе, общество продолжало увлекаться стариной, которую ему предлагали постоянно въ новой формѣ и съ новой группировкой поэты, но впрочемъ и эти пѣвцы уже не были вдохновенными пророками, а только бардами по профессіи. А между тѣмъ, на днѣ жизни, условія сложились такимъ образомъ, что совершенно не соответствовали тѣмъ идеаламъ. Одновременно, въ умственной жизни Европы, столь тѣсно связанной съ нашей жизнью, развивалась критика и подготовлялся научный синтезъ міра душевнаго и міра внѣшняго, представляющій собой крупнѣйшее въ наши дни, хотя и не послѣднее, конечно, усиліе человѣческаго разума. Въ немъ явился опытъ новой философіи, которую слѣдуетъ отмѣтить какъ фактъ,—хотя бы и не раздѣляя всѣхъ ея принциповъ и надеждъ—опытъ удостовѣренія, что одни и тѣже законы управляютъ какъ вращеніемъ небесныхъ свѣтилъ и движеніемъ матеріи, такъ и душевными процессами, и развитіемъ обществъ.

Вслѣдствіе указанной двойственности въ нашемъ переходномъ періодѣ, всѣ лица и предметы въ немъ представляются въ обманчивомъ и невѣрномъ освѣщеніи—при двойномъ свѣтѣ вечерней зари и утренняго мерцанія. Вотъ почему всѣ тогдашнія сужденія о лицахъ и

предметахъ требуютъ сильной провѣрки, съ возвышеніемъ достоинства того, что не было достаточно понято и съ пониженіемъ оцѣнокъ преувеличенныхъ.

На тверди польской поэзіи блестятъ какъ неподвижные винты исполинской арфы, великія имена Мицкевича, Красинскаго и Словацкаго. Окончательная ихъ оцѣнка не многимъ можетъ отойти отъ установившейся. Но дѣло обстоитъ иначе съ поэтами, которые появились или приобрѣли извѣстность послѣ 1850 г., и среди которыхъ главными представлялись двое: Кондратовичъ—въ Литвѣ, и Польша — въ Галиціи. Оба они были далеки отъ новаторства, оба—лирики и рассказчики, оба — безусловные и набожные почитатели старыхъ преданій. По внѣшности они какъ будто — братья, соратники; но если ихъ поставить рядомъ, то различіе бросается въ глаза. Литовскій поэтъ это человѣкъ, который навсегда приѣмлетъ древній уставъ, обоготворяетъ старину; для него они признаки неизмѣнныхъ убѣжденій, теоретическія основы самого мышленія; въ нихъ онъ воспитался и ими проникся на всю жизнь. И однакоже, рядомъ съ этой любовью къ міру минувшаго — любовью, которой Кондратовичъ, впрочемъ, никому не навязывалъ, у него же проявляется и искренній интересъ къ міру настоящаго, вниманіе въ обстоятельства реальныя, пробуждаемое его горячимъ сочувствіемъ ко всему, что просто, принижено и слабо, простодушно и необразовано, а потому, несмотря на свою численную силу, страждетъ отъ притѣсненія и эксплуатаціи. Эта великая человѣчность, это демократическое чувство, въ силу котораго Кондратовичъ становился всегда на сторону большихъ народныхъ массъ, а не личностей, торчащихъ надъ уровнемъ, а стало быть, неотступно шелъ съ преобладающимъ теченіемъ нашего вѣка; это, повторяемъ, демократическое чувство его, въ соединеніи съ неистощимой его терпимостью къ тому, что съ его вѣрой и убѣжденіями расходилось, вели къ такому результату, что этотъ религіозный человѣкъ и приверженецъ старины никогда не проклиналъ духа

вѣка, не пытался опровергать и противиться великимъ умственнымъ успѣхамъ и богатымъ послѣдствіями уси-ліямъ. Скромнѣйшій изъ людей, Кондратовичъ — не иде-ями, но стремленіями своими значительно опережалъ своихъ современниковъ и будетъ цѣниться все болѣе, какъ предвозвѣстникъ новой эпохи.

Винцентій Поль представляется въ совершенно иномъ свѣтѣ. Онъ задавался всегда возвышеннымъ и пони-малъ только орлиные полеты. Если онъ порою возлю-бить и воспоетъ что-либо мелкое, то только въ теоре-тическомъ, отвлеченномъ смыслѣ, какъ король въ идил-ліи, который вздыхаетъ: «счастливы поселяне», но самъ короны съ себя не сниметъ и съ крестьянами жить не станетъ, хотя и понимаетъ «что то, что мало чаще бу-детъ цѣло; оно и вѣчно, и здорово, и мило, чисто, лю-безно, и живо, и Богу угодно; и себѣ радо, и ближ-нему тоже; ни себѣ не вредить, ни чужому; ибо радо тому, что досталось, а само оно—мощь, своимъ множе-ствомъ сильно». «А значить, лучше, хоть пылинкой, но въ лучѣ исчезнуть и какъ бы каплей утонуть въ пучинѣ жизни».

Совѣты въ родѣ того, что «бѣдные вы люди, что не знаете каково быть малымъ»... даются обыкновенно другимъ, а не примѣняются къ себѣ, да и другимъ пре-подаются лишь условно: «если не въ силахъ ты свер-шить великое, то искрою блесни, иль въ капельку слейся»... Самъ совѣтчикъ, однако, не слѣдуетъ своему совѣту, хотя и знаетъ, что «бѣда рыбѣ большой, что ходитъ верхами, и птицѣ съ полетомъ высокимъ, и бѣдный тотъ глазъ, что въ солнце устремленъ». Самъ авторъ не можетъ однако снизойти лично къ «малому», именно потому, что ему пришлось бы въ такомъ случаѣ усом-ниться въ себя и въ свою способность свершить ве-ликое. И такъ, онъ вѣчно несется все выше и выше, ему нравится только то, что міръ обыкновенно гонитъ, или еще, что само себя гонитъ, именно «все ясное, крайнее и летучее, все великое и одинокое—на землѣ-ли,

или въ морѣ, или въ небѣ». (Изъ путешествія VIII). Въ человѣкѣ пробуждается порою эгоистическое искушеніе отдалиться отъ тѣхъ могилъ, которыми онъ окруженъ,—«идти не по дну жизни», а съ высшимъ теченіемъ. «Весело брызнемъ какъ рыбка водой» (*тамъ же I*). Но искушеніе это у Поля непродолжительно и мысль его, какъ стосковавшійся бѣглець, возвращается снова къ «стоящимъ бапнями сторожевыми—вѣковымъ Татрамъ, съ которыми мысль никогда не освоится, какъ не освоится никогда съ вѣчностью» (IV). Казалось бы, что поэтъ дышетъ свободно лишь тамъ, гдѣ «небо устьяно мірами» — «И видны были звѣзды теченья; а надъ туманами, разорванными острыми клиньями, возставали изъ пропастей грозныя какъ духи вершины; исполины, онѣ возвышались надъ облачнымъ потокомъ; чудовищны онѣ казались, какъ призраки совѣсти, странны какъ изреченія пророковъ, величественны, какъ глаголы мірозданья» (XV).

Что же лучше—горныя выси или низменности? Выборъ зависитъ отъ вкуса, отъ раннихъ привычекъ, даже отъ темперамента. Среди каждаго общества и во всякомъ, самомъ даже простомъ состояніи, есть люди по природѣ своей болѣе склонные стать по сторонѣ каменной неизмѣняемости, крѣпкаго устава и власти, или же порываться къ разнообразію, окунаться въ подвижной волнѣ жизни и свободы. Предпочтенія перваго рода въ прошлыя времена были даже гораздо обыкновеннѣе, чѣмъ второго; гористыя мѣстности считаются и доселѣ особенно живописными, а искусство занималось главнымъ образомъ предметами историческими и религіозными, прежде чѣмъ обратилось къ жанру, къ простонародью, къ типамъ. Самая исторія гораздо охотнѣе изслѣдовала прошлое человѣчество въ явленіяхъ чрезвычайныхъ, въ полубогахъ и чудовищахъ, чѣмъ средняго человѣка, чѣмъ свойства массъ и законы развитія. При томъ же всего дороже мѣра, нѣтъ ничего хуже впаденія въ крайность. Туристы рассказываютъ, что вся красота альпійской



мѣстности пропадаетъ съ того момента, какъ путникъ поднялся слишкомъ высоко, выше черты жизни органической, когда онъ вступилъ въ ужасающую область мертвыхъ стихій. Надъ головою у него темное небо, а подъ ногами—безформенныя, недвижныя груды; нѣчто въ родѣ предшествовавшаго созданію міра хаоса; онъ не видитъ городовъ и жилищъ человѣка, почти не можетъ различить лѣсовъ и полей. Когда мы восходимъ на эти гранитныя вершины, или когда спустимся мысленно на дно океана, слѣдуя девизу поэта: «на самое дно жизни! лишь на днѣ голая правда, само вдохновеніе бьетъ ключемъ изъ глубины, когда въ сердцѣ вскипитъ кровь» (Переболѣло IV),—то легко можемъ ошибиться и принять тотъ гранитъ, лёдъ и песокъ за почву возможную для жизни, уединиться отъ людей и пропасть, попавъ на какой-нибудь утесъ. Вотъ въ подобномъ уединеніи очутился Польша послѣ 1850 г., въ тотъ самый моментъ, когда слава его наиболѣе гремѣла и когда признавалось, что онъ между пѣвцами первый. Это одиночество выказалось двояко и въ жизни его и въ его поэзіи, во-первыхъ, въ томъ, что самое господство его было постоянно оспариваемо: въ 1848 г. онъ даже счелъ нужнымъ выступить съ публичной исповѣдью, въ которой объяснялся болѣе насчетъ своихъ литературныхъ тенденцій, чѣмъ дѣйствій; въ 1860 г. другой поэтъ—Корнель Уейскій, въ «Письмахъ изъ подѣ Львова», бросилъ въ лицо Польшу страстный и чувствительный для Поля упрекъ; въ послѣдніе же годы, въ печати повторялось все чаще, что Польша истощился, что онъ пережилъ свой талантъ. Во-вторыхъ, поэтъ превратился въ раздраженнаго и запальчиваго критика своего времени и горько брюзжалъ, порицая всѣ идеи вѣка, всѣ дѣла и изобрѣтенія.

Приводимъ нѣсколько примѣровъ. «Безконечной жемчужною нитью земля была связана съ небомъ; эту нить порвали и все испортилось, рассыпались перлы, и уже никто не свяжетъ больше нити, и искра Божія не про-

летить по ней» («Послѣ бури» V. <sup>1)</sup> 30). Чтѣ поэтъ взялъ отъ Бога, то онъ съ любовью отдалъ міру: «но чтѣ я далъ («Маковое зерно» V. 74) то непризнаннымъ осталось»... «За чтѣ онъ любитъ крикнула чернь... И вотъ грѣхи моей жизни!» Напрасно нѣкій голосъ возвѣщаетъ ему, что спасеніе—въ крестѣ простирающемъ, «точно руки терпѣнныя и прощенье»... (V. 75). Но поэтъ простить не можетъ тѣмъ змѣямъ, въ чьемъ гнѣздѣ самъ онъ находится («Послѣ бури» V), тѣмъ трутнямъ, которыхъ онъ въ своемъ отвѣтѣ Кондратовичу (V. 158) перечисляетъ цѣлыхъ семь видовъ,—трутнямъ, которые не работаютъ на свѣчи Господу Богу, но первые лѣзутъ на мѣдъ. Поэтъ однако ненавидитъ этихъ современныхъ трутней не столько за то, что они дармоѣды, сколько за то, что «приладиться имъ, только дайте, такъ они, химическимъ путемъ, и мѣдъ изготовятъ», что при помощи сала и свеклы, они приучаютъ народъ обходиться и безъ свѣчей восковыхъ, и безъ пчѣлъ, и безъ мѣда, и безъ пчеловода. Словомъ, весь міръ виноватъ. «Въ иныхъ мѣстахъ зло дѣлаютъ злодѣи, у насъ же зло творятъ и люди добрые» (V. 156)... «Міръ замкнулся въ твердую раковину, и въ этомъ панцырѣ завязъ такъ глубоко въ обманъ, что нѣтъ дороги ни оюда, ни туда. Стоитъ онъ такъ, что и помочь нельзя: похвалить невозможно, а перечить напрасно; ни съ нимъ идти, ни вести его, ни умереть съ нимъ, ни излѣчиться» («Вечеръ въ Свошовицахъ» VI. 49).

Ужъ до того худо, что хуже и быть не можетъ. Передъ нами полное ужаса и безконечнаго отчаянія видѣніе въ стилѣ Микель Анджело, припоминающее канунъ страшнаго суда; называется оно «Картина жизни», съ эпиграфомъ: «Страхъ и смерть приходятъ, міръ въ страданіяхъ рожаютъ». М. Дзѣдушицкій поставилъ это стихотвореніе подъ 1863 годъ, но оно приводилось Уейскимъ еще въ 1860 году, а ходъ мысли въ произведеніи до-

---

<sup>1)</sup> Изданіе Львовское 1876 г.

казываетъ, что оно было вызвано впечатлѣніями политическихъ смятеній въ Европѣ въ 1845—1851 годахъ и французской соціалистической демагогіи (VII. 360). На взглядъ поэта, умъ человѣческій сдѣлался бесплоднымъ безъ вѣры, а особенно безъ благодати Божіей; наступило время мерзкое, время безсильное, вѣкъ обвиненія, неспособный произвести даже смерть, вѣкъ, въ которомъ рука человѣка, будь въ ней оружіе или будь на ней оковы, не дѣйствуетъ, а все чего то ждетъ, но нѣтъ никакого дѣла. Въмѣсто дѣйствія, среди людей, превратившихся въ карликовъ, мы видимъ только интриги партій и сбродъ, раздѣленный на два лагеря, въ одномъ нѣтъ справедливости, въ другомъ—ума. По одной сторонѣ бренчитъ золото, по другой—торчатъ лохмотья; по одной власть, трезвая, но безсердечная, по другой—полусонныя мечты; посрединѣ того и другого проходитъ вереница смутныхъ представленій, которыхъ рой разбѣгается во всѣ стороны, какъ собаки безъ хозяевъ, какъ заблудшіяся дѣти, какъ духи тѣмы вокругъ побоища. Всякій человѣкъ ждетъ, но самъ холоденъ. «Только въ слабости врага онъ видитъ свою силу; онъ знаетъ, что ему должны, и что самъ онъ долженъ. Но онъ не можетъ ни долга уплатить другимъ, ни отстоять унаслѣдованное право. Онъ хуже каннибала, ибо укусить хотѣлъ бы, но не смѣетъ. Онъ знаетъ въ какое мѣсто можно бы ударить, но не дерзаетъ; и вотъ, онъ слѣдитъ за постепеннымъ паденіемъ врага, и душу свою тѣшитъ видомъ этого упадка; какъ будто ядомъ могъ бы онъ умножить силы»...

Характеристика эта въ самомъ дѣлѣ ужасна, но въ ней главная черта—именно, соединеніе одной злобы съ безсиліемъ. И вотъ она-то должна приготовить читателя къ пронзительному звуку трубъ страшнаго суда надъ распадающимся человѣческимъ обществомъ. Между тѣмъ, въ силу внезапнаго вторженія въ ходъ мысли старыхъ воспоминаній, мы узнаемъ отъ поэта, что духъ человѣчества окончательно сбиться съ пути не можетъ, что всѣ эти стра-

данія только родильныя боли, что мать жизнь свою, зараженную грѣхомъ, заключить смертью; но дитя отъ ней рожденное протянетъ руки свои ко всему міру. Это представляетъ, во всякомъ случаѣ, странный скачекъ отъ полной порчи, распадающейся въ ничтожество, не имѣющей никакихъ уже задатковъ будущности—къ зарѣ новой жизни. Переходъ этотъ у автора ровно ничѣмъ не мотивированъ, и основывается единственно на предположеніи непосредственнаго дѣйствія воли Божіей, на непонятномъ чудѣ. Поэтъ просто вѣруетъ, что «кого Богъ призоветъ къ дѣлу, тотъ будетъ въ силахъ сотворить великое!» Въ 1853 г. («Комета» VII. 236) поэтъ мечталъ объ этомъ чудѣ и такъ молился: «дай міру, Господи, великаго человѣка; если еще нуженъ бичъ для міра, то дай его хоть бы и въ боевомъ лагерѣ... Дай намъ его хотя бы изъ вражескаго дѣла»... При этомъ заклинаніи Польша, очевидно, подразумѣвала не тѣхъ, которые владѣютъ перомъ или бряцаютъ на арфѣ, но именно людей прямого дѣйствія, держащихъ въ рукѣ своей скипетры, жезлы военачальниковъ, правителей. Самое это заклинаніе обнаруживаетъ непониманіе условій и значенія дѣятельности тѣхъ людей, которые призваны къ дѣйствию. Практическій человѣкъ будь онъ великій, ничего не творитъ и ничего не вноситъ въ свѣтъ изъ самого себя. Онъ только быстрымъ своимъ взглядомъ пойметъ потребность времени, воспользуется удобною минутой и разорветъ или же выпрямитъ неудовлетворительное какое-нибудь отношеніе, о которомъ давно уже люди поговаривали, люди мыслящіе; онъ воздастъ какое-нибудь новое отношеніе, болѣе справедливое и болѣе прочное, о которомъ уже впередъ, давно говорили тѣже мыслящіе люди. Самъ Польша, допускающій даже и бичъ для человѣчества, отрицаетъ то, чѣмъ оканчивается его стихотвореніе «Послѣ бури» («Изъ путешествій»): «чѣмъ свѣтитъ прошлое и чѣмъ оваряется сей міръ — то родилось отъ любви» (V. 32). Ясно, что бываютъ великіе дѣла, зачатые не отъ любви, только не бываетъ великихъ дѣлъ, зачатыхъ безъ ума.

Съ заклинаніями и вызовами, впрочемъ, слѣдуетъ вообще обращаться осторожно, какъ съ огнемъ. Сказываютъ, что волшебникъ не одинъ разъ не зналъ, что подѣлать съ вызваннымъ имъ же духомъ. Полагаемъ, что и самому Полю, который дожилъ до временъ не одного «железнаго князя-канцлера», впослѣдствіи не приходились по сердцу горячія его мольбы о великомъ человѣкѣ, изъ какого бы то небыло даже и изъ непріятельскаго дома.

Будемъ однако снисходительны къ неудачнымъ пророчествамъ; кто же не ошибался въ своихъ предположеніяхъ о вещахъ будущихъ, загадочныхъ. Гораздо хуже ошибочность самой точки зрѣнія, и она положительно ошибочна у Поля, по нашему мнѣнію, въ его Апокалипсисѣ, въ мрачной картинѣ, начертанной въ одну изъ тѣхъ минутъ, которыя Уейскій описываетъ такимъ образомъ: «когда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я былъ въ Краковѣ, то г. Винцентій Поль говорилъ мнѣ: «пришло время антихриста» (146). Міръ, по отзыву поэта, потому сдѣлался злымъ и похожимъ на гнилое яблоко, что онъ все подвергаетъ анализу, и разсуждаетъ. «Нынѣ свѣтъ иной, ибо онъ изслѣдуетъ содержаніе жизни; какъ прежде оружіе, такъ нынѣ онъ вонзаетъ въ грудь врага свое доказательство. Насквозь все видно, только холодно при этомъ, холодно и, въ самомъ дѣлѣ, трезво», потому что всякій человѣкъ свелъ свои счеты со всѣми и съ самимъ собой. Поль не только предсказывалъ невѣрно, но и практическимъ руководителемъ и совѣтчикомъ былъ ошибочнымъ; сужденія его о нынѣшнемъ порядкѣ вещей, о томъ, что въ немъ хорошо и что дурно, противны самымъ основаніемъ нравственности, если не нынѣшней, то будущей, которую Поль, въ своемъ призваніи поэта, долженъ былъ предчувствовать и готовить для нея почву. Разматривая успѣхи и пріобрѣтенія человѣческаго духа, по отношенію къ добротѣ, нравственности, истинно-хрістіанскимъ понятіямъ, мы глубоко убѣждены, что величайшимъ изъ этихъ успѣховъ представляется борьба умовъ,

вмѣсто борьбы кулачной, а слѣдовательно: «вонзание въ грудь противника» доказательства, а не клинка сабли. Существо жизни едва ли кто нибудь въ состояніи постигнуть, но изслѣдуются явленія жизни и отношенія между предметами; изслѣдованіе это ведетъ къ уразумѣнію препятствій; отсюда должна истекать и снисходительность къ понимающимъ вещи иначе. Даже личный врагъ при этомъ долженъ разсматриваться просто какъ противникъ, котораго не слѣдуетъ ненавидѣть, а достаточно—устранить. Безчисленное множество столкновеній, даже кровавыхъ, какъ между единичными людьми, такъ и между государствами, могли бы быть разрѣшены путемъ не кровопролитнымъ, такъ, какъ и самыя ярыя изъ такихъ столкновеній истекаютъ не столько изъ страстей, сколько изъ ослѣпленія, недоразумѣнія, непониманія борящимися общаго ихъ интереса. Мы полагаемъ, что и всемірная исторія, въ силу подымавшагося уровня знанія, потечетъ далѣе иной ложбиною, не столь, быть можетъ, живописною, безъ проливанія крови въ борьбѣ международной или междоусобной, не среди гранитныхъ утесовъ, поражаемыхъ молніями и озаренныхъ огнями — какъ Синай и, наконецъ, и безъ людей, подобныхъ метеорамъ. («Великій мужъ, какъ метеоръ, блеснувъ, исчезнетъ» — «Сенаторскій уговоръ». III. 41), но потечетъ она спокойнѣе, шире, однимъ словомъ—болѣе по-человѣчески, и стало быть и болѣе по-божески. И въ будущности этой, вырабатывающейся болѣе правильнымъ образомъ, людямъ станетъ не холоднѣе, но несомнѣнно свѣтлѣе, а потому и лучше. Кто это просвѣтленіе порицаетъ, тотъ стоитъ одной ногой въ Среднихъ Вѣкахъ и не можетъ принадлежать къ числу умовъ руководящихъ человѣчество, хотя бы и былъ великимъ поэтомъ, властителемъ сердець, на которыхъ бы онъ игралъ какъ на струнахъ. Въ каждомъ человѣческомъ чувствѣ, которое выразилось въ художественномъ произведеніи и въ каждомъ идеалѣ художника заключена мысль, которую возможно извлечь, какъ

гусеницу изъ куколки, и разсмотрѣть, истинна-ли она или фальшива, ведетъ ли она впередъ или назадъ. Современники же поэта, любясь его идеаломъ, лаская свой слухъ его звуками, поглощаютъ и самую мысль, и ею, смотря по ея свойству, или питаются или отравляются.

«Апокалипсисъ» Поля, изданный въ 1863 году, и заключающій въ себѣ приведенныя выше, исполненныя страшнаго разочарованія мѣста, принадлежитъ ко второй половинѣ творчества поэта, который иначе началъ и иное сперва обѣщалъ. Нѣкоторые критики, между прочими — Уейскій, ставятъ гораздо выше прежняго Поля, того который еще не былъ такъ славенъ, того Поля, который въ 1851 году съ пренебреженіемъ и горечью писалъ въ стихотвореніи «Что я выстрадалъ» — «славу мою поправъ свѣтъ ногами, я же бросаю ему мое отверженіе» (V. 30). По мнѣнію этихъ критиковъ, Поля во второй половинѣ жизни отступилъ отъ первоначальныхъ своихъ принциповъ и сталъ отрицать то, въ чемъ видѣлъ прежде истину и благо, забывъ о томъ, что самъ онъ выразилъ въ «Путевыхъ картинахъ», «худа та вѣра, которая въ огнѣ измѣняется». Сопоставимъ первую и вторую половины жизни и дѣятельности В. Поля, дабы убѣдиться, насколько правды въ этихъ замѣчаніяхъ, послѣ чего рѣшимъ вопросъ—въ самомъ ли дѣлѣ поэтъ перемѣнился, и если это случилось, то — къ худшему ли? Для сего остановимся сперва на произведеніяхъ перваго періода: «Пѣсни Януша», «Килинскій», «Путевыя картины» и «Пѣснь о землѣ нашей». При этомъ мы должны однако поставить отдѣльно, внѣ хронологическаго порядка—«Приключенія Бенедикта Винницкаго», вещь, которая, хотя и была написана еще въ 1840 году, то есть, относится къ числу раннихъ произведеній, но по духу своему принадлежитъ къ періоду второму, наступившему послѣ того, какъ вліяніе внѣшняго міра и его событій отразилось въ душѣ поэта перемѣной всего его настроенія.

Займемся прежде всего маленькой книжкой, «Пѣсни Януша», изданной въ 1833 году, и которая по мнѣнію извѣстнаго поэта Корнеля Уейскаго (57) можетъ быть почитаема нами «выше Иліады» и «Пана Тадеуша», ибо если-бы погибли всѣ историческія источники, а уцѣлѣла лишь эта золотая книжка, то изъ нея историкъ отгадалъ бы характеръ исторіи народа». Въ подобныхъ преувеличеніяхъ бываетъ всегда та основная ошибка, что въ нихъ упускается изъ виду чрезвычайная сложность и неизчерпаемость исторіи, жизни и развитія какого-либо народа, если ихъ разсматривать, какъ матерьялъ для наблюденія. Никакой анализъ не въ состояніи его разложить сполна на составные элементы. Исторія, какъ она представляется намъ сегодня, окажется завтра недостаточной, такъ какъ завтрашній день будетъ имѣть свои особыя нужды, новыя задачи, которыя потребуютъ пересмотра всего сыраго историческаго матерьяла и извлеченія изъ него, посредствомъ новой провѣрки, указаній на такія стороны, которыя ускользнули отъ глазъ прежнихъ наблюдателей, не придававшихъ имъ достаточной цѣны, такъ какъ эти стороны были менѣе пригодны для ихъ современности. Сообразно съ такими задачами и потребностями измѣняется и самая перспектива историка; изслѣдователь направляетъ зрительный свой снарядъ по нуждамъ своего времени, то на конецъ XVIII столѣтія, то на XVI вѣкъ, озаренный свободою, то на сильную монархію XIV вѣка или, наконецъ, на до — пясковскую, загадочную всесловянскую демократію, о самомъ существованіи которой ведутся нескончаемые споры.

Во всемъ этомъ безпредѣльный выборъ и возможность безконечнаго разнообразія взглядовъ; каждый новый взглядъ выставляетъ рельефнѣе новыя группы отношеній, ряды новыхъ мыслей и чувствъ въ будущихъ поколѣніяхъ, соотвѣтствующіе тѣмъ отношеніямъ и вызванные неуклонною необходимостью. Таково положеніе исторіи, но совсѣмъ въ иномъ видѣ представ-



ляется задача поэзии. Поэтическое произведение, однажды отлившееся, тоже что остывший плакатъ, кусокъ отвердѣвшей лавы, въ лучшемъ случаѣ—кристаллъ, плотный осадокъ кипѣвшаго нѣкогда чувства. По этому кристаллу, путемъ рефлексіи, можно заключить о силѣ и свойствахъ, того чувства. Произведеніе поэта представляетъ собой никакъ не картину цѣлой жизни народа, во всѣхъ ея фазахъ, а только—извлеченное изъ состава извѣстнаго періода, опредѣленное чувство, въ томъ періодѣ дѣйствительно преобладавшее, но не господствовавшее исключительно, притомъ-же—чувство, хотя быть можетъ и значительной части общества, но не всей его совокупности. Было-бы противно логикѣ—судить на основаніи той частицы, какую представляетъ произведеніе, о характерѣ всей исторіи народа. Но зато, нѣтъ нужды быть ясновидящимъ, а вполне достаточно быть разсудительнымъ человѣкомъ, для того, чтобы разобрать, какія изъ выраженныхъ въ данномъ произведеніи чувствъ и мыслей здравы, какія, вредны, и чтобы догадаться, какіе плоды должны были произрасти изъ тѣхъ или другихъ сѣмянъ въ дѣлахъ поколѣній, которыя восторгались пѣснями поэта.

Разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія «Пѣсни Януша» представляютъ вполне опредѣленный характеръ. Винцентій Поль происходилъ изъ семейства полу-нѣмецкаго, былъ сыномъ небогатаго чиновника-судьи, возведеннаго австрійскимъ правительствомъ въ дворянство въ 1815 году. Въ этомъ семействѣ господствовали: любовь къ музыкѣ и цвѣтамъ, и основательное знакомство съ литературами нѣмецкой и польской. Къ этимъ, основнымъ даннымъ, присоединились личныя впечатлѣнія ребенка, общеніе съ народомъ и знакомство съ нѣсколькими, типичными представителями недавняго прошлаго: съ пастышникомъ—въ Мосткахъ, съ дворовымъ казакомъ изъ Злочовскаго замка Собѣскихъ, съ жившимъ при дворахъ магнатовъ Бенедиктомъ Винницкимъ—въ Тарнополѣ. Въ 1823 г. Поль, имѣя всего 16 лѣтъ, лишился отца, что сильно подѣйствовало на его нервную организацію,

онъ сталъ черствѣе и горче. «Со смертью отца—пишетъ онъ въ автобіографіи, пали на меня страданія, я возненавидѣлъ людей и жилъ одиноко въ большой нуждѣ». Въ 1826 г. семью Полей поразилъ другой ударъ: умеръ старшій братъ поэта Францискъ, о которомъ поэтъ отзывался такъ: «онъ далъ мнѣ то образованіе, какое имѣю». Послѣ 1830 г. Поль пишетъ: «я отдѣлался отъ лишней чувствительности», что произошло отъ возмужанія. Въ это время полный надеждъ, влюбленный еще съ 1827 года въ дѣвушку, на которой могъ жениться только десятью годами позднѣе, Поль, готовясь къ литературному поприщу, съ готовой въ портфель исторіей Эпопеи, отправился черезъ Подолію, Волынь и Полѣсье—въ Вильно, чтобы хлопотать о полученіи кафедры нѣмецкой литературы. Здѣсь, въ Вильнѣ, въ гнѣздѣ польскаго романтизма, еще исполненномъ воспоминаніями о Мицкевичѣ, юный поэтъ весь проникся той свѣтлою зарей возрожденія, которая, какъ и всякая заря, озолотила сперва лишь идеальныя нагорья, лишь однѣ вершины искусства. Романтизмъ, подобно другимъ формамъ художественнаго разцвѣта, (какъ въ Аѳинахъ при Периклѣ, или въ Италіи въ XVI вѣкѣ) появился вслѣдъ за новыми общественными событіями огромнаго значенія. Самый составъ европейскаго общества передъ тѣмъ совершенно преобразился, въ него вошли и заняли главныя мѣста совсѣмъ новые элементы. Сверхъ того, наполеоновскія войны расширили горизонтъ, а наше въ нихъ участіе еще сблизило насъ съ Европой и вызвало у насъ болѣе широкіе взгляды на исторію человѣчества вообще.

У духа народнаго выросли крылья, прибавились новые органы, кущее классическое платье лопалось по всѣмъ швамъ и отпадало, весело праздновались роды; никто не зналъ, а всѣ лишь инстинктивно предугадывали великое предназначеніе ребенка. Въ первыхъ произведеніяхъ Поля множество мѣстъ объясняются исключительно вліяніемъ романтизма и его вдохновеніемъ; черты ихъ—возвышенный полѣтъ мысли, сближеніе съ народомъ,

вѣтра въ народную правду, извлеченіе пѣсни изъ самыхъ простыхъ — простонародныхъ темъ: «вамъ не наскучить жалоба моя, я у народа взялъ, что вамъ пою. И грусть той пѣсни тонетъ въ груди; а что изъ сердца воспою, то слышать только мѣсяцъ ясный, да столѣтній дубъ».

Молодой доцентъ отличался умомъ болѣе солиднымъ, чѣмъ подвижнымъ, прочно державшимся того, что разъ усвоилъ, способнымъ къ усидчивому, систематическому труду по избранной спеціальности, доказательствомъ чего служатъ позднѣйшія географическія работы Поля. Внѣшнія обстоятельства заставили его сойти съ рельсовъ: предводитель студенческаго союза, затѣмъ — уланъ въ 10-мъ полку, наконецъ — изгнанникъ, Польша издала въ 1832 году небольшое сочиненіе, о которомъ и говорить: «писать пѣсни я сталъ по поводу Адама Мицкевича и вслѣдствіе внушенія Клавдіи Потоцкой».

Романтизмъ, въ моментъ своего возникновенія, не имѣлъ окраски политической, — чему доказательствомъ служатъ первые опыты Мицкевича, а также отношенія его въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Политиковать поэзія стала у большинства польскихъ романтиковъ лишь послѣ 1831 года, но нигдѣ это политическое направленіе ея не выразилось сильнѣе, чѣмъ въ первыхъ же пѣсняхъ Поля. Юноша, стоя на палубѣ корабля, который долженъ унести его въ далекій край, разсуждаетъ по-байроновски, что ему наскучили превратности случающагося на материкѣ и боль, которую причиняютъ несправедливости, что ему все равно гдѣ погибнуть — въ битвахъ, или въ водѣ, послѣ чего онъ заключаетъ: «ибо нѣтъ средствъ судьбу вернуть вспять, какъ не вернуть вѣтра, дующаго въ пространствѣ. И такъ, все далѣй-далѣе, вокругъ земнаго шара; вѣдь и отчаянье можетъ стать счастьемъ».

Но счастье въ отчаяніи, это только фраза; съ плечъ юнаго пѣвца спадаетъ заимствованный у Чайльдъ-Гарольда плащъ; передъ нами является вовсе не исполненный одного отчаянія боецъ, который во снѣ и наяву только и бредитъ о новыхъ столкновеніяхъ и бит-

вахъ и продолжаетъ прежнюю борьбу своимъ огненнымъ перомъ, чертя множество картинокъ лагерныхъ, переплетая новое со старымъ, простой народъ, враговъ, шляхту, трагическое съ забавнымъ. Эти образы видѣннаго представляли не упражненія въ эпическомъ родѣ, въ нихъ звучить боевая труба Тиртея. Не имѣя иного способа дѣйствія, поэтъ дѣйствуетъ перомъ какъ стальнымъ копьемъ: «Дамъ тебѣ перо летучее, ты ляпешокъ когда его найдешь, войдешь въ нашъ союзъ, оно пригодится тебѣ вмѣсто копья» («Пѣсня о градѣ Кракуса»).

Польскій романтизмъ можно назвать пробужденіемъ къ жизни послѣ долгой летаргіи, пробужденіемъ среди совершенно новыхъ условій жизни. У всѣхъ польскихъ романтиковъ, романтизмъ представляетъ совокупность двухъ явленій: апофеоза прошедшаго, недавно почившаго въ могилѣ, и пророчествованія о будущемъ, иными словами, въ немъ возникли почти одновременно, и взаимно себя дополняютъ—эпосъ старошляхетскій и мессіаниззмъ. Таковы были два направленія мысли. Польша явился вѣрнымъ сыномъ романтизма—въ обоихъ направленіяхъ. Скажемъ сперва о первомъ. Конечно, не заслуживаетъ уваженія тотъ народъ, который не цѣнитъ своей исторіи, но во всемъ необходима извѣстная мѣра, а въ исторіи вѣрнѣе всего—правда, стало быть, дѣломъ историка должно быть указаніе не на одну только славную сторону прошедшаго, но и на его недостатки, ошибки и пропуски. Между тѣмъ, сами даже историки польскіе часто грѣшатъ забвеніемъ этого правила, по крайней мѣрѣ, прежніе историки. Даже у Шайнохи, въ одномъ изъ его историческихъ этюдовъ, находимъ слѣдующее выраженіе, разящее некритицизмомъ, что «историческій индифферентизмъ вреденъ, такъ какъ руководимый имъ авторъ не воспламеняется любовью къ историческимъ событіямъ, не увлекается ихъ славою, не заботится о возвеличеніи высокихъ дѣлъ и стремленій, («Разборъ ист. Богдана Хмельницкаго Костомарова», V. 12). Это значитъ, въ иныхъ словахъ, что кто желаетъ быть на-

роднымъ историкомъ, тотъ обязанъ быть не научно-безпристрастнымъ, но намѣренно предрасположеннымъ къ прославленію событій писателемъ. Винцентій Поль былъ прежде всего поэтъ. Безусловное величіе народныхъ историческихъ событій—его вѣра; касаясь исторіи, онъ обязательно восторгается; но зато же, подъ этимъ шипучимъ лиризмомъ, сверкающимъ волшебными словами, пробуждающими тысячи сердечныхъ воспоминаній, нѣтъ и слѣда прагматическаго пониманія историческаго хода событій въ ихъ совокупности.

Онъ намъ вѣщаетъ, что мы приходимъ отъ великихъ могилъ и будемъ жить снова въ событіяхъ будущаго въ этой землѣ («Пѣсни Януша»). Но когда возникаетъ вопросъ относительно содержанія этого великаго наслѣдія, то авторъ его не объясняетъ, а когда требуется представить его въ чемъ-либо осязательномъ, то поэтъ лишь бросаетъ какой-либо звукъ или образъ, вмѣсто мысли, какую-либо поговорку, или прибаутку, или забавный анекдотецъ, или даже общее мѣсто сомнительнаго свойства, напримѣръ: «хорошіе были тѣ времена, когда сапожникъ, и тотъ ходилъ въ золотомъ поясѣ; кто былъ чистъ — тому вездѣ было первое мѣсто, кто работалъ, тотъ былъ сытъ, и въ должностяхъ бывали люди честные». «Тамъ и по закону и по саблѣ, говоритъ Поль о шляхтѣ, всякъ былъ другъ другу равенъ, а неравнымъ былъ только—врагъ братства». Нельзя достаточно настаивать на томъ, что это—иллюзіи, которыхъ вовсе не питали сами современники. Уже въ этихъ стихотвореніяхъ есть мѣста, въ которыхъ сквозитъ любовь къ описаніямъ, которая впоследствии до утомленія выразилась въ «Пѣсни о землѣ нашей»: «гдѣ лучше въ свѣтѣ, чѣмъ мѣдъ польскій, палашь старый, снопъ подольскій»... Есть повѣствованія, напр. «Вечеръ у камина», въ которыхъ уже заключаются, какъ въ почкѣ, всѣ будущіе рассказы или гавенды въ стилѣ приключеній Винницкаго.

Въ этихъ, чрезвычайно живыхъ картинкахъ недостаетъ однако перспективы; крупное поставлено рядомъ

съ мелкимъ, далекое съ близкимъ. За возвышеннымъ лирическимъ увлеченіемъ при видѣ града Кракова съ драконовою его ямой и бѣлыми орлами («Гордо старыя стѣны стоятъ и вѣкамъ говорятъ съ высоты—простоимъ мы!») является мелкій, нѣсколько сектантскій провинціализмъ: «Дѣти, древнѣе нашъ Случскій соборъ, чѣмъ лютеранская неправая вѣра».

Отъ прошедшаго обращаясь къ будущности, то есть, переходя къ другой чертѣ Поля—мессіанизму, мы могли бы представить достаточный примѣръ проявленія ея хотя бы въ небольшомъ стихотвореніи: «Пророчество священника». Таже черта обнаруживается и въ безусловномъ, по духовному родству, удивленіи, какое внушалъ Полю величайшій изъ польскихъ мессіанистовъ — Сигизмундъ Красинскій. Какъ бы ни были велики, прекрасны и истинно-гуманны нѣкоторыя изъ преданій прошлаго, отречение отъ которыхъ было бы отступничествомъ, но и полное почитаніе ихъ не оправдываетъ слишкомъ преувеличенныхъ и горделивыхъ предсказаній въ родѣ слѣдующихъ: «Твои законы міромъ будутъ править, Ты удивишься Самъ Твоимъ чудесамъ, пѣвцы Твои станутъ пророками, Твоя книга станетъ Евангеліемъ народовъ». Уже миновали времена вѣры въ непосредственное дѣйствіе высшей воли на пользу народовъ, безъ собственной ихъ заслуги. Есть латинская пословица: *suae quisque faber fortunae*, которой соотвѣтствуетъ итальянская: *ciascuno è orefice della sua fortuna*, то есть: «всякъ имѣетъ ту судьбу, какую самъ себѣ приготовилъ». На первый взглядъ это изреченіе кажется горькимъ и ироническимъ, но, въ сущности, оно полно утѣшенія и побуждаетъ къ мужественной выдержанности и работѣ надъ самимъ собой. Примѣнимо же оно не только къ единичнымъ людямъ, но, съ нѣкоторыми оговорками и исключеніями—и къ народамъ.

Прекрасны были историческія преданія, но это были преданія одной касты, затвердѣвшія въ аристократической формѣ. Слишкомъ поздно попытались при помощи

идей новыхъ размягчить то, что окаменѣло, распространить, развить его, сообщить гибкость и упругость тому, что окостенѣло. Старыя, износившіяся формы развалились, сквозь бреши и щели проникли элементы новые и общество оказалось, независимо отъ своей воли, стоящимъ на чуждой ему почвѣ гражданской равноправности, утонувшимъ въ растворѣ демократическихъ элементовъ и учреждений, точно кристаллы какой-либо соли въ массѣ воды. Тэнъ, посѣщая Италію въ 1864 году, («Voyage en Italie» I.89) слѣдующимъ образомъ характеризовалъ нынѣшнюю задачу итальянскаго народа: «передѣлать себя изъ народа феодальнаго въ современный спокойно, не вдругъ, и безъ взрывовъ». Тоже самое могъ сказать зоркій наблюдатель о полякахъ еще при началѣ вѣка. Слѣдовало стараться, чтобы кристаллы шляхетскихъ обычаевъ, образъ жизни и исключительности поскорѣе распустились въ общемъ растворѣ, а это задача трудная, требующая продолжительной работы. Самъ мессіанистъ Красинскій понималъ ее, именно какъ нѣчто, требующее долгаго времени, когда указывалъ намъ великую цѣль въ перспективѣ вѣковъ, чрезъ которыя слѣдуетъ пройти спокойно и терпѣливо, пока общество не облагородится чрезъ нравственный подъемъ личности. Но Польша не понимаетъ тѣхъ огромныхъ трудностей, съ какими сопряжено совершеніе великаго дѣла; онъ даже не предполагаетъ ихъ существованія.

Онъ, по образу мысленія и политическому настроенію, является сыномъ XVIII стол. и полагаетъ, что еслибы только имѣлись побольше энергіи, и вдобавокъ малая толика терроризма, то можно бы для общества и съ обществомъ сдѣлать что угодно—произойдетъ чудо, и на родинѣ будетъ все точно въ раю. Кровь его манитъ яркостью своей краски и опохмѣляетъ его точно вино. Тотъ великій человѣкъ, котораго Польша сперва искалъ кругомъ себя прежде, чѣмъ сталъ его искать среди вражескаго дома, долженъ былъ, по его словамъ: «мечомъ святаго палача пролить на землю море крови» («годов-

щина 29 ноября»). Отъ того-то у поэта такая привязанность къ Кишинскому, что дневникъ послѣдняго Поль переложилъ въ стихи, вслѣдствіе чего дневникъ, сказать мимоходомъ, нисколько не выигралъ. Та языческая и сатанинская пѣсня Мицкевичевскаго Конрада, которую его товарищи прерываютъ, не сходить съ устъ Поля. Кажется, онъ бы готовъ высасывать мозги, вѣшать измѣнниковъ, а съ богатыми барами учинилъ бы скорую расправу. Тотъ самый поэтъ, который такъ превосходно воспѣлъ, въ «градѣ съ драконовою ямой» могилу вождя мощныхъ кметей т. е. Косцюшки, который въ «Вахмистрѣ Дорошѣ» далъ прекрасную политическую современную сатиру, тотъ же Поль поэтизировалъ порою и противныя вещи, возбуждалъ недобрыя чувства, давалъ совѣты безумные. Оправдывалось, что было сказано имъ самимъ: «и въ пѣснѣ ядъ быть можетъ», но такая пѣснь была не ржавчиной, которая разъѣдаетъ оковы, а прямымъ призывомъ къ самодубіиству.

Послѣдующія произведенія Поля отдѣляются отъ пѣсенъ Януша продолжительнымъ временемъ (болѣе 7-ми лѣтъ) и многими событіями. Послѣ долгаго пребыванія за границу, Поль возвратился въ Галицію, и въ 1834 г. въ первый разъ посѣтилъ Краковъ, а въ 1836 г. объѣхалъ Татры. Невполнѣ увѣренный въ безопасности для себя, онъ поселился въ горахъ, въ уединенной деревушкѣ, Каленицѣ; въ 1837 г. онъ женился. Въ исторіи его умственной жизни, за эти годы пребыванія въ уединенномъ убѣжищѣ, слѣдуетъ отмѣтить знакомство съ Кремеромъ въ Краковѣ, въ 1834 г., а при помощи Кремера—съ нѣмецкой философіей: «въ 1835 г. училъ меня Кремеръ философіи Гегеля—въ Загуржанахъ; послѣ знакомства съ Кремеромъ установился нѣкоторый порядокъ въ моей головѣ». Къ тому же времени относится начало занятій Поля землѣдѣніемъ, или вѣрнѣе — начало склонности въ немъ къ ея изученію. Онъ работалъ медленно и писалъ мало, болѣе для самого себя, чѣмъ для другихъ. Настроеніе его было пасмурнѣе чѣмъ прежде,



но спокойнѣе, а мышленіе стало зрѣлѣе; онъ уже яснѣе сталъ видѣть разстояніе между областями искусства и жизни дѣйствительной, сталъ признавать существующее между ними равновѣсіе и равноправность ихъ въ бытіи.

Къ тому времени относится прекрасный собственный портретъ, данный намъ Полемъ въ стихотвореніи «Матросъ». Этотъ отрывокъ заслуживаетъ во всѣхъ отношеніяхъ быть поставленнымъ наряду съ сонетомъ Мицкевича «Аюдагъ». Поэтъ утромъ напутствовалъ пожеланіями отплывавшую эскадру, красовавшуюся разноцвѣтными флагами и слегка воздымавшимися парусами; солнце жгло, берегъ былъ покрытъ росой, небо сіяло чистой лазурью, и каждая волна, прикасаясь къ берегу, «какъ водолазъ достаетъ жемчугъ, мысль изъ моря приносила; отъ мыслей тѣхъ вѣяло свѣжестью морской пѣны и тайной глубины»: Но пришелъ вечеръ, померкли волны, земля усыялась слезами, на небесномъ сводѣ выступили звѣзды, засверкавшія такъ же точно какъ слезы, а земля стала похожа на пепелище или на поле сраженія, усыянное трупами. «Тогда — говоритъ поэтъ — жизнь понесла меня на дно свое, туда, гдѣ въ лонѣ земли дремлютъ сокровища, гдѣ жемчужины скрытыя мечтаютъ съ тоскою. И вынесъ я оттуда вещь дорогую, которая блеснула искрой, я вынесъ жемчужину полусонную, которая, взглянувъ на свѣтъ, заплакала... Не все-ль равно, сгорѣть-ли искрой, иль слезой скатиться.... утѣшся, въ ней ты не погибнешь: пусть будетъ лишь она чиста — слеза-ли жемчужины, или искра огня». Уединеніе и тоска въ душѣ дѣйствуетъ какъ легкій туманъ, одѣвающий пейзажъ: краски имѣютъ меньше яркости, картина выходитъ блѣдная, но зато очертанія сдѣлались нѣжнѣе.

Эти черты въ высшей степени присущи «Картинамъ изъ жизни и путешествій», которыя Поль издалъ въ 1847 году, но написалъ гораздо раньше. Оно наиболѣе совершенное, въ художественномъ смыслѣ, изъ произведеній поэта, внушенное видами Татровъ, долгимъ пре-

бываніемъ въ горской мѣстности. Въ самой природѣ Поля было нѣчто общее съ горами: таже величавость, (*grandezza*) отъ которой какъ бы вѣтъ холодомъ на тѣхъ, кто еще не позналъ этой души нѣсколько суровой, но чувствительной и простой; расположеніе къ гранитной неподвижности и къ затвердѣнію въ однажды принятыхъ формахъ; наконецъ — такой же порывъ къ небу, за предѣлы жизни органической, на собесѣдованіе съ богомъ, среди природы безлюдной или среди людей столь первобытныхъ, какъ будто они только что вышли изъ рукъ Творца. «Хочешь ли помѣряться съ громадою природы, или съ народамъ горцевъ и его величавой простотой — ни духъ твой, ни сердце къ мѣрѣ не подойдутъ» (VIII). — «Безотрадно было бы величіе тѣхъ видовъ, еслибы народъ, по этимъ пропастямъ проторившій тропинки, не заселилъ тотъ міръ своими легендами» (IV). И вотъ передъ нами проходитъ вереница этихъ легендъ, начиная отъ короля Храбраго, пробившаго эти скалы ударомъ молота, чтобы дать истокъ рѣкѣ Дунайцу (III), до рудокопа Гржели — короля на Магорѣ, который застрѣлилъ управляющаго, побилъ гайдуковъ и пошелъ въ свѣтъ къ «веселымъ», т. е. къ разбойникамъ (IX).

Жители горъ — югасы съ любопытствомъ осматривали путника, пришедшаго къ нимъ съ «ляшскихъ» долинъ. Напрасно онъ увѣряетъ ихъ, что не пришелъ искать въ скалахъ золота: «ты никакъ развѣдчикъ или нищій, коли по свѣту ходишь одинъ оденешенекъ» (II). Дѣвушки спрашиваютъ одна у другой, не поѣлъ ли этотъ чловѣкъ травы — бѣшенки, отъ которой, кто ея вкусилъ: «то такъ ужъ по свѣту чего-то ищетъ, ходитъ, ходитъ, собой тоскуетъ, отдохнуть не можетъ — хоть отопри ему ворота, и все о чемъ-то молча судить самъ съ собою» (XIX). Старикамъ — горцамъ пришлецъ пришелся по-сердцу за его полное достоинства уваженіе къ нимъ; затѣмъ, онъ влюбляется средь горцевъ въ дѣвушку, поѣщаетъ рудники, поднимается на самыя высокія вершины. «Ой вы горы, вы гали мои, гдѣ чудныхъ словъ найдти, чтобы васъ

хвалить. Видать — видать съ васъ далекó, видать на двѣ стороны, и къ Кракову, и къ Спижу» (XX). А самому ему почти жаль, что похвалилъ онъ тотъ народъ горцевъ, потому что «какъ бьютъ ястреба — вредители, такъ вы напуститесь на эту стаю голубей» (XXII). Онъ сожалѣетъ и о горцѣ, который сходитъ съ Подгалья на низменность, жалѣетъ о немъ, какъ и о рѣкѣ Дунайцѣ, который бѣжитъ внизъ, гдѣ толпятся на его берегахъ люди, живущіе въ грязи, нуждающіеся въ чистой водѣ, плескаются, мутятъ его воды и загрязняютъ Дунаецъ, послѣ чего и убѣжить онъ отъ людей далеко — въ песчаное безлюдіе. Безъ слова жалости, въ молчаньи вѣчномъ устремится рѣка, какъ безвинный преступникъ, въ широкое море» (XXI).

Но какъ ни дышется привольно на горахъ, какъ легко ни сбрасываетъ съ себя оковы мысль, пришлецъ хотя и не вкусившій «травы-бѣшенки», все-таки въ тѣхъ горахъ остаться не можетъ, развѣ бы дѣвушка нашла ему иную траву, такую, отъ которой можно-бы «забыть что было». Жилъ онъ нѣкогда среди народа, который плавалъ въ солнечныхъ лучахъ, судился самъ и самъ собою правилъ; и вотъ это воспоминаніе овладѣло всей душой путника; тотъ міръ и тѣхъ людей будетъ онъ розыскивать до самой смерти (XIX); и такъ, хотя кругомъ стоитъ туманъ, закрывшій все, кромѣ скалы плывущей въ туманѣ, подобно острову въ морѣ, умъ прохожаго стремится только къ тому — что за тѣмъ туманомъ. «А подъ тѣмъ моремъ, сколько есть народу, и земли тамъ какія распростерты» (XV)? И вотъ, ему хочется увидѣть церковь Святой Дѣвы Маріи въ Краковѣ, услышать колокольный звонъ, окинуть взоромъ, мыслью не только Краковъ, но и что за Краковомъ — все то, что высится и стелется широко, равнины, выпуклости и пространства, отдѣляющія море отъ моря.

Отъ такого мысленнаго обзора и объята, и родилось у Поля то его произведеніе, которое наиболѣе распространено и общеизвѣстно — «Пѣснь о землѣ нашей».

Это поэма описательная, риёмованная географія, какъ ее называли, состоящая изъ 1184 стиховъ, вещь выпитая по канвѣ совсѣмъ схоластической. Дабы объяснить чарующее впечатлѣніе, какое эта «Пѣснь» производила на современниковъ, необходимо разложить ее на элементы, изъ коихъ она складывается, выдѣлить ея планъ, картинность и направленіе, и затѣмъ только поставить себѣ вопросъ, почему она могла такъ повсемѣстно и столь глубоко отозваться въ сердцахъ читателей. Всякая поэма нуждается въ основной поэтической мысли, идея цѣлаго должна быть красива. Но такимъ органическимъ замесомъ художественнаго произведенія не могутъ служить ни взятый изъ катехизиса догматъ, ни статья, заимствованная изъ кодекса, ни что-либо въ родѣ логической схемы или умственного шкафчика съ полками, ни даже географическая карта съ начертанными на ней горами и рѣками, — ибо, какъ Поль самъ прекрасно сказалъ о Татрахъ, въ смыслѣ поэтического сюжета: «васъ не объять, ни духомъ освѣтить, ни воплотиться въ васъ, ни выше васъ взлетѣть». Видъ громады самъ по себѣ не утѣшителенъ, такъ какъ «понятно духу — только духа дуновенье». Наконецъ, никакой предметъ не бываетъ поэтическимъ самъ по себѣ, и становится таковымъ лишь въ силу той мысли, какую въ него вложилъ поэтъ. Возьмемъ какъ примѣры сравненіе горца съ рѣкой Дунайцемъ и мелкія стихотворенія: «Балтика», «Къ Одрѣ», «Вислѣ», «Нѣману», «Двинѣ» «Къ Бескиду и степямъ» — повсюду мы найдемъ собственные ощущенія поэта, искусно связанныя въ совокупность представленіемъ о чемъ либо, что занимаетъ большое мѣсто въ жизни людей и въ преданіяхъ.

Наименѣе искусственною, но вмѣстѣ и самую грубою формою, связующею поэтическій матерьялъ, можетъ быть поэтическое путешествіе, въ которомъ случайно укладываются послѣдовательно вещи, видѣнныя, такъ сказать, на лету и подлежавшія наблюденію при

содѣйствіи того тонкаго оптическаго инструмента, какой представляетъ глазъ поэта.

Если открываемыя вещи велики не столько матеріальными размѣрами, сколько рядами возбуждаемыхъ ими воспоминаній, если оптический инструментъ отличается совершенствомъ и полной своеобразностью, если, наконецъ, самая личность поэта интересна, геніальна, то и изъ простаго путешествія, можетъ возникнуть нѣчто достойное удивленія, какъ Чайльдъ-Гарольдъ, хотя и въ Чайльдъ-Гарольдѣ центральнымъ пунктомъ является лишь самъ Байронъ, съ его необычайностью, возвышенностью и титаничностью. Въ нашъ вѣкъ реализма опасно пускаться вслѣдъ за Байрономъ дѣлать опыты въ этомъ смѣшанномъ и неблагодарномъ родѣ. За страничку Тэна или Словацкаго — изъ писемъ его къ матери, передающихъ свѣжія путевыя впечатлѣнія — мы готовы отдать всѣ описательныя поэмы.

Какъ же справился съ своей задачей В. Поль? Прежде всего замѣтимъ, что изъ «пѣсни о землѣ» онъ сдѣлалъ нѣчто иное, а именно — «пѣснь о народахъ и племенахъ», въ которой природа физическая служитъ только фономъ картинѣ, выдается же впередъ и дѣйствуетъ болѣе намъ близкій элементъ — этнографическій: «ты знаешь ли, мой братецъ юный, тѣ роды, близкіе тебѣ по крови: карпатскихъ горцевъ тѣхъ, Литву и Жмудь святую, и русиновъ?» Поэма вставлена въ самыя простыя рамки: пѣвца окружаетъ молодѣжь и ободряетъ его пѣть пѣсни; онъ ударяетъ по струнамъ и воспѣваетъ поочередно каждое племя на основѣ той природы, среди которой оно живетъ. Видимаго центральнаго пункта вовсе нѣтъ. Но такъ какъ Поль обладалъ въ высокой степени способностью наблюдать природу, глазомъ истиннаго пейзажиста и вкусомъ этнолога, то у него картинки эти и вышли красивыми, живыми, граціозными, хотя мелкими и, пожалуй — слишкомъ прилизанными. Это — настоящія игрушки или мозаика съ перламутровыми инкрустаціями.

При величайшемъ талантѣ невозможно удовлетворительное исполненіе той батальной картины, которая помѣщалась на донышкѣ табакерки ксендза Робака въ «Панѣ Тадеушѣ», гдѣ люди какъ мухи, а императоръ Наполеонъ — величиной съ небольшого жучка. Самый великій талантъ не въ силахъ заключить въ нѣсколько стиховъ шумъ литовскихъ боровъ, мрачную тоску, вѣющую съ болотъ Полѣсья, или ширь необозримыхъ пространствъ степныхъ. Только легкость и игривость стиха спасаетъ тѣ мѣста, которыя въ сущности представляютъ одну номенклатуру, похожи на инвентарь. Эти эмалированные картинки вышли такъ хорошо спаянными, что между ними нѣтъ никакихъ скважинъ и всѣ онѣ одинаково красивы, такъ что глазу нѣ-начѣмъ особенно остановиться. Произведеніе Поля, въ совокупности его, можно еще сравнить съ выпуклымъ стекломъ, преломляющимъ солнечные лучи, оптичeskій центръ котораго находится не въ стеклѣ а гдѣ то въ пространствѣ, противъ стороны обращенной къ солнцу,—въ нѣкихъ отдаленныхъ намѣреніяхъ, въ полу-словахъ, которыми затрогивается нѣчто недосказанное—великое. Здѣсь поэтъ уже не представляется обломкомъ, уцѣлѣвшимъ отъ кораблекрушенія; настроеніе его измѣнилось, онъ сдѣлался спокойнѣе и веселѣе, находится въ такомъ же счастливомъ настроеніи, какимъ отличалась лучшая пора его жизни, когда онъ писалъ: «Хотя неровенъ жизни путь, но есть, ей богу, люди недурные». То была пора женитьбы его съ Корнеліею Ольшевской (1837), трехлѣтняго пребыванія въ Каленицѣ (1837—1840 г.), отстройки замка Кмитовъ въ Лискѣ, знакомства и пріязни съ Ксаверіемъ Красицкимъ, и, наконецъ, поселенія въ собственномъ домѣ, въ деревнѣ Маріамполѣ, въ Бѣцкомъ округѣ (1840 г.). И личныя обстоятельства приняли въ то время благополучный оборотъ и общественное настроеніе поэта стало лучше, онъ соглашался, что можно и веселиться «теперь когда опять есть кому пѣть и всѣхъ васъ вижу я въ согласи». Эта перемѣна настроенія произошла постепенно и безъ особыхъ внѣшнихъ поводовъ. Поэтъ

сохранилъ убѣжденія демократическія, но его уже удовлетворяло чувство взаимнѣ дѣйствія, а пора для дѣйствія оказалась перенесенною на неопределенное будущее.

Дѣйствительно, у Поля, въ «пѣснѣ о землѣ нашей», какъ и прежде, на первомъ планѣ поставленъ народъ; велика вѣра поэта не только въ нравственную натуру этого народа, въ его трудолюбіе и порядочность, но и въ его разумъ, въ чемъ, какъ полагали другіе, онъ отсталъ отъ болѣе образованныхъ классовъ, хранящихъ національныя преданія (напр. стихъ: «когда бы взбалмошнымъ дворянамъ далъ Богъ прямой крестьянскій умъ»). По прежнему же, Польша полагаетъ, что здравыя мысли и сердца скрываются въ тихихъ уголкахъ «и въ скромномъ званьицѣ». Когда реформа предполагается только въ усвоеніи одной идеи, безъ приступа къ ея осуществленію, безъ жертвъ и усилій надъ собою, скорѣе наоборотъ—съ нѣкоторой вѣроятностію, что изъ идеи этой, обращенной въ слезу жемчужинку, никогда не вылетитъ электрическая искра, могущая что-либо зажечь, то поэту всегда можно разсчитывать на искреннее сочувствіе, какъ прогрессистовъ, такъ и самыхъ зачерствѣлыхъ консерваторовъ; въ такомъ видѣ идея не придется по вкусу, развѣ лишь людямъ крайнимъ въ обѣихъ партіяхъ. Платонически восторгаться качествами народа и мечтать о той будущности, которую вынесетъ на своихъ могучихъ плечахъ народъ крестьянскій, могли, пожалуй, и такіе господа, которые по сильному выраженію Кондратовича, «ременнымъ скипетромъ правили надъ вассалами». Если гдѣ и указываются поэтомъ отношенія ненормальныя, то они кажутся исключеніями, мѣстными особенностями. Рѣшительно порицаются поэтомъ полу-панки, но только подольскіе, вышедшіе изъ грязной пѣны новой формаціи, или спѣсивые волынскіе магнаты, которые едва выносятъ мысль, что и тебя Богъ сотворилъ; «все дѣло тамъ—въ магнатствѣ, польскаго же нѣтъ ничего, кромѣ фамилій». Въ остальныхъ мѣстахъ, повидимому, плевець вовсе нѣтъ: «никто тебя тамъ панствомъ не опшарить»,

такъ, что, пожалуй, ничего не оставалось и желать. Всѣ безъ различія восхищались гармонической музыкой поэта, который въ этой музыкѣ плескался, какъ рыбка, плывя поверхъ жизни, почти невѣдая о томъ, что творилось въ глубинѣ.

Эту гармонию совершенно неожиданно прервалъ страшный скрежетъ галиційскихъ событій 1846 года. Голая дѣйствительность предстала мечтателямъ и сказала имъ то, что черный херувимъ, въ 27 пѣснѣ Дантова «ада» говоритъ Гиду де Монтефельтро: *tu non pensai ch'io logico fossi* (а ты не думалъ, что и я логиченъ). Разоренный, раненный, больной тѣлесно и душевно, поэтъ засажженный въ тюрьму, въ кармелитскомъ монастырѣ во Львовѣ, повторялъ съ Гёте: «кто хлѣба не вкушалъ въ слезахъ, бессонныхъ кто ночей на ложѣ не проплакалъ и въ узахъ къ помощи небесной не взывалъ, тотъ не позналъ Тебя о, Боже всемогущій!» Это потрясеніе подѣйствовало на весь умственный складъ поэта: демократизмъ, бывшій у него болѣе въ головѣ, чѣмъ въ сердцѣ, улетучился, а осталась безусловная привязанность къ традиціи, въ которой онъ съ тѣхъ поръ и сталъ видѣть единственную опору, якорь спасенія, и за которую онъ ухватился обѣими руками.

## II

Въ февралѣ 1846 г., Поль, находясь подъ Кросномъ, въ имѣніи пріятеля своего Тржицескаго, откуда собирался во Львовъ, подвергся нападенію вооруженныхъ крестьянъ. Вещи его были разграблены, часть рукописей пропала, жена его была избита до крови, когда попыталась защитить мужа. Самого поэта привязали къ дереву и уже душили, такъ, что онъ едва избѣгнулъ смерти. Послѣ того, его на телѣгѣ доставили въ Ясло, а оттуда во Львовъ, гдѣ онъ и просидѣлъ въ тюрьмѣ до Іюля. Раненый и больной, онъ постра-



далъ не только нравственно но и имущественно, и былъ на- сильно выброшенъ изъ прежней колеи.

Пришлось, для содержанія себя и семьи, давать уроки литературы, писать статьи въ журналъ, издаваемый библіотекою имени Оссолинскихъ, продавать издавна проготовлявшіяся и скупо сообщавшіяся имъ публикѣ поэтическія произведенія. Вслѣдъ за этою печальною переменною въ обстановкѣ, передъ поэтомъ мелькнуло нѣсколько обманчивыхъ проблесковъ надежды и кратковременныхъ улучшеній въ личномъ его положеніи. Происходило это въ 1848 году, среди общаго европейскаго смятенія, которое монархію Габсбурговъ потрясло въ самыхъ основаніяхъ. Въ первыхъ дняхъ мая того года, чехи устроили славянскій съѣздъ въ Прагѣ, которому Польша послала свой привѣтъ: «Слово и Слава» — «Słowo a Sława». Затѣмъ, поэтъ былъ избранъ помощникомъ начальника штаба національной гвардіи во Львовѣ. По возстановленіи спокойствія, Польша на нѣкоторое время исчезъ изъ Галиціи, былъ въ Вѣнѣ и получилъ въ ноябрѣ 1849 г. назначеніе въ должность профессора всеобщей географіи въ Ягеллоновскомъ (Краковскомъ) университетѣ. Но три года спустя, въ 1853 г., въ періодъ сильнѣйшей реакціи, по инициативѣ того же гр. Леона Туна, министра просвѣщенія, который далъ Польшу упомянутое назначеніе, изъ университета уволены были четыре профессора, и въ ихъ числѣ Польша; затѣмъ, втеченіи 1854 года, введено было въ университетѣ преподаваніе всѣхъ предметовъ на языкѣ нѣмецкомъ.

Въ моментъ своего увольненія отъ профессуры, Польша пользовался уже славою; каждое новое его произведеніе встрѣчалось какъ литературное событіе. Большое впечатлѣніе произвели «Разказы Винницкаго» (изданные въ 1853 г.), «Могортъ» и «Витъ Ствошъ» (1855 г.). Въ 1855 же году, умерла жена Поля (V. 336): «моя Корнелія, о ангелъ мой, хранитель вдохновенья, намъ тяжко безъ тебя, молись за всѣхъ насъ въ небѣ». Въ 1858 г. прославленный поэтъ пріѣхалъ въ Варшаву,

встрѣченный торжественнымъ пріемомъ въ обывательскомъ клубѣ; оваціями же онъ былъ встрѣченъ въ родномъ своемъ Люблинѣ; наконецъ состоялась публичная подписка, вслѣдствіе которой былъ за счетъ подписчиковъ купленъ и подаренъ поэту фольварекъ Фирлекова. Приведенныхъ данныхъ достаточно для разъясненія, что в теченіи 12-ти лѣтъ (1846 — 1858 г.), закончившихъ пятидесятилѣтіе въ жизни Поля, то есть, обнимавшихъ въ себѣ наиболѣе возмужалую его пору, поэтъ испыталъ свою долю горестей, но имѣлъ также участь, не совсѣмъ даже обыкновенную, и испыталъ много счастья и успѣха. Мы уже сказали, что, подъ вліяніемъ событий, онъ сильно измѣнился, и дѣйствительно, внѣшнія событія играли на немъ какъ на Эоловой арфѣ и на поэзію его ложились поочередно то свѣтовыми то тѣневыми полосами. Это положеніе слѣдуетъ объяснить нѣсколько ближе, примѣняясь къ словамъ самого поэта, что «стѣны лбомъ не прошибешь, счастья не догонишь конемъ, не человѣкъ вертитъ міровое колесо, а міровое колесо проходитъ по немъ самомъ» (V. 1207). Прежде всего скажемъ, что какъ значительны не были перемѣны въ міровоззрѣніи поэта, но совершались онѣ, нисколько не нарушая убѣжденія его, что онъ остается вѣрнымъ своимъ основнымъ убѣжденіямъ, что онъ продолжаетъ быть непоколебимымъ въ своихъ основахъ, что онъ—гранитная скала, о которую разбиваются волны. Но, въ то же время онъ, самъ того не сознавая, измѣнялся какъ воскъ, тающій постепенно. Такое видоизмѣненіе, безъ всякаго внутренняго самопротиворѣчія, произошло тѣмъ легче, что, вопервыхъ, Польша по своей природѣ и какъ романтикъ, былъ человѣкъ чувства, такъ, что всякій, болѣе сильный порывъ чувства, онъ принималъ безъ размышленія, какъ вдохновеніе самой истины; во-вторыхъ, потому, что по своему характеру, Польша былъ въ высшей степени народный человѣкъ, то есть, что тѣ же перевороты, какіе совершались въ немъ, происходили одновременно и въ обществѣ. Общество это онъ охарактеризовалъ вмѣстѣ

и съ самимъ собою—въ слѣдующихъ словахъ: «сердце чуткое, душа гордая, воля мягкая, вѣра сильная, край открытый, любовь къ нему сильная, весь умъ въ обычаяхъ, и непогрѣшимое чувство». Въ этомъ слѣдованіи за наиболѣе погрѣшающимъ изъ проводниковъ, но слѣдованіи искренномъ, заключался весь секретъ большаго вліянія Поля на его современниковъ, съ чувствами которыхъ его чувство всегда совпадало, и съ которыми онъ шелъ совершенно солидарно, хотя ему самому казалось, что онъ пролагаетъ себѣ путь независимо и даже въ одиночествѣ. Совершенно неосновательна слѣдующая жалоба поэта (въ «Маковомъ зернѣ»): «я шелъ безъ опеки и безъ товарищей, шелъ по заносамъ снѣжнымъ и по кочкамъ. Большія дороги мнѣ казались безплодными; а узкія тропы казались глупыми. И вотъ себѣ я проторялъ путь собственный, и былъ онъ и узокъ и всегда уединенъ» (V. 71). Наконецъ, третьимъ обстоятельствомъ, которое объясняетъ совершившіяся въ Польшѣ быстрыя перемѣны, мы можемъ признать то, что и переродился онъ лишь отчасти, что въ немъ замерли только нѣкоторыя представленія и желанія, вмѣсто которыхъ выдвинулись другія, но такія однако, которыя и всегда въ немъ были сильны, и лишь ожидали удобнаго случая, чтобы подчинить его себѣ нераздѣльно и исключительно.

Съ дѣтства Польша былъ религіозенъ, теперь же онъ сталъ почитателемъ даже самыхъ мелкихъ внѣшнихъ обрядностей; съ дѣтства же онъ былъ поклонникомъ старыхъ обычаевъ и шляхетскаго и простонароднаго—и теперь продолжалъ поклоняться тому и другому: «лишь тотъ обрѣлъ сокровища міра, кто и съ тѣмъ согласуется и того не упускаетъ, что унаслѣдовалъ отъ отца и дѣда; кто ведетъ коня впередъ знакомою дорогою, и сидитъ тамъ, гдѣ и они разсѣлись» (V. 35). Однако въ позднѣйшихъ его произведеніяхъ уже не являются фигуры «моцныхъ кметей», какія показывались у него прежде. Съ этими народными типами у него случилось то, что, какъ

онъ рассказываетъ, бывало при дворѣ гетмана Тарновскаго: «кто наказаніе понесъ и бить былъ, тотъ укрывался отъ глазъ человѣческихъ». Если кто либо изъ нихъ еще и является позднѣе, то лишь въ видѣ исключенія, какъ напр. челядь въ драконовой ямѣ у гетмана Тарновскаго. Показываются лишь твари покорныя, прирученныя, служебныя типы, какъ напр. Цива, у котораго было сердце и мнѣніе сельскаго старосты, то есть выдрессированное къ послушанію: «ибо, если случалось разъ, что панъ разсердился, то тотъ, кто былъ имъ покаранъ уже не переступалъ его порога (V. 51. «Гетманскій отрокъ»).

Внутренняя перемѣна въ Полѣ произошла постепенно втеченіи годовъ, исполненныхъ для него превратностей судьбы (1846 — 1851), даже не безъ самопротиворѣчій и не безъ минутныхъ поворотовъ къ прежнему. Возьмемъ его въ то время, когда онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, подъ гнетомъ остраго нравственнаго страданія. Смирясь, онъ переводитъ покаянные псалмы Давида и молится, но во всемъ этомъ покаяніи, какъ справедливо замѣтилъ Уейскій, ни разу не встрѣчается открытое прощеніе народу за буйство, совершенное чернью, и тѣмъ менѣе — примиреніе и забвеніе обидъ, которыя были, по меньшей мѣрѣ, взаимными. Вездѣ и всегда, народная толпа, вызванная къ рѣшительному дѣйствію, проявляетъ хищныя инстинкты и свирѣпствуетъ какъ звѣрь; но сердиться на нее столь же неосновательно, какъ проклинять пожаръ, наводненіе, вообще физическія катастрофы. Если кого-либо можно — бы дѣлать отвѣтственнымъ за дѣйствія разъяренныхъ массъ, то скорѣе всего — минувшія поколѣнія, которыми эти массы оставлены были въ нравственномъ заустѣннѣи, и подстрекателей, то есть тѣхъ, кто поднималъ эти толпы и подущалъ ихъ къ свирѣпствованію. Если бы Польша приняла на видъ эти соображенія, то ему пришлось бы ударить себя съ раскаяніемъ въ грудь, такъ какъ вѣдь и онъ принадлежалъ къ обществу, которымъ не было сдѣлано для нисшихъ сословій все

то, что было возможно, и самъ же онъ, нѣкогда, подстрекалъ къ немедленной расправѣ и междоусобной борьбѣ и революціи, то есть, принадлежалъ къ тѣмъ, которыхъ въ послѣдствіи уже называлъ лже-пророками («Когда по землѣ прошли лже-пророки, то проклята земля и перестала рожать»). Въмѣсто такого *теа сѣпра*, Польша постоянно тягается передъ господомъ Богомъ съ народомъ, который на первомъ же шагу, какой онъ сдѣлалъ въ жизни, «уже въ дѣянiяхъ міра Каиномъ явился». Поэтъ постоянно помнитъ о винахъ должника своего и проситъ только о смягченіи кары, которую считаетъ неизбежною. «Ты отведи ихъ въ паровое поле и потерпи, караньемъ не спиши. И сохрани насъ Боже отъ кровавой мести». Такая молитва не свободна отъ оцта и желчи, и прямо уличаетъ фальшь, впрочемъ и безъ того явную, слѣдующихъ словъ: «ужель мы столь виновны были нашею любовью, что ты въ нее насъ прямо поразилъ». Впрочемъ, этому человѣку, не примиренному съ собственнымъ народомъ, и желающему оставить его «подъ паромъ», для того, чтобы онъ избѣжалъ кары Божіей, пришлось вскорѣ потомъ мирить двѣ стороны, между которыми вражда была и гораздо давнѣе и гораздо сильнѣе.

Мы имѣемъ въ виду стихотвореніе, внушенное неожиданными внутренними смятеніями въ габсбургской монархіи въ 1848 году — «Слово и Слава». Моментъ былъ исключительный и странный. Въ смятеніи временно исчезли и какъ бы ушли изъ подъ ногъ дѣйствительныя условія быта, стѣснительныя и тяжкія: казалось всего можно было пожелать, а пожелавши, немедленно осуществить желаніе, совѣмъ какъ во снѣ. Умъ поэта, на эту краткую минуту, воспрянулъ съ прежней упругостью, изъ памяти его какъ бы исчезли личныя воспоминанія 1846 года, и пробудилось въ немъ, рѣдкое у нашихъ поэтовъ—за исключеніемъ Мицкевича и Богдана Залѣскаго, — чувство славянское, племенное. Подъ вліяніемъ его, подъ рукой пѣвца прозвучало нѣ-

сколько могущественныхъ, полныхъ и гармоническихъ аккордовъ на тему: «дай вамъ Богъ счастья», посвященныхъ представителямъ славянскаго племени надъ Велтавой. Едва эти аккорды польскаго поэта, посланные въ привѣтъ чехамъ смолкли, какъ смятеніе покрыло и самые слѣды славянскаго съѣзда въ Прагѣ, который, впрочемъ, еслибы и дошелъ до конца, то не осуществилъ бы возлагавшихся на него надеждъ. Еще и теперь это стихотвореніе, гдѣ частью политика, частью исторіософія оправлены въ чудесную лирическую форму, привлекаетъ игрою цвѣтовъ и блескомъ мыслей, настоящихъ алмазовъ, которыми оно богато изукрашено. Но, тѣмъ не менѣе, съ точки зрѣнія, какъ исторической, такъ и политической, мы не можемъ признать, чтобы то была пѣснь съ глубокимъ содержаніемъ — какъ полагаетъ Уейскій,—и нисколько не оправдываемъ сравненіе Шайнохи, этого историка-мечтателя, будто бы это поэтическое произведеніе послужить голубицей, вылетѣвшей изъ ковчега и парившей надъ потопомъ, или той первой, встрѣченной на океанѣ птицей, которой чиликанье возвѣщаетъ кораблю близость пристани. Изъ всего славянства, Польша знала только чеховъ и потому его панславизмъ является польско-чешскимъ, то есть западно-славянскимъ, католическимъ панславизмомъ. Польша оставляетъ совсѣмъ въ сторонѣ славянщину южную и восточную и проектируетъ какой-то, выдуманный мечтателями историками славянский демократически-мірской союзъ.

Самый приѣмъ при выведеніи этой Славянщины на сцену поражаетъ поверхностностью понятій: «Въ началѣ бѣ Слово» — буквально какъ начинается евангеліе отъ Іоанна. Съ этой новой, данною Откровеніемъ истиною, поселились народы, «разсѣшася на три громады, но жили бокъ о бокъ какъ злые сосѣди. Изъ нихъ одна звалась — Романе, помѣсь они отъ римлянъ и дикихъ. Другая — Германцы — пришельцы изъ странъ дальнихъ, чужихъ». Наконецъ, третью «громаду» составили братья Славяне: «на памяти вѣковъ никто не говорилъ, чтобы мы ту землю

отъ него отняли. Мы здѣсь выросли—какъ выросли лѣса, съ сосной и съ дубомъ вмѣстѣ, имъ современникъ наше племя». Надъ этими народами, которымъ слово Божіе повелѣваетъ питать взаимную къ себѣ любовь, но которые живутъ такъ какъ жили издревле язычники, высится пресловутое двоеначаліе силъ, владычествующихъ на землѣ, какъ солнце съ мѣсяцомъ на небѣ: «Главою церкви былъ отецъ святой, а императоръ былъ властелиномъ міра». Первая изъ этихъ властей, самая непоколебимая какъ символъ вѣры, строго приказывала человѣчеству чтить Бога; вторая, т. е. императоръ, съ римскимъ мечомъ и міровымъ золотымъ шаромъ въ рукахъ, посягнула на первую и стала причиной и источникомъ всякаго зла. «Слово» въ мірѣ было побѣждено мечомъ. «И кто увѣровалъ въ тотъ мечъ и шаръ златой, того уже ничто не свяжетъ съ небомъ». Тотъ мечъ былъ остръ и былъ запятнанъ кровью, а въ шарѣ томъ содержались проклятые сребренники Іуды. Подъ такой властью, одни народы сдѣлались глухими къ слову Божію и только ковали деньги, другіе же народы стали нѣмы, ковали мечи и бродили во крови. Напрасно ниспосылались имъ и великія мысли, и великіе люди; каждая изъ такихъ мыслей для нихъ обращалась въ бичъ и кару, ибо они утратили вѣру и тайну божескаго слова. «Сердце въ нихъ пусто какъ земля подъ паромъ, а голова какъ мельница работаетъ; прошедшее ихъ подло, и потому они съ ними связь порвали. И нить исторіи у нихъ бесплодно оборвалась, такъ какъ они теперь не знаютъ на чемъ имъ стоять». Изъ ненависти къ революціи, поэтъ изрекаетъ приговоръ надъ цѣлымъ западомъ и, вступая, самъ о томъ не вѣдая, въ братскій союзъ съ московскими славянофилами, восклицаетъ, что этотъ западъ, представляемый народами нѣмыми и глухими, насквозь прогнилъ и не имѣетъ будущности. «Все, что въ тебѣ дурного, то къ тебѣ привито тѣми чуждыми умами». Но, зато, на востокѣ, за предѣлами господства «золотаго шара», существовала истая Аркадія,

обитаемая великимъ народомъ, земледѣльческимъ и мирнымъ, который даже когда былъ язычникомъ не заблуждался, судилъ на вѣщахъ о благѣ земли, все дѣлалъ громадою, и жилъ согласно и ладно еще въ то время, когда съ одной стороны Кириллъ и Меѳодій, а съ другой Войцѣхъ вышли проповѣдывать Евангеліе народамъ.

Этотъ «народъ», или вѣрнѣе сонмъ этихъ народовъ и нынѣ, какъ тогда, готовъ къ воспріятію слова Божія, и вотъ этому-то безчисленному сонму, этимъ братьямъ «въ словѣ и славѣ» поэтъ шлетъ свое привѣтствіе, свою пѣснь, веселую и торжественную, какъ гимнъ «Аллилуя». «Слово то несетъ не войну, а миръ, слава та живетъ не обидой ближняго». Этимъ, земледѣльческимъ народамъ поэтъ вѣщаетъ, какъ совершившійся фактъ, единеніе славянскихъ народовъ посредствомъ общихъ съѣздовъ, и подрастающему славянскому міру преподаетъ свои совѣты на погибель мечу и золотому шару. «Велтава, ты красавица», — восклицаетъ онъ — прояви то, что скрыто въ твоёмъ ложѣ. Пусть теченіе твое выроетъ глубину до того мѣста, гдѣ лежитъ оставленное Жишкой оружіе. Оно намъ нужно не для боя; мы словомъ боремся, а не десницей, союзъ нашъ — человѣчество, а панцыремъ намъ служить слово; таково оружіе наше, въ него мы вѣруемъ; народъ можно взбѣсить, но измѣнить нельзя; кто пытается передѣлать народъ, тотъ не знаетъ цѣны ему. Горе вамъ, горе, славяне, если по примѣру западныхъ попытокъ, или слѣдуя уму-разуму юга, или уму срединныхъ (въ Европѣ) народовъ, и вы захотите господствовать надъ своею толпой. Она ничего отъ васъ не приметъ, все отброситъ. Нѣтъ, только намъ и понять — что въ ней самое лучшее, намъ слѣдуетъ лишь плыть съ потокомъ. Пусть дозрѣваетъ то, что въ немъ скрыто, пусть онъ туда идетъ, куда ему дорога. Намъ вѣрить въ то, во что онъ вѣритъ, а остальное — дѣло времени и Бога». Очарованіе этой поэзіи такъ велико, присущій ей тонъ убѣжденія такъ си-



лень, что на минуту забываешь и о томъ изъ чего она соткана и о томъ какъ она соткана. Дѣло въ томъ, что туманное пятно славянщины доселѣ еще не сосредоточилось и не образовало какой либо правильной солнечной системы, еще ожидается установленіе нравственного ея центра. То только нынѣ очевидно, что центромъ этого, вновь образующагося изъ космической матеріи міра, не можетъ сдѣлаться который либо изъ привлекавшихъ вниманіе поэта средневѣковыхъ полюсовъ. Этотъ новый міръ, если можетъ быть связанъ воедино какой либо религіозною силой, то во всякомъ случаѣ не той, какая проявляется въ мертвомъ единствѣ внѣшнемъ. Несправедливо также поэтъ отнесъ слишкомъ многое къ винѣ нѣмецко-императорской власти; во всякомъ случаѣ не ею была вызвана Реформація, а Реформаціи этой нельзя выкинуть изъ исторіи человѣчества и даже изъ нашей умственной жизни, доказательствомъ чему можетъ служить хотя бы и краснорѣчивое обращеніе самого поэта къ Жишкѣ, первому и великому знаменосцу Реформаціи.

Еще несправедливѣе сужденіе поэта о народахъ романскихъ и германскихъ, будто бы забывшихъ, что «исторія это—память народная. Кто утратилъ память, тотъ впадаетъ въ безуміе или просто глупѣетъ». Выразаясь столь рѣзко, Поля забывалъ о «чашѣ» проповѣданной Жишкою и о самомъ Жишкѣ, забывалъ также и о томъ, что самъ онъ прежде прядъ свою основу не только изъ бѣлыхъ нитокъ, но и изъ красныхъ. Впослѣдствіи, побуждаемый нерасположеніемъ своимъ ко всякому новшеству, онъ беретъ на свой станокъ нитки исключительно бѣлыя, отбрасывая всякія инныя, какъ не-историческія и человѣка хотѣлъ бы, такъ сказать, составить только изъ костей и мускуловъ, безъ крови и нервовъ. Въ самомъ сопряженіи идей, въ этомъ случаѣ, у Поля многое поражаетъ невѣрностью. Намѣреваясь соткать будущность славянства изъ историческихъ будто-бы нитей, поэтъ не нашелъ подъ рукою достаточныхъ матеріаловъ. Извѣст-

но, что при составленіи общаго понятія о славянствѣ, главную трудность представляетъ именно недостатокъ тѣхъ историческихъ нитей—отсутствіе общаго для всѣхъ племенныхъ развѣтвленій языка. При такихъ условіяхъ, поэтъ былъ принужденъ броситься въ міръ до-историческій, въ вѣкъ гадательный, бронзовый или каменный, и основывать будущность на томъ, что одно только воображеніе могло ему подсказать о томъ вѣкѣ. Однимъ словомъ, славянскую будущность онъ строить не на историческихъ фактахъ, которыхъ нѣтъ, но исключительно на идеальномъ пониманіи племенныхъ свойствъ, вопреки національной польской традиціи, ставящей культуру выше расы, за что именно поклонники племенной славянской отдѣльности (напр. Самаринъ) неразъ обзывали поляковъ измѣнниками славянству, авангардомъ запада, вбившимся, какъ клинъ, въ самую сердцевину славянщины.

Точно такъ, какъ въ «Словѣ и Славѣ» идеалистически представлено славянство, въ другомъ мѣстѣ стихотворенія изображенъ—«народъ», вовсе не похожій на тотъ, чьи медвѣжки объятія самому поэту пришлось испытать на себѣ въ Полянкѣ, «Придутъ Поляне съ дѣдовской косою и изъ лѣсовъ придутъ мѣткіе стрѣлки, а съ горъ стечется людъ съ топориками въ рукахъ, и съ копьями люди степные, на коняхъ». Они соединятся, обсудятъ и установятъ правду—«чистую, какъ ключевая вода, мирную, какъ исторія селенія, какъ новъ первобытную и краткую какъ Божій судъ». Весь этотъ рой мнимо-народныхъ понятій, окрыленный какою-то, вовсе не историческою утопіей, разлетѣлся и исчезъ, какъ ночное видѣніе, когда истинныя отношенія, существовавшія въ то время, проявились въ событіяхъ 1848 года. Ни единое изъ блестящихъ упованій поэта не оправдалось, наоборотъ, всѣ они кончились разочарованіемъ. Впрочемъ, и не одинъ Польша пересталъ съ тѣхъ поръ играть въ политику; все, что въ обществѣ было лучшаго, болѣе сознательнаго, устранилось, сохраняя себя для лучшаго времени, сторонясь отъ борьбы разнуждан-

ныхъ и слѣпыхъ стихій, бѣжа и отъ «бѣлаго» историческаго знамени и отъ революціонизма, носившаго цвѣтъ крови, оно устранилось отъ той борьбы, послѣ которой наступили десятилѣтняя мертвенная реакція и якобы застой по внѣшнему виду въ исторіи Европы. Это самоустраненіе внушило Гашинскому извѣстный красивый сонетъ, характеризовавшій тотъ моментъ (1849 г.), съ которымъ нынѣшнее время имѣетъ уже мало общаго: «Два лагеря стоятъ въ противоположныхъ концахъ міра; подъ одно знамя стекаются почитатели давняго прошлаго; ихъ цѣль — все охранять, даже и зло, а аргументъ у нихъ одинъ — штыкъ или пушка. Надъ лагеремъ другимъ виситъ красный лоскутъ, и вотъ подъ нимъ толпа впередъ рѣшаетъ дѣло будущаго: уничтожить все, хотя бы и доброе — такъ кричатъ разрушители, подражатели безбожнаго преступленія Герострата». Почти такимъ же образомъ опредѣляетъ Поль значеніе 1849 года въ «Картинахъ», которую можно назвать полу-апокалиптической. Въ каждомъ изъ двухъ лагерей стремятся повернуть міръ на свою дорогу, навязать ему свои мысли и волю, а человѣчество, при этомъ, и тѣ и другіе готовы топтать ногами». Но есть и различіе по сравненію со взглядомъ Гашинскаго, который ни въ томъ, ни въ другомъ лагерѣ не признаетъ ни ума, ни сердца и видитъ одну страстность, между тѣмъ, какъ Поль говоритъ, что «одни лишены добродѣтели а другіе — разума». Гашинскій признаетъ, что одно знамя представляетъ собой идею историческую, которую онъ и понимаетъ поевропейски, т. е. въ видѣ «златаго шара», съ остатками феодализма. Самъ поэтъ стоитъ въ сторонѣ, высказываетъ вѣру и надежду, что дѣло худо начатое еще поправится, когда появятся такіе люди, которые разумно и терпѣливо согласивъ крайности, съумѣютъ вывести человѣчество на путь новый, но съ прежними вѣрой и правдой въ душахъ. У Поля же одни хотятъ на душѣ скованнаго міра выжечь клеймо своей воли, а другіе — управлять человѣчествомъ лишь при помощи сѣкиры палача.

Въ формулѣ начертанной Полею реакція представляется безъ идеи и содержанія; назвать ее согласіемъ съ историческою идеей—онъ не хотѣлъ, да и не могъ бы, такъ какъ она просто стояла за совершившійся фактъ, хотя бы и новый, хотя бы онъ представлялъ собой переворотъ въ сравненіи съ прежнимъ, вѣковымъ теченіемъ исторіи. Въ новые же пути поэтъ не вѣрилъ, онъ уже утратилъ бодрость духа, разочарованіе, такъ сказать, подшибло ему крылья; онъ самъ уже окончательно увязъ въ историческомъ направленіи, но только не въ обще-европейскомъ, а именно въ собственномъ, польскомъ. Отнынѣ, онъ уже всѣми силами зоветъ свое общество, какъ въ рай—въ Польшу XVIII столѣтія, въ которой мысль его избрала себѣ окончательное пребываніе. Въ это время Поль уже забылъ, что самъ онъ былъ человѣкъ «новый»; въ предисловіи къ «Могорту», онъ говоритъ такъ: «пришли на свѣтъ люди новые со старымъ язычествомъ, тѣмъ, что когда-то пало передъ крестомъ; и въ міръ вносили бѣшенства заразу и вновь кумиру ставили алтарь». Забывъ, что самъ прежде искалъ онъ чего-то новаго и возвышеннаго, Поль разсуждаетъ уже такъ, что все зло пошло отъ пренебреженія къ благодати отъ церкви—этой сокровищницы народа; онъ бьетъ себя въ грудь и признаетъ вмѣстѣ съ тѣми, кого самъ считаетъ за «искреннихъ и лучшихъ», что все совершившееся представляетъ собой кару неба за злыя дѣла, что для человѣчества не можетъ быть никакой новой истины. Вотъ почему «міръ снова якоремъ себѣ поставилъ вѣру и держится за то, что называли старымъ». Въ такомъ своемъ отступленіи, въ проникновеніи началомъ самаго безусловнаго консерватизма, Поль поддавался—гораздо болѣе, чѣмъ думалъ самъ,—направленію той минуты, общему настроенію въ обществѣ утомленномъ борьбою, которое, послѣ пережитыхъ смутъ, чувствовало себя какъ человѣкъ, выбившійся изъ силъ и охотно бросающійся на первую попавшуюся постель, лишь бы выспаться. И поэзія Поля тѣмъ именно при-

ходила по вкусу современникамъ, что соответствовала общему настроенію. Надо однако признать, что этотъ новый въ ней поворотъ былъ несогласенъ съ прежними умственными привычками Поля, какъ напр. съ его смѣлыми романтическими увлеченіями или съ пріемами нѣмецкой метафизики, то есть собственно — гегелевской философіи, которой Поль былъ приверженцемъ, бывъ посвященъ въ ея тайнства Кремеромъ, Либельтомъ и Трентовскимъ. Какъ бы не была ошибочна исходная точка этой философіи, но она всетаки отводила себѣ самостоятельное мѣсто рядомъ съ религіею, толковала о безконечномъ развитіи идеи, утверждала разумность всего совершившагося.

Оглядываясь на романтизмъ съ новой своей позиціи, Поль относился къ нему уже съ сожалѣніемъ и видѣлъ въ немъ такой фактъ, который почти не былъ нуженъ или, вѣрнѣе, — фактъ не удавшійся и оставшійся безплоднымъ (V. 232). «Искра генія, говоритъ онъ, сама преобразилась въ наказаніе; то, что дала любовно открытая душа, то вверзаемо было въ домъ, какъ адское пламя. Въ новомъ мы разочаровались, а старое развалилось, и духъ народа надолго отравленъ». Записки Поля о польской литературѣ XIX в. (курсъ стенографированный въ 1866 г.), въ 9 и 10-й лекціяхъ заключаютъ любопытныя разсужденія Поля, — такія, которыя вовсе не оправдываютъ его тенденцій. Авторъ этого курса, прежде всего — идеалистъ; на его взглядъ, идеи, это нѣчто существующее самостоятельно, появляющееся въ міръ неизвѣстно откуда, выскакивающее изъ небытія, какъ Минерва изъ головы Юпитера. Индуктивный путь возникновенія идей оставленъ въ сторонѣ, и умственная жизнь народа представлена въ видѣ какихъ-то скачекъ идей, перегоняющихъ одна другую въ умахъ и чувствахъ слѣдующихъ за собою поколѣній. Идеи, по словамъ Поля, обращавшіяся въ XIX вѣкѣ были: ученіе французскихъ энциклопедистовъ XVIII в., панславизмъ, нѣмецкая философія и французскій, социалистическій радикализмъ.

Полю, какъ поэту, собственно говоря, противна каждая новая идея, потому что является она обнаженная, холодная, совершенно прозаичная и отрицательная, и напоминаетъ Сатурна съ косою, уничтожающаго всѣ пережившіе себя элементы. Такова она, дѣйствительно, въ первомъ періодѣ своего проявленія, имѣющаго еще отвлеченный характеръ. Но, за тѣмъ, слѣдуетъ второй фазисъ, когда идея перерабатывается и приспосабливается къ жизни усилиями тысячи единичныхъ умовъ, такъ сказать, оплотняется и порастаетъ пухомъ. Наконецъ, наступаетъ третій періодъ, когда идея, въ своемъ отвлеченномъ видѣ, окруженная любовью и трудами поколѣній, кончилась какъ отвлеченность, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлалась живымъ преданіемъ народа. Такъ было въ Польшѣ съ идеею реформы при Станиславѣ-Августѣ. Упавъ, въ своемъ формальномъ составѣ, она, однако, перешла въ душу слѣдующихъ поколѣній, какъ послѣднее преданіе, послѣдній завѣтъ прошлаго. Защищаясь отъ разрушительнаго дѣйствія отвлеченныхъ идей, общество противопоставляетъ имъ все, что только имѣетъ наиболѣе консервативнаго—идеалы своей поэзіи. Таковъ взглядъ Поля.

Все это разсужденіе болѣе оригинально, чѣмъ согласно съ истиною. Авторъ курса литературы, очевидно, упустилъ изъ виду, что есть поэзія въ самой реальной жизни, что наиболѣе сильнымъ обаяніемъ пользуется тотъ художникъ, который служитъ новой великой идеѣ, что идеалы предшествуютъ всякой формѣ примѣненія идеи къ дѣлу, что невозможно замкнуть поэзію въ одно только художество и конфисковать ее въ пользу одного консерватизма. Оставимъ въ сторонѣ эту несообразность, мы должны признать, что идея отвлеченная уравнивается всегда съ идеалами поэзіи — какъ два разные божества на разныхъ солнцахъ <sup>1)</sup>. Можно даже сказать, что поэзія слабѣе отвлеченной идеи по-

---

<sup>1)</sup> Сравненіе Словацкаго.

тому, что выросла изъ вчерашней абстракціи, и должна предчувствовать, что она будетъ ниспровергнута современемъ противникомъ, какъ только онъ выступитъ въ новомъ вооруженіи, а именно — съ отрицаніемъ, имѣющимъ по своей сторонѣ такуюже живую традицію.

Винцентій Полю достаточно понималъ необходимость такого равновѣсія между преданіемъ и новаторствомъ, но, на практикѣ, онъ современниковъ своихъ тянулъ всѣми силами въ средніе вѣка и посвятилъ свой талантъ почти исключительно воспроизведенію прошлаго въ цѣломъ ряду произведеній, преимущественно эпическихъ. Въ ихъ числѣ первое мѣсто занимають трилогія «Записокъ Винницкаго», «Могортъ» и «Витъ Ствошъ». Мы остановились долѣе надъ идеями «Маковаго зерна», потому, что находимъ въ немъ выраженіе того, что художникъ выше всего любилъ. Затѣмъ, мы должны перейти къ тому маковому цвѣту, что выросъ изъ этихъ зѣренъ и придалъ имени Поля широкую извѣстность, такъ какъ главная наша задача заключается въ сравненіи результатовъ творчества поэта съ его намѣреніями, то есть, съ его идеями. Самый родъ эпическій творчествъ былъ избранъ Полемъ сознательно, потому что онъ чувствовалъ въ себѣ призваніе «покровомъ славы старые почтить гробы» (V. 347), пріести идеалы для современниковъ изъ вѣры и преданій, которыми онъ защищался отъ идей отрицательныхъ. Въ прошедшее онъ углублялся не холоднымъ умомъ наблюдателя, ищущаго одной правды, но «сердцемъ любящимъ», словомъ, преклонялся предъ прошлымъ, прося его о вдохновеніи, какъ молились набожные художники до-рафаэлевскихъ временъ, Орканья и Фра-Анджелико да-Фіезоле. Отъ такого восторженнаго настроенія, казалось, можно было ожидать чудесъ, но результаты не соотвѣтствовали ожиданію. По крайней мѣрѣ о первомъ изъ произведеній Поля въ этомъ духѣ, а именно, о «Запискахъ Бенедикта Винницкаго» можно положительно сказать, что гора родила мышъ. Корнелій Уейскій, въ своемъ строгомъ, но вполне справедливомъ

приговорѣ относить эти «Записки» (89—95, 131—145) къ самому дурному сорту польской литературы. Къ этому вѣрному сужденію остается лишь прибавить нѣсколько замѣчаній.

Первая трилогія, озаглавленная именемъ Б. Винницкаго, а именно: «Приключенія молодости», вышла во Львовѣ, въ 1840 г., то есть, годомъ спустя послѣ появленія извѣстныхъ разсказовъ Генриха Ржевускаго: «Записки Северина Соплицы» (парижское изд. 1834 г.), съ которыми «Приключенія» находятся въ тѣсной связи, какъ потому, что въ обоихъ выведенъ Карлъ Радзивиллъ, такъ и по колориту, веселости и добродушной грубоватости. «Приключенія» написаны безъ всякой притязательности, относятся еще къ той, сравнительно лучшей порѣ, когда Польша руководствовалась въ своемъ эпическомъ творествѣ только цѣлями художественными и патріотическими. Какъ у Ржевускаго, такъ и у Поля разсказъ ведется отъ лица и въ стилѣ современника описываемой эпохи, бывалаго служаки при дворахъ вельможескихъ. Въ качествѣ разсказчиковъ выведены: у Ржевускаго кравчій Парнавскій, у Поля—шляхтичъ Тарнопольскій. Въ обоихъ произведеніяхъ удачно схваченъ тонъ старинной польской жизни и обычаевъ, который впоследствии изпошлили и износили до невозможности безчисленные подражатели. Въ обоихъ выходитъ наружу наивная безнравственность и гниль, которыхъ Бенедиктъ Винницкій, конечно, не признавалъ такими, да и самъ Польша едва ли понималъ таковыми. Нужда побуждаетъ мелкопомѣстнаго шляхтича пристроить сына къ панскому двору, по поговоркѣ: «держиись хоть за щекѣлду—да на знатномъ дворѣ». При дворѣ господствовали праздность и развратъ, укрощаемыя плетью: «И шляхтичъ, доложу вамъ, провинившись порою, сносилъ порку, лишь бы на коврѣ, а послѣ панъ дарилъ ему поясъ или коня». Можно себѣ представить каково было баловство на такомъ, почти королевскомъ дворѣ, какой держалъ Карлъ Радзивиллъ, этотъ хмѣльной самодуръ, приго-



варивавшій безпрестанное свое «*ranie kochanki*». «Тамъ приходъ только по расходу можно было сосчитать; ужь не то, что текло все, какъ говорится, а просто лилось все черезъ край. И народу и шуму было столько, что развѣ въ церкви было время отдохнуть». Изъ такого особаго рода университета, молодой Радзивилловскій придворный, уже знающій толкъ въ амурахъ и винѣ, изящно одѣтый и сопровождаемый подареннымъ ему крѣпостнымъ слугою, возвращается домой подъ отцовскій батогъ. И вотъ, вмѣсто поцѣлуя, его тотчасъ встрѣчаетъ изрядная пѣрка, такъ какъ онъ сразу совершилъ нѣсколько неловкихъ вещей, не снявъ шапки передъ священной фигурою на дорогѣ, проѣхалъ по отавѣ, забывъ, что день постный, а паче всего—разрядился щеголемъ: «отецъ твой лишь къ вѣнцу такъ одѣвался».

Отецъ-деспотъ засадилъ затѣмъ сына въ чуланъ на хлѣбъ и на-воду, на четыре недѣли, и только соединенными усиліями бѣдной больной матери и священника выпрошено было у стараго волка прощеніе сыну; да и то лишь при содѣйствіи возліаній и лести: «позволь же, ваша милость, сыну принесть тебѣ поклонъ, поклонъ—отъ самаго пана Радзивилла». Пѣрка, какую перенёсъ молодой Бенедиктъ чувствительна не для одного его: весь рассказъ, можно сказать, идетъ подъ акомпаниментъ плети и эта плеть, какъ главное орудіе домашняго воспитанія, столь упорно восхвалявшаяся нашими бардами, какъ напр., Нарушевичемъ въ его одѣ, Игнатіемъ Ходзько въ его «Запискахъ квестарія», составляла постыдное наслѣдство прошлаго, и когда уже изгнана была изъ школъ, держалась еще какъ нѣчто почтенное—въ эстетическихъ произведеніяхъ. Что Поль крѣпко держался всякихъ преданій прошлаго—о томъ свидѣлствуютъ совѣты, какіе онъ преподавалъ славянину въ своемъ «Словѣ и Славѣ»: «дѣтей содержи строго, и законъ примѣняй мягко, толпой же правь сильной рукою» (VII. 336). Что касается «сильнаго правленія толпой», то это полякамъ какъ извѣстно, никогда не удавалось. Относительно за-

кона, надо признать, ни уголовные, ни гражданскіе законы въ Польшѣ мягкими не были, но часто не исполнялись, а иногда были и неисполнимы. Во всякомъ случаѣ они были нехороши, такъ какъ въ самомъ содержаніи своемъ, они являлись неравными и не одинакими для магната и бѣднаго шляхтича, для дворянства и недворянства, и потому «удаль иногда не знала и предѣла и кривда зарублена неразъ кривою саблею на людяхъ» («Сенаторскій уговоръ»). Въ общественно-политическомъ быту распущенность, дѣйствительно, сдерживалась главнымъ образомъ строгой дисциплиной домашняго воспитанія. Но когда та политическая жизнь исчезла, а «удаль» была взята въ предѣлы весьма тѣсные, то единственнымъ убѣжищемъ духа національнаго осталась семья, изъ которой и грубая строгость прежняя, какъ уже ненужная, улетучилась гораздо ранѣе, чѣмъ старосвѣтскіе теоретики примѣтили эту перемѣну въ нравахъ.

Со второго разсказа Винницкаго — «Сенаторскій уговоръ», (написанъ въ 1852 г., изданъ въ 1853 г.), начинается уже рядъ произведеній Поля — тенденціозныхъ и съ преднамѣренно поучительнымъ содержаніемъ. Дѣйствіе происходитъ на Санѣ, въ томъ уголку Польши, который послужилъ писателямъ половины XIX в. неисчерпаемымъ источникомъ старопольскихъ типовъ и преданій. Въ этомъ, какъ и во всѣхъ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Поля замѣчается изобиліе разныхъ вводныхъ эпизодовъ; на основную фэбулу наброшенъ какъ бы покровъ, свитый изъ плюща и повилики, сплетеніе легендъ и описаній (входящіе во второй разсказъ эпизоды и отступленія: «Янекъ изъ Новаго Мѣста», липа въ Дубецкѣ, преданія о панѣ Крупѣ, о Попелѣ и Лещинскомъ, о родѣ Гоздава). Но если устранить всю эту роскошь орнаментаціи, то самое содержаніе сводится на какой-нибудь пустякъ. Такова суть напр., «Сенаторскаго уговора»: все дѣло въ раздорѣ между подкоморіемъ Балемъ и старостою Мнишхомъ, возникшемъ изъ того, что Баль, произнося фамилію Мнишха, искажалъ ее,

называя его Мнишкомъ. Изъ-за такой личной ссоры происходитъ распрѣ между партіями въ цѣлой области, и эту распрѣ прекращаетъ только остроумная выходка князя-епископа Вармійскаго (поэтъ Красицкій), который, наливъ одну рюмку вина въ честь Баля, другую въ честь Мнишха, слилъ рюмки въ стаканъ и выпилъ однимъ залпомъ съ завѣтнымъ тостомъ «Kochałmu się». Тогда «въ области вновь водворилось прежнее согласіе; и понынѣ, въ Саноцкомъ, если хотятъ сказать, что что-нибудь сошло по-сердцу—гладко какъ по водѣ, то говорятъ, что дѣло удалось какъ сенаторскій миръ». Производство въ герои «Сенаторскаго уговора» Красицкаго—рѣшительнаго сторонника реформъ и въ герои «Сеймика въ Вишни» Чарторійскаго—генерала земель подольскихъ, остроумнаго французомана, доказываетъ что, поэтъ, относившійся враждебно по всему чужому въ современности, является къ нему гораздо снисходительнѣе въ прошломъ, потому конечно, что то давнее заимствованіе представляется съ напудренной косой, то есть вещь старинною, пріобрѣвшею уже право гражданства и какъ бы уже запечатлѣнною, по самой своей старости, польскимъ характеромъ.

На указанномъ выше, тонкомъ какъ острое булавки, обстоятельствѣ, на томъ пріемѣ, къ которому прибѣгнулъ Красицкій, чтобы водворить миръ среди областного дворянства, Польша устанавливаетъ перпендикулярно высокое какъ башня Св. Маріи въ Краковѣ нравоученіе. Прошедшее въ этомъ примѣрѣ будто бы поучаетъ насъ, что все жившее такъ долго было прочно, что оно держалось въ высокихъ родахъ традиціей, а въ шляхетствѣ—семейными совѣтами, что каждый родъ признавалъ свое гнѣздо, а въ каждой семьѣ былъ кто-нибудь признанный головою, случилось что и женщина, что иной, не боявшійся ни сейма, ни судовъ, ни короля, боялся главы своего рода, признавалъ его право надъ собою; что всякъ помнилъ, что человѣкъ держится не однимъ умомъ, но еще и братской помощью, что неизвѣстно откуда, являлась порою за-

щита и обиженному могущественнымъ противникомъ, и вдовѣ, и сиротамъ. Несомнѣнно, что это случалось, но именно только случалось, а вовсе не было неизбѣжнымъ явленіемъ. Какъ на нивѣ боярышникъ пробивается посреди колосевъ, такъ и въ произрастаніи польскихъ семейныхъ и родовыхъ традицій, сорныя травы смѣшались съ полезными и росли быстрѣе послѣднихъ. «И гетманы бывали изъ бабьихъ сродниковъ, изъ ловцовъ богатыхъ невѣстъ, хотя бы и горбатыхъ. А мало ли дворянъ стряпчихъ по природѣ чернильныхъ душъ, кляузниковъ и плутовъ. Другіе — панскіе клеветы, придворные рубаки и заушники, Ахаты дрессированные для высокихъ пороговъ». Но вѣдь сверхъ того, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что вся эта нива, пороставшая плевелами все гуще и гуще, представлялась однимъ только дворянскимъ сословіемъ, и что понятіе о братствѣ въ немъ было неразлучно съ понятіемъ о гербовой печати. И Польша въ то время такъ уже измѣнилась въ сравненіи съ тѣмъ, какимъ былъ прежде, что точно забылъ, что за этимъ дворянскимъ народомъ стоялъ еще другой, гораздо болѣе многочисленный и что вотъ этотъ-то послѣдній и долженъ былъ бы служить фундаментомъ для всего государства.

Еслибы непрочность основанія при томъ порядкѣ, какой тогда существовалъ, требовалось объяснять примѣрами, то наиболѣе характерными могли бы послужить именно тѣ великія распри изъ за ничтожныхъ причинъ, то видимое отсутствіе прочнаго равновѣсія, когда для возстановленія порядка требовалось нѣчто въ родѣ чуда — какой-нибудь неожиданный пріемъ, сердечное увлеченіе, подѣйствіемъ котораго нарушители подавали себѣ руки и клялись позабыть взаимныя обиды. Это было прекрасно, но слишкомъ неустойчиво. Мягкая и добро-сердечная натура исправляла, сколько могла, роковые недостатки общественнаго и политическаго строя, но строй этотъ уже обваливался по кускамъ въ ту именно эпоху, когда саноцкое дворянство весело запивало миръ между

сенаторами, такъ какъ моментъ этотъ совпадалъ съ кануномъ барской конфедераціи, въ которой и герой разсказа Баль, и саноцкое дворянство приняли участіе.

Найдя, что «сенаторскій уговоръ» — вещь въ сущности пустая, мы, затѣмъ, должны будемъ признать, что «Сеймикъ въ Судной Вишнѣ», написанный въ Полянкѣ въ 1853 году — вещь самая постыдная по содержанію, и весьма слабая по формѣ. Публичное дѣло, по словамъ Поля, нѣчто столь же великое какъ свобода, а въ этомъ публичномъ дѣлѣ — сеймъ — нѣчто столь святое, что рѣшенія его точно воля Божія. Но зато сеймикъ — тотъ ужь прямо былъ въ рукахъ человѣческихъ. А кто бралъ верхъ на сеймикѣ? «Не тотъ, кто выше родомъ, головой, силой или мошной; нѣтъ, сударь, тотъ бралъ верхъ, кто раньше угостилъ». Поэтъ насъ вводитъ задворками въ грязную обстановку этой стряпни. Дѣло было, конечно, не въ томъ, чтобы избрать хорошихъ депутатовъ въ государственный сеймъ, но исключительно въ томъ, чтобы провести въ депутаты людей своей партіи. На одной сторонѣ Сѣнявщина или иначе партія Чарторыскаго, генерала земель подольскихъ, трунящаго надъ шляхтою, на другой — оппозиція съ предводителемъ своимъ, народнымъ трибуномъ шляхетскаго плебса, судьей Хойнацкимъ, великаномъ и силачемъ, гораздо болѣе склоннымъ рубить саблею нежели судить по статуту и увлекающаго всегда шляхетское селеніе инымъ фокусомъ.

Драмѣ предшествуетъ фарсъ: приверженцы Чарторыскихъ едва не проиграли всего дѣла вслѣдствіе того, что во время ночлега у всѣхъ ихъ были украдены штаны. Но вотъ, наконецъ, избиратели собрались въ церкви, гдѣ амвонъ проповѣдника обращенъ въ трибуну для ораторовъ, а алтарь завѣшенъ сукномъ. Вскорѣ добыты сабли наголо и уже течетъ кровь. Хойнацкій, забывъ данную священнику присягу, что не обнажитъ меча, пробивается къ своимъ сквозь толпу, рубя толпу на-право и на-лѣво. Въ эту минуту преграждаетъ ему

путь священникъ: «руби, ваша милость, и я пойду *pro Christo* въ небо; но ужь съ тобой, судья, и пёсь не станетъ ёсть хлѣба, лишенный церковнаго благословенія, проживешь остатокъ дней, а въ аду будешь горѣть по самыя лопатки». Убѣжденный такой угрозою, судья начинаетъ бить себя въ грудь съ покаяніемъ, священникъ выносить дары, всѣ сабли влагаются въ ножны, и устраивается кое-какое примиреніе въ силу религіознаго чувства, въ оскверненной кровью церкви. Все, разумѣется, окончилось ёдой и питіемъ. Собственно какъ фактъ, содержаніе «Судной Вишни», относящееся къ 1766 году, совершенно однородно съ попойкою Грановскаго въ Люблинѣ (1784 г.), рассказанною въ Запискахъ Каетана Козмяна, или съ любою страницею Записокъ Матушевича. Различіе лишь, что Матушевичъ рассказываетъ о такихъ случаяхъ наивно, какъ о совершенно простой вещи, Козмянъ упоминаетъ о нихъ съ отвращеніемъ, а поэтъ, писавшій въ половинѣ XIX в., приводитъ подобный случай въ видѣ доказательства, что хотя онъ самъ по себѣ и былъ нехорошъ, но восторжествовало въ немъ всетаки дѣло Божье: «на каждую недѣлю бывало воскресенье»,—и всетаки тогдашній міръ былъ лучше нынѣшняго. «А нынѣ покажи мнѣ человѣка, который бы почтилъ завѣтъ, который бы и душу заложивъ, не отступилъ отъ даннаго обѣта. Ты покажи мнѣ нынѣ человѣка, который во имя Бога мечъ бы опустилъ, когда въ его рукѣ трепещетъ врагъ смертельный»?...

Но неужели же изъ-за того, что случайно нашелся священникъ, который во время схватилъ Хойнацкаго за полу, и что случайно не произошла кровавая расправа, и дѣло окончилось нѣсколькими рубцами на лбахъ и щекахъ—слѣдуетъ уже падать на колѣни предъ тѣмъ, «что дѣдовъ нашихъ согрѣвало» и побивать камнями все современное намъ? «Да, хоть крѣпости въ васъ нѣтъ никакой, а труднѣе васъ сдержать, и осадить на волѣ вашей и обратиться васъ къ Богу». Упрекъ, облеченный въ такую форму представляется совершенно неосновательнымъ. Ока-

зывается, что Полю не доставало свойства самого необходимого для моралиста, а именно—нравственного чутья; онъ возсѣлъ на судейскомъ креслѣ, чтобы творить судъ надъ современностью по законамъ исторіи, а между тѣмъ, самъ не распознаетъ добра и зла. Моралистомъ, по преимуществу, Поль сдѣлался послѣ 1846 года, почувствовалъ къ тому особое призваніе, а средствомъ для нравственнаго поученія онъ избралъ историческую живопись. Но мы только что видѣли, какъ этотъ историческій живописецъ перепуталъ въ «Сенаторскомъ мірѣ» крупныя вещи съ мелкими и создалъ картину въ китайскомъ вкусѣ, т. е., безъ всякой перспективы; въ «Сеймикѣ» же онъ смѣшалъ добро со зломъ и въ идеаль возвелъ это послѣднее.

Невольно задаешься вопросомъ—да былъ-ли въ самомъ дѣлѣ В. Поль тѣмъ, за кого себя признавалъ, то есть историкомъ—поэтомъ? На этотъ вопросъ можно отвѣтить только отрицательно, а еслибы затѣмъ требовалось опредѣлить, чѣмъ же онъ былъ въ дѣйствительности, то можно бы сказать, что онъ былъ самый поэтический и самый популярный польскій антикварій. Различіе историка отъ антикварія въ томъ, что историкъ относится къ фактамъ критически и сужденія свои основываетъ на изученіи точной связи между фактами и непрерывнаго ихъ соотношенія, между тѣмъ какъ собирателю древностей это вовсе не нужно. Лишь бы ему попались лоскутъ одежды, ручка вѣера, застѣжка, табакерка, парикъ, коробочка для пудры, шаловливаго содержанія картинка или стишки, — если онъ любитель XVIII вѣка, вотъ уже на него пахнуло цѣлымъ этимъ вѣкомъ. Такъ, въ одномъ изъ стихотвореній Словацкаго, поэту почудился запахъ волосъ возлюбленной, а затѣмъ, въ силу ассоціаціи идей, въ сознаніи его возрождается ея образъ, да притомъ еще не схожій съ дѣйствительностью, а соответствующій тому, какъ поэтъ ее себѣ идеализировалъ; и вотъ образъ этотъ уже и остался навсегда неизмѣннымъ, окаменѣлымъ и священнымъ. Что

Поль былъ вовсе не историкъ, а лишь высокоталантливый антикварій — это доказывается, во-первыхъ, особенностями его художественнаго творчества, а во-вторыхъ, полнымъ у него отсутствіемъ научнаго духа въ пониманіи исторіи.

Обремененіе первоначальной темы множествомъ орнаментовъ, вотъ свойство, которое въ произведеніяхъ Поля постепенно возрастало и дошло до такого же преувеличенія, какъ въ позднѣйшемъ готическомъ стилѣ, въ періодѣ упадка послѣдняго. Каждая отдѣльная его поэма или стихотвореніе, являлись, по мѣрѣ того чѣмъ они поднижѣ, все болѣе похожими на реликваріи, на богатые сосуды, въ которыхъ хранятся предметы, занимающіе мало мѣста — какой-нибудь клочекъ одежды или камушекъ. Въ концѣ концовъ, всѣ поэмы представляются чѣмъ-то въ родѣ коллекцій не то чтобы типичныхъ экземпляровъ, но скорѣе — примѣчательныхъ рѣдкостей (таковы, напр., цѣлый гиппическій трактатъ въ «Могортѣ», масса образцовыхъ скульптурныхъ украшеній въ «Витѣ Ствошѣ», весь почти цѣликомъ «Гетманскій отрокъ» — съ часами, астрономією, сокольниковствомъ и сватовствомъ, вся «Стрыянка», весь «Старѣста Кисляцкій» и «Годъ охотника»). Чѣмъ Поль становился серьезнѣе и чѣмъ болѣе углублялся въ это направленіе, тѣмъ больше пріобрѣталъ онъ вѣры въ свое призваніе какъ историка, и тѣмъ прерзительнѣе относился въ своей поэзіи (V. 346.) къ «пишущимъ книжки критиканамъ дѣлъ минувшихъ, а вмѣстѣ съ ними и къ публикѣ, которая поучается газетами и читаетъ въ кафе ресторанахъ, (объясн. къ 3 изд. «Могорта»)). Для анатомовъ и патологовъ исторіи, по его отзыву, (объясн. къ 1 изд. «Могорта»)). стоило бы, въ наше филантропическое время учредить богадѣльню съ клиникомъ: нѣтъ въ этомъ направленіи ни правды, ни жизни, такъ какъ при немъ книга исторіи превращается въ кладовую аналитическихъ изслѣдованій и ученыхъ пустяковъ, подогнанныхъ къ видамъ той школы или той партіи, къ которой принадлежитъ писатель.



Согласно тому же, совсѣмъ особенному взгляду Поля, польская историческая литература была серьёзна пока перо обрѣталось въ рукахъ людей съ политическимъ положеніемъ, мужей государственныхъ; она измельчала, когда перо перешло въ руки кропотливыхъ копателей школы аналитической (Бандтке, Лелевель, Мацѣвскій), которые стали каждый матерьялъ обрабатывать въ отдѣльности, безъ соображенія съ тѣмъ, что было, есть и будетъ (лекція 13). По мнѣнію Поля историческое изслѣдованіе должно быть производимо по приему синтетическому, то есть: сперва слѣдуетъ бросать сверху свѣтъ на цѣлыя эпохи, и уже потомъ, при этомъ освѣщеніи изучать подробности. Но такъ, какъ польскіе государственные люди умерли, да мало осталось и тѣхъ людей, которые видѣли прошлое въ его подлинномъ освѣщеніи, то, по убѣжденію Поля, историкъ и художникъ должны вдохновляться не книжками и диссертациями, а—источникомъ живаго преданія, которому былъ столько обязанъ самъ Польша. Излишне было бы доказывать ошибочность такихъ взглядовъ, при которыхъ муза Кліо уже никогда бы полякамъ болѣе не улыбнулась. Исторія народовъ писалась и должна писаться независимо отъ состоявшихся въ быту этихъ народовъ перемѣнъ; историческое повѣствованіе должно было изъ рукъ государственныхъ людей перейти въ руки изслѣдователей — специалистовъ; наконецъ, изученіе отдѣльных матерьяловъ необходимо должно предшествовать самому изложенію событій, какъ обжиганіе кирпичей предшествуетъ той постройкѣ, на которую они пойдутъ. Своими разсужденіями Польша доказалъ единственно то, что ни задачи, ни методы исторической науки онъ не понималъ; историкомъ научнымъ, онъ никогда и не могъ бы сдѣлаться.

Вѣрно то, что условія творчества различны для поэта и для историческаго изслѣдователя. Поэтъ отыскиваетъ лишь прекрасное. а не достовѣрное и вполне властенъ въ подборѣ фактовъ каждой данной эпохи. Тѣмъ неменѣе, и поэтъ обязанъ всетаки пользоваться

наукою, стоять на высотѣ науки, не оскорблять нравственныхъ чувствъ общества, а когда произносить приговоры, то для него, наравнѣ какъ для ученаго историка, обязательны трезвость, добросовѣстность и логичность: недостатокъ этихъ свойствъ въ «Разсказахъ Винницака» не могъ не повредить Полю въ умахъ людей глубокомыслящихъ. Но поколебленную свою славу Поль поправилъ и поднялъ до наибольшей высоты, пустивъ въ свѣтъ въ 1856 году, начатаго еще въ 1840 году и въ 1852 г. уже оконченнаго «Могорта». Эта прекрасная, превосходящая предшествующія произведенія поэма послужить намъ для дополнительнаго выясненія нашего взгляда на значеніе Поля въ литературѣ.

Само собою разумѣется, что и въ XVIII столѣтіи Польшѣ присущи были не однѣ же отрицательныя черты: нахлѣбничество и пьянство. Подъ мерзкою корою дурныхъ привычекъ и несмотря на несомнѣнный упадокъ нравовъ, тлился однако, какъ и обнаружили впоследствии событія, духъ самопожертвованія, соединенный съ чувствомъ, гражданскаго долга. Этотъ духъ и это чувство въ особенности доходили иногда до наибольшей степени развитія въ людяхъ военныхъ, чему благопріятствовали въ томъ призваніи дисциплина, привычка къ лишеніямъ и преданія рыцарства. Обстоятельства дали Полю случай близко узнать и полюбить одного изъ такихъ старыхъ воиновъ, поклонника идеи чести и чистаго какъ слеза. Этотъ пріятель былъ Ксаверій Красицкій; и онъ-то разсказалъ кое-что поэту о другомъ рыцарѣ, еще болѣе славномъ и принадлежавшемъ къ поколѣнію болѣе давнему, рыцарѣ желѣзномъ и столь доблестномъ, что ему было бы подѣ стать быть въ числѣ перовъ Карла Великаго или богатырей Круглаго Стола.

Изъ этихъ сказаній, которые передалъ душа—человѣкъ Красицкій, возникла въ умѣ Поля былина о поручикѣ Могортѣ, и въ лицѣ этого героя, возвышенная идея удачно и изящно (что не всегда случалось у Поля) связалась съ тѣми событіями, которыхъ она была сама

выраженіемъ. Сценою избрана окраина государства — украинская степь, съ ея необозримымъ черноземнымъ пространствомъ, усѣяннымъ курганами, свидѣтелями борьбы съ дикою татарщиной. Поэма изображаетъ то, въ чемъ народъ польскій издревле видѣлъ свое особенное призваніе, а именно — борьбу съ мусульманскимъ востокомъ. Эта сторона скрашиваетъ самыя особенности мѣстнаго быта, въ то время довольно прозаическія, занятія скучныя и хотя соединенныя съ опасностью, но не блестящія. Большихъ войнъ уже не видали тѣ окраины, назначеніе украинскаго тамъ воинства сводилось лишь къ тому, что теперь мы бы назвали степною полиціею. «Еще свѣжа была въ умахъ память объ уманьской рѣзнѣ (коліивщина), и страхъ чумы держалъ солдата днемъ и ночью на стражѣ границы. Тамъ, гдѣ-нибудь, на чей-либо дворъ татары напали или ограбили церкви. А то казаки угнали у насъ табунъ, увели челядь или село спалили». У Поля, Могортаъ является, между прочимъ, учителемъ въ военномъ дѣлѣ князя Іосифа Понятовскаго, чтó значительно оживляетъ рассказъ, такъ какъ князь, лицо уже близкое намъ по своимъ понятіямъ и образованію, и намъ какъ бы современное, дѣлается звеномъ, которое приближаетъ къ намъ и самого Могорта и его приключенія, является героемъ—прямымъ какъ бы преемникомъ другаго героя Могорта. Поэтъ при этомъ обошелъ весьма ловко неприятную подробность—участіе войска въ усмирении бунта гайдамаковъ и приведеніе въ послушаніе крѣпостнаго крестьянства.

Извѣстенъ полевой судъ региментарія Стемповскаго надъ мужиками въ Коднѣ.—Ксаверій Браницкій писалъ къ королю 15 сент. 1768 г. («Барская Конф.» изд. Гумпловича 1872 г. стр. 68): гайдамаковъ повѣшено 700; главные вожаки жесточайше наказаны примѣра ради. Но и Браницкій не могъ всѣмъ угодить.—«Сосѣди, пишетъ онъ (Іюля 1768), осаждаютъ меня: помѣщики, евреи; одинъ проситъ четверговать, другой жечь, садитъ на колъ, вѣ-

пять безпардонно и т. д. tolle crucifigi, и входятъ въ такой азартъ, что каждый хотѣлъ бы быть палачемъ». — Даже Браницкій уклоняется предъ королемъ, «не могу исполнить Вашей воли и не могу явѣшать ради только того, чтобы не кормить». — Но король своею собственною нѣжною рукою отписываетъ (24 сентября), если вамъ попадутся такіе арестанты изъ огайдамаченныхъ крестьянъ, то прикажите брать десятого и уѣзжать ему по одной рукѣ и по одной ногѣ, это лучше усмирить чѣмъ смерть».

Могортъ Поля — литвинъ, уніать, связанный дружбой съ игуменомъ монастыря базилиановъ, построеннаго на окраинѣ степи. Старикъ Могортъ находился въ монастырѣ, когда возставшая чернь въ движеніи, носившемъ названіе *коливщины*, залила всю окрестность и подступила подъ стѣны монастыря; Могортъ лично защищаетъ монастырь и разбиваетъ чернь при неожиданной и непрощенной помощи татарскаго мурзы. Старецъ, болѣе чѣмъ столѣтній, помнить еще шведскія войны и передаетъ слышанный устный рассказъ объ освобожденіи Вѣны королемъ Яномъ ІІІ. Этотъ Могортъ бдителенъ какъ журавль, въ опасное время спитъ даже иначе, какъ сидя на деревянной кобылѣ, съ пистолетомъ въ рукѣ. Для себя лично онъ ничего не желаетъ и не требуетъ, живетъ аскетомъ, отказывается отъ предложенныхъ старѣчества и ордена, говоря, что еще при крещеніи отрекся отъ сатаны, и хоть земли у него мало, но добрые люди прибавятъ и отведутъ ему могилу. Это высокое безкорыстіе выступаетъ во всемъ величіи, когда сопоставимъ его съ типами разныхъ искателей. Такъ, напримѣръ, о главномъ укротителѣ *коливщины*, Стемпковскомъ, Браницкій писалъ королю такъ: («Барская конфедерація», изд. Гумпловича, 1872 г., стр. 71). «Стемпковскому благоволите, ваше величество, прислать орденъ, а то съ нимъ сдѣлается желтуха и бессонница; онъ уже ко всѣмъ шлафрокамъ понакупилъ звѣзды».

Укажемъ на слабыя стороны «Могорта». Почти всѣ

наши критики сходятся въ томъ, что эта поэма Поля— истая скульптура, и самая фигура Могорта — статуя изъ мрамора. Но въ самомъ этомъ сравненіи, которое дѣлается съ намѣреніемъ принести дань удивленія автору, мы усматриваемъ осужденіе этой поэмы, какъ произведенія эпическаго. Эпосъ повѣствуетъ о великихъ дѣяніяхъ такихъ людей, которымъ можно ставить памятники, а здѣсь передъ нами является сама статуя, которая никакихъ великихъ дѣяній не совершаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, даже и та послѣдняя кавалерійская атака на Боришковской плотинѣ, при которой Могортъ наконецъ палъ, какъ состарѣвшійся дубъ, спасая главные силы войска, представляетъ не что иное, какъ достохвальное, но все-таки обычное исполненіе прямого долга солдата. Напрасно бы мы стали искать у Могорта какого-либо великаго, героическаго, важнаго по послѣдствіямъ предпріятія. Могортъ не дѣйствуетъ, онъ только стоитъ на посту, не покидая его. «Онъ ни съ сѣдла, ни съ мѣста не сходилъ, всѣ нити, стало быть, держалъ въ своей рукѣ». Это каменная фигура, держащаяся на пьедесталѣ еще болѣе неподвижнаго преданія. Многолѣтняя жизнь его имѣетъ свое величіе, если взять всю ея совокупность, но составляется она изъ дѣйствій столь же одинаковыхъ и монотонныхъ, какъ вращеніе колесъ въ часахъ, которые бы были заведены лѣтъ на сто. Ложился онъ спать рано, ѣлъ разъ въ день, весною вспахивалъ не меньше двухъ полосъ собственноручно, съ весенней оттепели и до осенняго снѣга жилъ подъ палаткою. Въ великомъ посту приготовлялъ іерусалимскій бальзамъ и велъ записки (*Silva gerum*), а въ маѣ пускалъ себѣ кровь,—однимъ словомъ, двигался съ ужасающею регулярностью автомата. Конечно, могутъ быть и герои выдержки, постоянства; но безъ совершенія новаго, великаго, творческаго дѣла и безъ борьбы—нѣтъ эпопеи, и мыслимо лишь нѣчто дидактическое, въ родѣ «Жизни честнаго человѣка»—Рея. И дѣйствительно, рапсодія Поля представляетъ поэму—въ такомъ же описательномъ и нра-

воучительномъ родѣ, въ которой авторъ, какъ влюбленный въ старину антикварій, рассказываетъ, какъ Могортъ пашетъ, какъ постится и совершаетъ свои военные объѣзды. Здѣсь лишь та разниа между Полемъ и Реемъ или Красицкимъ (Панъ Подстолій—такое же нравоучительное описаніе какъ и «Жизнь честнаго человѣка»), что оба эти послѣдніе авторы хотѣли изобразить только образцовые идеальные типы лучшихъ гражданъ для своего времени.

Поль, между тѣмъ, изучалъ типъ исчезнувшій послѣдняго Могикана польскаго сторожеваго пограничія, одного изъ тѣхъ ископаемыхъ типовъ, о которыхъ упоминаетъ Словацкій въ 6-й пѣсни «Бенёвскаго»: «о тѣхъ богатыряхъ временъ минувшихъ, которые не знали кофе ниже чаю, на головахъ носили куски желѣза, точно куски синайскаго кіота. И Богъ ихъ хранилъ румяныхъ и здоровыхъ, понеже они въ сапоги одну солому клали». Въ Могортѣ Поль нашелъ въ самомъ дѣлѣ эпическій сюжетъ, но не сумѣлъ имъ воспользоваться, обратилъ героя въ какого-то окостенѣлаго старика, такъ, что этотъ каменный гость—командоръ уже почти не въ состояніи и слѣзть съ своего каменнаго же коня. Вотъ въ чемъ, по нашему мнѣнію, главная ошибка въ отношеніи художественномъ въ этой поэмѣ, хотя она, въ силу своего содержанія и по своему духу, вполне справедливо сдѣлалась на долгое время однимъ изъ наиболѣе популярныхъ произведеній польской поэзіи въ срединѣ XIX вѣка.

Теперь мнѣ приходится разсмотрѣть послѣднее изъ лучшихъ созданій Поля, поэмѣ, вылившуюся у него изъ вдохновенія, такъ сказать, сразу, потому что написана она была втеченіи всего 40 дней (начата 17 декабря 1853 г., окончена 25 января 1854 г.). Это—«Витъ Ствошъ». Здѣсь авторъ начертилъ типъ художника, безотносительно, на всѣ времена, какъ, впрочемъ, онъ творилъ всѣ свои типы, въ приложенномъ же къ поэмѣ объясненіи набросалъ, сильно подкрашенные полемической желчью исторію и теорію

христіанскаго искусства. Здѣсь, въ этомъ объясненіи, проводитъ онъ такіе, напр., взгляды, что Торвальдсенъ испоганилъ каедральную церковь на Вавелѣ-горѣ въ замкѣ, въ Краковѣ, тѣмъ, что поставилъ тамъ статую Владиміра Потоцкаго въ греческомъ стилѣ; что архитектура Возрожденія была уже смертью настоящаго христіанскаго искусства, такъ какъ она разорвала нить церковнаго преданія; что искусство оставалось истинно христіанскимъ лишь покамѣстъ было строго-церковнымъ, пока свѣтъ ниспадалъ свыше—съ неба на церковь, съ церкви на престолъ и на совокупность тѣхъ неисчислимыхъ общественныхъ узелковъ, какими въ средніе вѣка все было связано, начиная съ божескаго права правителей и кончая братствомъ цеховъ. Какъ только искусство стало искать идеаловъ внѣ церкви (въ классической древности), и перестало творить въ ея духѣ, согласно традиціонному канону, отступивъ отъ этой вдохновенной свыше традиціи и ея символики, то оно сдѣлалось бесплоднымъ. Нельзя серьезно опровергать подобныя взгляды; желать, чтобы искусство навсегда осталось церковнымъ, всеравно, что требовать, чтобы цвѣтокъ никогда не распускался изъ своей почки. Что искусство, переставъ отождествляться съ духомъ церкви, могло оставаться христіанскимъ, то доказали: величайшій изъ художниковъ того же Нюрнберга, откуда происходилъ Витъ Ствошъ, а именно — Альбрехтъ Дюреръ, послѣдовавшій за Лютеромъ и создавшій свою чудную, и глубоко-задуманную Меланхолію, за тѣмъ — драматическія произведенія Шекспира, которыя не могли бы появиться во времена безусловнаго господства церкви, эпосъ Мильтона и, наконецъ, — все искусство протестантское. Готическому искусству никто не причинилъ насилія; сами собою опали лепестки перецвѣтшаго цвѣтка, послѣ чего искусство обратилось къ классической древности, то есть, восстановило связь съ еще болѣе давними своими преданіями. Поль здѣсь смѣшиваетъ двѣ различныя вещи: традиціонное правило,

которое было стѣсненіемъ, и — самое чувство, которое создавало мастерскія произведенія, несмотря на это стѣсненіе.

Міръ средневѣковой былъ устѣянъ замками, жилъ не снимая доспѣховъ, онъ былъ въ самомъ дѣлѣ опутанъ безчисленными узелками; для многихъ людей, въ то время, отечество простиралось не далѣе городского вала; единственной связью общей и настоящей была вѣра. Но вѣра эта была простая, безъ разсужденія: на раны Распятаго люди взирали съ болью въ сердцѣ, какъ бы смотрѣли они на раны отца, сына, брата, орошенные еще вчера слезами всей семьи; скорбь, какую они ощущали при этомъ видѣ была тѣмъ сильнѣе, что потерпѣлъ Онъ за живыхъ и искупилъ ихъ отъ смерти вѣчной. Всякое сомнѣніе считалось грѣхомъ, а сила обычая была такъ велика, что грѣшнику угрожали не только церковное отлученіе, но еще—клепцъ желѣзные палача при пыткѣ, а по смерти—огнь неугасимый. И такъ—люби, говорила совѣсть, не разсуждая, но вѣруя, и хвали Господа кистью, рѣзцомъ и молотомъ; ты создашь благолѣпіе храма, ты возвысишь городъ, облагородишь себя и родъ свой. Но какъ воздавать Богу хвалу искусствомъ? Какимъ образомъ выразить въ немъ идеаль чистояскетическаго свойства, пренебрегавшій красотою формы, будто смертнымъ грѣхомъ? При отсутствіи образцовъ античныхъ, приходилось творить наблюдая то, что подъ руками было, то есть, руководствуясь образцами грубой, неотесанной натуры.

И самый духъ германскаго племени мало былъ расположенъ къ исканію красивыхъ формъ, это—духъ реалистическій, который въ искусствѣ идетъ не отъ общаго къ частному, но наоборотъ, то есть, не отъ усвоенія себѣ идеальныхъ проблесковъ красоты, озаряющихъ грубую оболочку тѣлесную, но отъ индивидуальнаго и единичнаго, отъ воспроизведенія грубой природы, со всѣми ея морщинами и бородавками. Такое искусство, не могло изображать идеальный типъ человѣка вообще, но должно



воспроизводить только Иоанна, Андрея, Петра, или Пилата въ видѣ воеводы, или палачей Христа въ видѣ ландскнехтовъ, а самый ликъ Божій заимствовать либо отъ какого нибудь живаго лица либо съ византійскихъ иконъ. Чѣмъ менѣе тѣлесной красоты будетъ въ фигурѣ воплощеннаго Бога, тѣмъ лучше; его изобразятъ исхудалымъ, съ выдающимися ребрами, изобразятъ раны, изъ коихъ обильно течетъ кровь. Святыхъ угодниковъ и народъ художникъ представитъ тяжелыми, массивными, съ мясистыми лицами, съ головами лысыми или же съ сильно кудлатыми прическами. Для насъ уже не совсѣмъ понятны тѣ чувства, какими воодушевлялись и тѣ лица и зрители, на нихъ смотрѣвшіе, мы не въ состояніи ощутить того трепета—прекрасно переданнаго Полемъ — когда Ствошъ, изображая Распятаго, долженъ былъ, страдая, какъ Іуда послѣ своего предательства, пробить ступни, руки и бокъ въ священномъ подобіи, вырѣзанномъ изъ дерева; не можемъ мы уже, вообще говоря, чувствовать нервами то, что для насъ представляется болѣе идеей и символомъ, но для тогдашнихъ людей имѣло смыслъ самой живой и какъ бы современной реальности.

Что болѣе поражаетъ въ произведеніяхъ искусства того времени, это—экспрессія, переданная съ несравненной наивностью. Въ нихъ палачъ въ самомъ дѣлѣ мучаетъ, апостолъ дѣйствительно молится. Эта экспрессія истекла изъ искренняго чувства, а чувство—изъ вѣры, но изъ такой вѣры, которая была свойственна людямъ лишь за нѣсколько вѣковъ тому назадъ, и для проникновенія себя которою пришлось бы въ понятіяхъ нашихъ и всемъ умственномъ складѣ нашемъ, низойти на тогдашній уровень. А такъ какъ подобное возвращеніе себя вспять на нѣсколько вѣковъ неосуществимо, то можно любить произведенія мастера Ствоша, можно удивляться имъ, но нельзя указывать на нихъ какъ на образцы для подражанія. Всякое имъ подражаніе представляло бы только каррикатуру и фальшь, давало бы искус-

ственные цвѣты, вмѣсто живыхъ, похожіе формою, но лишенные запаха, искренняго чувства и души. Такова бываетъ судьба всякаго архаизма.

Обращаясь теперь отъ теоретическихъ взглядовъ къ самой поэмѣ Поля «Витъ Ствошъ», мы, прежде всего, поражаемся обиліемъ подробностей: глаза разбѣгаются при видѣ этой роскоши сводовъ, выведенныхъ на подобіе навѣсовъ пальмовыхъ лѣсовъ, утвержденныхъ на высокихъ, стройныхъ столпахъ; это — цѣлый городъ, свитый «изъ филиграна чуднаго, изъ ангельской рѣзбы», и украшенный радугами завѣта. Здѣсь у Поля, Краковъ, Нюренбергъ и всѣ мастерскія произведенія Ствоша, кромѣ позабытыхъ поэтомъ гравюръ и гробницы канцлера Збигнѣва Олесницкаго, находящейся въ Гнѣзнѣ — переданы въ стихахъ вѣрнѣе, чѣмъ они могли бы быть воспроизведены рѣзцомъ гравѣра. Къ тому же передано все это съ полнымъ пониманіемъ духа cadaго произведенія, однимъ словомъ, поэзія здѣсь преобразилась въ пластику и дошла до идеальнаго совершенства въ этомъ, особаго рода мастерствѣ.

Окруженная всѣмъ этимъ богатствомъ дивныхъ описаній является въ поэмѣ фигура самого художника — Вита Ствоша. Ствошъ или Штоссъ былъ Нюренбержецъ и, переселяясь въ 1477 году въ Краковъ, далъ подписку подъ присягой, что ничего ко вреду сего города не учинить и тайнъ оного не выдастъ (Baader 1860. Anzeige zur Kunde deutscher Vorzeit. — Исслѣдованіе В. Bergau, 1877, въ изданіи Dohme'a: Kunst und Künstler). Художникъ этотъ работалъ въ Краковѣ, съ перерывомъ (а именно съ 1477 по 1486 и потомъ съ 1489 по 1496 гг.), 15 лѣтъ, послѣ чего возвратился на родину съ семьей и имуществомъ, и потерявъ зрѣніе, умеръ 95-ти лѣтъ отъ роду въ Нюренбергѣ.

Ствошъ, по всей вѣроятности, былъ нѣмецъ, котораго, пожалуй, можно было изобразить усыновленнымъ Польшею и признавшимъ ее вторымъ своимъ отечествомъ. Но Польша дѣлаетъ изъ него природнаго поляка,

вслѣдствіе чего является загадочнымъ, какимъ образомъ могъ разцвѣсти въ Краковѣ такой талантъ, не имѣвъ предшественниковъ и не оставивъ преемниковъ, безъ образцовъ и безъ созданной имъ школы. Для того, чтобы понять развитіи таланта Ствоша и дать ему соответствующее мѣсто, необходимо допустить, что не Польша подарила его Нюренбергу, но наоборотъ — Нюренбергъ Польшѣ. Тогда онъ станетъ въ ряду цѣлой плеяды великихъ художниковъ: Ствошъ займетъ мѣсто на ряду съ Адамомъ Краффтомъ, Петромъ Фишеромъ и Альбрехтомъ Дюреромъ, а первымъ въ ихъ дружинѣ будетъ Михаилъ Вольгемутъ (1519 г.), который много позаимствовалъ отъ фламандской школы, изъ Брюггена, отъ Ванъ-Эйковъ. Между тѣмъ, Поль, приписавъ Ствоша Польшѣ, на славу ей, отобралъ у другихъ и приписалъ Ствошу созданіе всѣхъ главныхъ художественныхъ сокровищъ Нюренберга, обидѣвъ тѣмъ и Краффта, несомнѣннаго творца ковчега для даровъ, который называется Sakramensthaüslein Иммогоффовъ въ церкви св. Лаврентія, и замѣчателенъ своей верхушкой, представляющей изогнутый стебель, — и Фишера, столь же несомнѣннаго автора гробницы св. Себальда (1508 — 1519 гг.). Достаточно взглянуть на этотъ прелестный реликварій, не имѣющій въ себѣ ничего готическаго, кромѣ основной архитектурной мысли, на украшающихъ его амуровъ, тритоновъ, дельфиновъ, фавновъ, сиренъ и раковины, на фигуры апостоловъ превосходно моделированные и драпированные въ античномъ вкусѣ, — и необходимо будетъ признать, что это произведеніе не имѣетъ ничего общаго съ работами Вита Ствоша и можетъ идти въ сравненіи лишь съ дверьми къ баптистерію св. Іоанна во Флоренціи, главнымъ произведеніемъ Гиберти. Пусть въ произведеніяхъ Ствоша готическій родъ уже является усовершенствованнымъ; но здѣсь, въ произведеніи Фишера мы уже видимъ чистый Ренесансъ.

Возвратившись въ Нюренбергъ, Ствошъ проявилъ характеръ беспокойный и страсть къ тяжбамъ. Одинъ изъ

процессовъ имѣлъ для него роковой исходъ. Желая отомстить Якобу Банеру, который хитрой продѣлкою, нанесъ ему значительный денежный убытокъ, Ствошъ поддѣлалъ подпись Банера на долговомъ обязательствѣ, а когда поддѣлка была открыта, онъ искалъ спасенія въ монастырѣ и, наконецъ, сознался въ своей винѣ, послѣ чего хотя не былъ казнень, во уваженіе къ его таланту, но былъ клейменъ (1503 г.). Поль, недопуская, чтобы человѣкъ, бывшій сосудомъ Божіей благодати могъ совершить подлость (I. 115), представляетъ его, Ствоша, жертвой злодѣйской интриги. Положимъ, какъ поэтъ, Поль имѣлъ полное право представить дѣло въ такомъ свѣтѣ. Но чтобы воспользоваться этимъ несчастіемъ съ цѣлью художественною, слѣдовало отнять у него характеръ случайности, придать ему смыслъ трагическій, обусловивъ такую судьбу художника прежней его жизнью, какой-либо иной, собственной его виною, словомъ, показать, почему на голову его обрушилась такая злоба людей. Г. Рапацкій, въ своей драмѣ, представляетъ Ствоша новаторомъ, который погибаетъ въ борьбѣ съ рутинною и консервативнымъ духомъ цеха. Въ этомъ уже есть объясненіе, но объясненіе невѣрное, такъ какъ Ствошъ вовсе не былъ новаторомъ, и наоборотъ, строгимъ послѣдователемъ традиціи, притомъ же и самые цехи въ XVI вѣкѣ представляли собой учрежденіе живое, разрабатывавшее традицію, но охранявшее и свободу, и притомъ—учрежденіе съ духомъ аристократическимъ, вмѣщавшее въ себѣ различныя ступени и далекое отъ демагогической нетерпимости къ превосходству.

Поль объясняетъ несчастіе павшее на Ствоша двумя причинами. Прежде всего — дурными свойствами племени: «взгляну я на цехъ — чистѣйшіе вѣдь кнехты, пивомъ раздутая, негодная порода!» Весь Нюренбергъ былъ точно Содомъ, гдѣ только и была рѣчь не о томъ, какъ и что кѣмъ сдѣлано, но — сколько даютъ за штуку. Такое сужденіе неосновательно потому, что въ подобной, торгашеской атмосферѣ не могло бы раз-

виваться искусство вообще, и въ особенности такое искусство, благодаря которому въ Нюренбергѣ каждый домъ—настоящій музей. Затѣмъ, другое, уже нравственное объясненіе павшей на Ствоша кары заключается въ томъ, что художникъ согрѣшилъ гордостью. Приведены и доказательства его гордыни. Когда Длугошъ хотѣлъ причислить его къ своему гербу Вѣнява, то есть, приобщить художника къ шляхетству, то Ствошъ отвѣтилъ: «я, сударь, первый въ городскомъ кругу, а въ шляхетствѣ былъ бы я послѣдній». Далѣе, гордясь произведеніемъ своимъ—надгробнымъ памятникомъ королю Казиміру Ягеллону, художникъ, при открытіи этого памятника, не раздѣлялъ достаточно чувствъ оплакивавшаго умершаго короля народа и не проронилъ ни слезинки. Надо однако согласиться, что не каждый человѣкъ въ состояніи проливать слезы по востребованію. Что касается до отказа отъ дворянства, то всякъ признаетъ, что мастеръ Витъ поступилъ благоразумно. Шляхетство въ то время вовсе не было только достоинствомъ, отличіемъ, но составляло вмѣстѣ и военно-государственное призваніе, своего рода профессію, которая требовала, чтобы принадлежавшіе къ сословію посвящали свои силы обязанностямъ политическимъ, занятіямъ военнымъ и общественнымъ, и сверхъ того, не допускала, чтобы у нихъ въ рукахъ могли быть молотъ и рѣзецъ, чтобы они принадлежали къ цехамъ, словомъ, чтобы они занимались какимъ-либо мастерствомъ, хотя бы оно было и художество. Однимъ дворяниномъ стало бы больше, но зато мы не имѣли бы теперь гробницы короля Казиміра и другихъ мастерскихъ произведеній Ствоша. Причины павшей на него кары остаются невыясненными, развѣ пришлось бы допустить, что истинная мысль автора заключалась въ томъ, что виною Ствоша было уже само желаніе для себя славы за художественное произведеніе, которое должно быть посвящено только славѣ церкви, отъ которой самъ художникъ воспріалъ свое вдохновеніе. Возьмемъ эпиграфъ поэмы: «крыломъ архангела взлетѣлъ бы

геній въ небо, еслибъ не стягивала его уздою гордость;» — сопоставимъ этотъ мотивъ съ нѣкоторыми другими стихами напр. «въ смиренїи генію дается вдохновеніе» или «благословенъ тотъ умъ, что Богу не хулилъ» (V. 328); отсюда видно, что Полю, какъ поклонникъ преданія, хотѣлъ бы, чтобы и мысль и чувство оставались на привязи; но при этомъ условїи геній уже не взлетитъ никакимъ крыломъ, тѣмъ менѣе—крыломъ архангела.

Однимъ словомъ, обрисовывая типъ великаго художника, Полю понялъ артистическое творчество слишкомъ односторонне, обратилъ все вниманіе на одинъ элементъ—преданіе, и упустилъ изъ виду другой элементъ творчества—новую, свободную и самостоятельную группировку рукою художника тѣхъ матеріаловъ, которые ему принесло преданіе. Художественное творчество беретъ свое начало снизу—въ работѣ и индивидуальномъ вдохновенїи лица, которое разламываетъ или разгибаетъ прутья клѣтки, называемой преданіемъ; затѣмъ, то, что имъ самимъ передумано и создано обращается въ свою очередь въ преданіе, войдя въ общую совокупность взглядовъ на искусство и его правилъ. И въ совокупности этой нѣтъ ничего такого, что въ свое время не представляло бы новизны, созданной смѣло и самостоятельно, а вовсе не «въ смиренїи», какъ то представлялось Полю. Общій нашъ выводъ о его поэмѣ «Вить Ствошъ» можно выразить въ краткомъ опредѣленїи; мысль поэмы неясна и односторонняя, чертаніе характера самого героя слишкомъ туманно, такъ какъ онъ изображенъ не въ дѣйствїяхъ своихъ, а только въ произведенїяхъ; за то самые эти произведенія Ствоша поняты и объяснены поэтомъ съ замѣчательнымъ умѣньемъ, которое обнаруживаетъ въ немъ полного и несравненнаго, хотя и безпристрастнаго знатока среднихъ вѣковъ.

Приходя къ концу, я оставляю безъ разбора нѣсколько второстепенныхъ произведеній Поля: «Гетманскаго отрока», «Стрыянку», «Наводненіе», «Походъ подъ Вѣну» и «Старосту Кисляцкаго». Характерныя черты, указанные выше

въ произведеніяхъ лучшей поры его творчества, если только черты эти схвачены нами вѣрно, повторяются, въ разной степени, и въ вещахъ менѣе извѣстныхъ, менѣе сильныхъ, написанныхъ имъ въ старости. Поль — великій художникъ, съ талантомъ сильнымъ и своеобразнымъ, но не богатымъ идеями и одностороннимъ, такъ, что къ перво-степеннымъ поэтамъ Поля причислить нельзя. Ему недоставало гармоническаго развитія способностей, а также равновѣсія между мыслью и исполненіемъ. Будучи болѣе всего лирикомъ, Поль обладалъ и будетъ обладать особымъ обаяніемъ, такъ какъ никто сильнѣе его не выразилъ стремленія «горе», полета выше низменной дѣйствительности, среди которой протекла его жизнь и жизнь его современниковъ, порыва къ чему-то болѣе идеально совершенному—*excelsior, excelsior*. Взоръ его не выходилъ никогда за горизонтъ его народности и вѣры, которую онъ связывалъ съ народностью, любя ту и другую съ нѣкоторымъ шовинизмомъ и пренебреженіемъ ко всему лежащему внѣ ихъ. Отсюда происходитъ, что онъ—поэтъ исключительно польскій, малопонятный для иностранцевъ.

Горькія разочарованія и неоправдавшіяся надежды толкнули его въ область среднихъ вѣковъ, гдѣ онъ какъ бы окончательно поселился мыслью, не ожидая ничего отъ завтренняго дня и убѣжденный, что все, что могло быть лучшаго уже миновало. Эта преднамѣренная отсталость взглядовъ Поля повліяла вредно на его современниковъ. Теперь вліяніе его ослабѣваетъ. Но если отбросить все, что во взглядахъ его и теоріяхъ представляется слишкомъ одностороннимъ и невѣрнымъ, то за нимъ останется та его великая заслуга, что онъ былъ внушавшимъ уваженіе стражемъ великихъ могилъ и дорогихъ останковъ, завѣщанныхъ прошлымъ; что ободрялъ онъ людей въ вѣрѣ, ибо самъ крѣпко вѣровалъ и сумѣлъ сдѣлать то, что далось очень немногимъ—извлечь изъ лиры своей звуки, напоминающіе арфу Давида, такъ они искренне и глубоко-религіозны. Не лишне будетъ,

въ заключеніе этюда, посвященнаго Полю привести одно изъ такихъ мѣстъ, стихи обращенные «къ Богу:» «Измученный стою и трепетомъ объятый — Но Ты велѣлъ и я еще стою. По милости Твоей осиновый листокъ дрожащій—отъ страшныхъ болестей—вотъ образъ мой. Ты жизнь мнѣ далъ Твоей Господней волей.—И муки мнѣ Твоимъ даны крестомъ. — А третьимъ даромъ — ниспосли спасенье.—Ибо мой слѣдъ въ слезахъ весь и въ крови.— Съ Тобою, Господи, не можетъ быть разсчета.—Но послѣ мрака дай зрѣть, разсвѣтъ, ахъ дай! — И если гибели моей не хочешь Ты—О Господи! помилуй мя, помилуй!» Никто сильнѣе Поля не провозгласилъ великихъ истинъ, что «надо въ дому́ у себя стоять своей силой.— И въ вѣрѣ́ отцовъ, и въ родной одеждѣ (V 312)», и также что «Изъ рода въ родъ перейдутъ и Богъ, и память дѣлъ,—родное слово и родная совѣсть (V. 201)».

(Начало 1878 г.)

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.



# Содержаніе I тома.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ И ПОРТРЕТЫ.

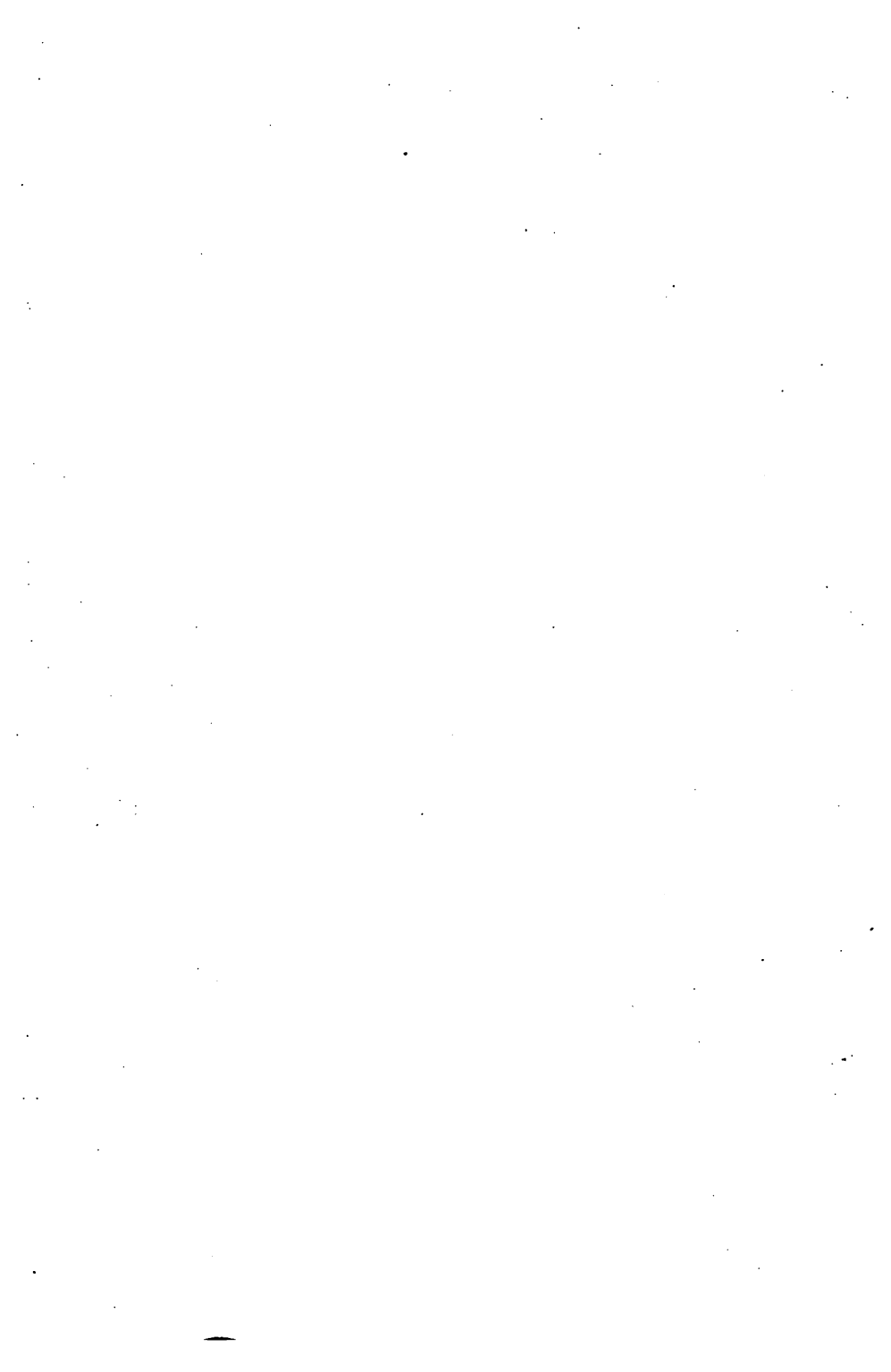
---

### Предисловіе.



	СТРАНИЦЫ.
I. Владиславъ Сырокомля . . . . .	1— 92
II. Шекспировскій Гамлетъ . . . . .	93—125
III. Мартинъ Матушевичъ . . . . .	127—201
IV. Нѣсколько словъ о Кавелинѣ . . . . .	203—207
V. О Пушкинѣ, рѣчь. . . . .	209—213
VI. Винцентій Поль . . . . .	215—286

---







Stanford University Libraries



3 6105 015 056 364

FC  
715  
S6  
v.1

**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

--	--	--



Stanford University Libraries



3 6105 015 056 364

PC  
71  
S6  
V.

**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

--	--	--

1







Stanford University Libraries



3 6105 015 056 364

PG  
7158  
S64  
v. 1

**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

--	--	--



Stanford University Libraries



3 6105 015 056 364

7158  
S64  
v. 1

**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

--	--	--

